

Ленинградский государственный университет
имени А. А. Жданова
Восточный факультет

В. Б. КАСЕВИЧ

Семантика
Синтаксис
Морфология

Москва
«НАУКА»
Главная редакция восточной литературы
1988

ББК 81
К 28

Ответственный редактор
Ю. С. МАСЛОВ

Рецензенты
И. М. СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ, В. С. ХРАКОВСКИЙ

Утверждено к печати
Ленинградским государственным университетом
им. А. А. Жданова

Касевич В. Б.

К 28 Семантика. Синтаксис. Морфология. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988. — 309 с.

ISBN 5-02-016415-1

Книга известного советского языковеда вместе с ранее вышедшими его работами «Элементы общей лингвистики» (М., 1977), «Фонологические проблемы общего и восточного языкознания» (М., 1983) и «Морфонология» (Л., 1986) дает изложение как основных проблем современного общего языкознания, так и наиболее приемлемых решений.

Автор исследует комплекс вопросов, дискутировавшихся с позиций «концептуальной разобщенности», рассматривая их с единой точки зрения, предпринимая таким образом попытку своего рода синтеза.

К 4602000000-174 77-89
012(03)-88

ББК 81

ISBN 5-02-016415-1

© Главная редакция
восточной литературы
издательства «Наука», 1988

ПРЕДИСЛОВИЕ

Существует немало монографий и учебников с названиями «Общее языкознание», «Основы общего языкознания» и т. п. Хотя настоящая книга называется иначе, она принадлежит к тому же кругу. Заглавие «Семантика. Синтаксис. Морфология» объясняется просто. Чтобы превратить «Семантику. Синтаксис. Морфологию» в «Общее языкознание», нужно добавить (как минимум) «Фонологию», «Морфонологию», «Словообразование» и «Прагматику». Что касается первых двух, то опубликованы монографии автора, специально им посвященные [Касевич 1983; 1986b]. Статус же словообразования и прагматики носит в известной степени неопределенный характер, и в этой книге они включены, с некоторой долей условности, в разделы о словаре и семантике соответственно. Следует упомянуть также, что практически совсем не представлены в книге изучение языка в историческом плане и все то, что относят к «внешней» лингвистике, — прежде всего, социолингвистика. Специфичность названных сфер языка и языкознания очевидна, к тому же с ними в наименьшей мере связаны профессиональные интересы автора. Таким образом, предмет монографии — это общее языкознание за вычетом аспектов, оговоренных выше.

В 1977 г. вышла книга автора «Элементы общей лингвистики» [Касевич 1977]. В ней была предпринята попытка дать в компактной форме — и под определенным углом зрения — как бы азбуку общего языкознания. Настоящая книга уже выходит за рамки «скелетного» представления материала; в ней целый ряд вопросов обсуждается с большей подробностью и, хотелось бы думать, глубиной. По-прежнему особое внимание уделяется проблемам, существенным для описания языков Азии и Африки, без чего языкознание не может претендовать на эпитет «общее».

Само собой разумеется: при нынешнем уровне узкой специализации заведомо нельзя рассчитывать, что «одна авторская сила» окажется в состоянии обеспечить равно обстоятельное и глубокое освещение всех лингвистических проблем. Тем не менее, мы убеждены, что «единичность» автора имеет и свои плюсы, так как увеличивает вероятность исследования комплекса лингвистических проблем с единой, соответственно, точки зрения.

Языкознание наших дней страдает от разобщенности (ср., например, [McCawley 1982]). Мы имеем в виду, прежде всего, концептуальную разобщенность, когда различные направления зачастую развиваются, так сказать, асимптотически, практически игнорируя друг друга. Поэтому-то и необходимы, думается, повторяющиеся время от времени попытки

синтеза. Такого рода попытки, с неизбежностью неполные и несовершенные, должны способствовать преодолению разобщенности лингвистики.

В упомянутой предыдущей работе [Касевич 1977] содержались специальные разделы, посвященные генеративной лингвистике, психолингвистике, типологии. В на-/3//4/стоящей книге их нет. Генеративная лингвистика в значительной степени изжила себя. Точнее: одни направления, не утратив индивидуальности, ассимилировали определенные положения генеративизма (а его язык вошел на правах своего рода суперстрата в их терминологические системы¹); другие, положив в основу те или иные постулаты трансформационно-порождающей лингвистики, тем не менее, отошли от нее в своем развитии настолько, что и фактически и, нередко, по «самоназванию» перестали принадлежать к генеративизму. Что же касается психолингвистики и типологии, то проблематика этих отраслей языкознания фигурирует в нашей работе постольку, поскольку она входит в общелингвистическую (см. об этом во «Введении», 1.4, 1.7).

Предыдущая книга автора — «Элементы общей лингвистики» — мыслилась как некий компендиум, свод кардинальных положений языкознания. Эта направленность сохраняется и в настоящей монографии. Однако в ней иное соотношение «учительного» и исследовательского: если в работе [Касевич 1977] основной задачей было дать более или менее твердые ориентиры начинающему лингвисту, то здесь автор приглашает коллегу-читателя поразмышлять совместно над устройством и функционированием языка, над тем, на каких путях может быть достигнуто единство языкознания. /4//5/

¹ Ср. определение суперстрата в словаре О. С. Ахмановой: «Следы языка пришельцев в составе языка коренных жителей» [Ахманова 1966: 463].

ВВЕДЕНИЕ

ЛИНГВИСТИКА И ЛИНГВИСТИКИ

1. Как явствует из сказанного в разделе «Предисловие», в настоящей книге отражены далеко не все крупные сферы языкознания — не все «лингвистики». Под последними мы имеем в виду то, что принято называть, например, «сравнительно-историческим языкознанием», «типологическим языкознанием», «контрастивной лингвистикой» и т. п. Возможно, будет нелишним дать своего рода определения тех «лингвистик», которые остались вне рамок нашего анализа. Тем самым эти рамки будут очерчены более четко, хотя и отрицательно. Попытка кратко обрисовать соответствующие сферы языкознания может иметь и некоторую самостоятельную ценность — как определенный вклад в многочисленные дискуссии по поводу того, чем занимаются разные «цехи» лингвистики.

1.1. Сравнительно-историческое языкознание. Эта область языкознания, иначе известная как компаративистика, вероятно, в наименьшей степени нуждается в пояснениях: относительно компаративистики существует наибольшее согласие между исследователями по поводу ее предметной области и целей. Сравнительно-историческое языкознание сравнивает языки с точки зрения общности их происхождения. Отсюда две основные задачи компаративистики: восстановление, или реконструкция, праязыков, т. е. тех языков, от которых, предположительно, произошли языки некоторого круга (например, славянские, тюркские, индоевропейские), и классификация всех языков, живых и мертвых, по степени их близости. Такая классификация (генеалогическая, генетическая) объединяет в одну таксономическую единицу (надсемью, семью, группу, ветвь, класс и т. п.) те языки, которые приблизительно одновременно выделились из общего языка-источника (праязыка). Поскольку непосредственное определение такого рода временных характеристик чаще всего невозможно, последние понимаются как функция от количества в языках общих элементов (морфем, слов), связанных закономерными фонетическими и, одновременно, семантическими соответствиями: группируются те языки, которые содержат примерно одинаковое количество таких элементов. Из сопоставляемых единиц исключаются заимствования, звукоподражательная и звукоизобразительная лексика, лексика, связанная с культурой (последняя также может оказаться заимствованной).

Типологическое сходство языков не /5/ /6/ может служить доказательством их генетической близости, родства.

1.2. Диахроническая лингвистика. Диахроническая лингвистика, противопоставляемая синхронической — описанию современных языков, — изучает словарь, фонетику и грамматику языка, действительные для его состояний в прошлом. От синхронической она в этом смысле отличается только тем, что исследует и описывает не современный язык, а язык одной из предшествовавших эпох, взятый в его относительной неизменности. Диахроническая лингвистика представляет историю языка как ряд последовательных синхронных срезов.

В задачи диахронической лингвистики входит и реконструкция прасостояния (прасостояний) данного языка (древнерусского, древнеанглийского, древнекитайского и т. п.). Различают внутреннюю и внешнюю реконструкции, которые разнятся материалом и методами: для первой используются лишь внутриязыковые данные (письменность, архаизмы, диалекты и т. д.), для второй — также свидетельства близкородственных языков.

1.3. Историческое языкознание. Историческое языкознание занимается исследованием изменения языка во времени, процесса прохождения языка через последовательные стадии его эволюции. В результате вскрываются закономерности развития разных языков, языковых типов, в конечном счете — языка как такового.

1.4. Типологическое языкознание. Область типологии — сравнение языков по их строю, безотносительно к наличию/отсутствию генетической общности. В типологическом исследовании сопоставляются системы, структуры языков в отвлечении от их материального наполнения. Обычный итог типологического анализа — классификация языков с точки зрения некоторого структурного признака (признаков). Возможны фонологическая, морфонологическая, морфологическая, синтаксическая, семантическая классификации, а также более частные внутри каждой из указанных. Наиболее интересны мультифакторные сопоставления языков, при которых исследователь исходит из целого ряда структурных признаков в их взаимодействии. Поскольку в пределах каждого языка сочетаются разные структурные средства, разнонаправленные тенденции, очень эффективен квантитативный подход к типологии, при котором не просто фиксируется наличие в языке тех или иных черт, но дается их количественная оценка.

В типологии устанавливаются группировки языков как результат их сравнения. Чтобы это стало возможным, лингвист-типолог должен располагать такими определениями сравниваемых единиц и явлений языка (морфем, слов, типов синтаксической связи и т. д. и т. п.), которые позволяли бы их эффективное сопоставление: если мы соотносим единицы и явления, выделенные в языках по разным основаниям, исследование и

его результаты теряют всякий смысл. Соответствующие определения, концепции, категории должно предоставить в распоряжение типологии общее языкознание, поэтому типология — один из самых мощных стимулов к развитию общего языкознания как дисциплины, пользующейся достаточно строгими методами и критериями.

1.5. Ареальная лингвистика. Сфера ареальных исследований — выявление близости языков, источник которой — интенсивные контакты между языками в силу географической близости зон их распространения. Языковые общности, обусловленные ареальными факторами, могут включать как родственные языки, которые в этом случае обнаруживают большее сходство, чем им «положено» по степени их генетической близости, так и неродственные. Языки, сблизившиеся в результате контактного взаимодействия, образуют языковой союз. В лингвистике, вообще говоря, отсутствуют критерии, определяющие степень близости языков, которая позволяла бы относить их к одному языковому союзу. Вероятно, о языковом союзе можно говорить тогда, когда существует устойчивый набор признаков, объединяющих языки ареала, который (набор) уникален для данной общности. Набор должен включать как материальные, так и структурные схождения. Из этого следует, что ареальная лингвистика пользуется методами как сравнительно-исторического, так и типологического языкознания, хотя ее объект и задачи не совпадают ни с тем, ни с другим: наличие общих материальных элементов здесь не говорит о генетическом родстве, а структурное сходство языков данного ареального союза интересно в том случае, если оно приобретенное, а не исконное.

1.6. Контрастивная лингвистика. Это сравнительно новая область научного языкознания, задача которой — исследование закономерностей языковой интерференции и способов ее преодоления. Подобно ареальному языкознанию, контрастивная лингвистика связана с изучением языковых контактов, однако контактов другого типа и с другим результатом. Для этой лингвистической дисциплины интерес представляет влияние первого языка индивидуума на его второй язык, первого и/или второго — на третий и т. п. Число сопоставляемых языков однозначно определяется теми конкретными языками, которыми пользуются — в любой степени и любым образом — члены той или иной общности или даже отдельные лица. Например, если студент, окончивший школу с преподаванием на одном из языков СССР, скажем, киргизском, учится в вузе с преподаванием на русском языке и изучает, согласно учебной программе, английский, то можно ожидать взаимодействия киргизского, русского и английского языков: киргизский и русский будут определенным образом влиять на английский язык учащегося. Контрастивная лингвистика и призвана предсказать, каким образом будет реализоваться такое влияние, какого типа ошибки оно вызовет, а также предложить лингвистически обоснован-

/17/18/ную методику корректирования ошибок. Контрастивная лингвистика должна внести существенный вклад в формирование теоретической базы преподавания языков.

Наряду с рассмотренными выше типологической, ареальной и контрастивной лингвистиками в литературе приняты и другие обозначения сходной номенклатуры: сопоставительное языкознание, сравнительно-сопоставительное, сравнительная типология. Возможно, что от них стоило бы отказаться как от недостаточно ясно определенных или дублирующих в той или иной степени параллельно существующие термины. Так, сопоставительное языкознание, вообще говоря, покрывает любое сопоставление языков, кроме, вероятно, сравнительно-исторического. Сравнительно-сопоставительное чаще всего понимают как типологическое изучение родственных языков. Сравнительная типология — это реально сопоставление строя родного и неродного (обычно изучаемого) языков, т. е. часть контрастивной лингвистики (для изучения источников интерференции необходим, конечно, конфронтативный, как иногда говорят, анализ соответствующих языков).

1.7. Психолингвистика. Относительно подробно вопрос о соотношении лингвистики и психолингвистики освещался в наших предыдущих работах [Касевич 1977; 1983]. Грань между лингвистикой и психолингвистикой в известной степени условна. Бытовавшее одно время определение психолингвистики как теории речевой деятельности [Основы речевой деятельности 1974; Теория речевой деятельности 1968], которое предполагало, что лингвистика ограничивается изучением системы языка как таковой, едва ли может быть принято. Во-первых, речевая деятельность в основе своей протекает по правилам, «заложенным» в системе языка, так что теория, адекватно описывающая систему, с необходимостью включает и деятельностный аспект. Во-вторых, речевая деятельность в принципе может быть обеспечена средствами, отличными от тех, которые использует носитель языка. Специалисты по разработке диалоговых систем, автоматического анализа и синтеза речи, т. е. по моделированию речевой деятельности, по-видимому, не являются психолингвистами (и теоретически могут полностью абстрагироваться от изучения индивидуума — носителя языка, тем более — от психолингвистики как науки).

Схождения и расхождения между лингвистикой и психолингвистикой можно кратко описать следующим образом. Обе эти дисциплины должны ставить перед собой одну задачу: построение теории, которая удовлетворительно объясняла бы, что представляет собой система, порождающая и воспринимающая тексты; объяснительной силы теории должно быть достаточно для создания действующей модели языка. При этом лингвистика в известной степени отвлекается от того, каким образом порождает и воспринимает тексты человек: если постулированная

языковедом система способна продуцировать правильные тексты, воплощающие все возможные смыслы, не порождает неправильных, а также приписывает адекватную семантическую информацию любому тексту, не слишком отклоняющемуся от правильного, то задача выполнена. Вообще говоря, чем ближе строение и функционирование системы к ее естественному прототипу, тем лучше. Однако есть достаточно много аспектов работы языковых механизмов человека, которые не обязаны отражать построения лингвиста даже в принципе. Как ни мало мы знаем в настоящее время о процессах, например, восприятия речи, ясно, что огромную роль в них играют эвристические процедуры, во многом базирующиеся на индивидуальном опыте человека. Разумеется, лингвистика не может и не должна заниматься такими вопросами, хотя сама по себе проблема правил перехода от текста к смыслу несомненно входит в ее компетенцию.

Введению психолингвистики принадлежит как раз все то, что относится к представлению языковой системы в психических структурах человека, к работе речевых (языковых) механизмов в реальных процессах речепорождения и речевосприятия. Если лингвистика изучает логику языка и речевой деятельности, то психолингвистика — их психологию. Можно привести такую аналогию. Существует логико-математическая теория доказательства теорем, где описываются жестко регламентированные процедуры алгоритмического типа, которые перечисляют все пути от «дано» до «что и требовалось доказать». Таковой должна быть в принципе и лингвистическая теория. Наряду с логико-математической теорией доказательства может и должна существовать психология математического творчества, где вскрыт механизм интуитивных догадок, озарений, которые и являют собой реальный процесс достижения математических истин (в дальнейшем его результат облекается в строгую логически упорядоченную форму). Психолингвистику занимают сходные проблемы применительно к языку и речевой деятельности.

В итоге можно заключить, что всякая лингвистика — «немножко психолингвистика» уже потому, что языком владеет человек и кардинальные свойства языка коренятся в закономерностях психики человека (и ее материального субстрата — центральной нервной системы). В то же время возможно и целесообразно разведение двух аспектов — собственно лингвистического и психолингвистического. В настоящей монографии освещаются преимущественно традиционные лингвистические проблемы, для решения которых в ряде случаев привлекаются психолингвистические методы и представления, их удельный вес, естественно, возрастает в разделах, посвященных речевой деятельности (см. гл. V).

1.8. Социолингвистика. Если лингвистика и психолингвистика изучают языковую систему и речевую деятельность «абстрактных» носителей языка, то социолингвистику интересует, как сказываются на системе, речевой деятельности, тексте социальные — в широком смысле — характеристики говорящего и /9//10/ слушающего. Таким образом, социолингвистика изучает: соотношение географической распределенности групп населения и их языковых отличий (территориальные диалекты), соотношение социальной, профессиональной стратификации общества и языковой специфики соответствующих социальных и профессиональных групп (социальные и профессиональные диалекты), особенности языка возрастных и половых групп населения, языковые контакты и их влияние на взаимодействующие языки (заимствования, интерференция при массовом би- и мультилингвизме, образование креольских языков и пиджинов), выбор языковых средств в зависимости от ситуации речевого общения (формальной, неформальной), от взаимоотношения собеседников («сверху вниз», «снизу вверх», вне субординации), вопросы различий между литературным языком и просторечием, проблемы нормы, связи языка и идеологии, языка и культуры и ряд других.

Некоторые из перечисленных аспектов не могут быть обойдены и в лингвистике как таковой. Например, в ряде языков существуют «мужские» и «женские» местоимения, как, например, бирм. *чано*² ‘я’ (муж.) и *чама*¹ ‘я’ (жен.), различие между которыми отражено, естественно, в любом описании бирманского языка. Точно так же формы респектива японского глагола занимают свое место в общей парадигме глагольных форм, и по крайней мере основные правила их употребления входят в грамматику японского языка. Иначе говоря, грань между собственно лингвистикой и социолингвистикой — как и между лингвистикой и психолингвистикой — в известной степени условна. В то же время, несомненно, существуют обширные области, которые находятся в ведении социолингвистики, но не лингвистики — и наоборот.

ЯЗЫК КАК СИСТЕМА

2. В настоящем разделе будут рассмотрены наиболее общие вопросы природы и функционирования языка.

Обобщая различные определения, можно сказать, что язык — это знаковая система, предназначенная для порождения, передачи и хранения информации. Информация, передаваемая языковыми средствами, всегда воплощается в некотором тексте, поэтому передача информации — создание, или порождение текста, с одной стороны, и восприятие, «прием» текста — с другой. Система речевых действий и операций, выполняемых в процессах порождения и восприятия текста, — это речевая

деятельность. Первым и естественным условием ее реализации является наличие языковой системы.

2.1. Говоря о том, что язык — знаковая система, имеют в виду, что основным элементом такой системы — знак. Знак служит средством отражения того или иного элемента действительности. Благодаря наличию в языке данного знака этот /10//11/ элемент не только получает представительство в системе знаний о мире, присущей носителю языка¹, — возникает возможность передать эти знания другому. Знания становятся коммуницируемыми.

Знак билатерален: он обладает экспонентом, или означающим, т. е. материальной оболочкой, и сигнификатом, или означаемым, т. е. мыслительным содержанием, значением. Иными словами, языковой коллектив, вычленив данный элемент действительности и осмысляя его определенным образом, закрепляет за таким осмыслением ту или иную материальную форму, материальный способ выражения; в результате и возникает знак.

Сам «означенный» элемент действительности, отраженный в языке знаком, — это денотат последнего. Знак языка относится чаще всего не к индивидуальному денотату, а к соответствующему классу. Когда знак употребляется в тексте, он обычно относится к конкретному денотату; в этом случае условимся говорить о референте знака.

В языке за каждым знаком закреплены определенные правила его употребления. Те из них, которые регулируют сочетаемость знаков друг с другом, называют синтактикой знаков. Те же, что определяют функционирование знаков с точки зрения достижения определенного эффекта, применительно к тем или иным потребностям говорящего, именуют прагматикой знаков (подробнее см. гл. I, 7–7.4).

2.2. Обратимся теперь к тому аспекту, что язык представляет собой знаковую систему. Это сложная функциональная система. В данной части определения языка («части» — потому что язык здесь не отграничен от других сложных функциональных систем) существенно все: и то, что язык — система, и то, что система функциональная и, наконец, сложная. Система как таковая — это любое целостное образование, части (элементы) которого объединены отношениями, теряющими силу за пределами данного целого. Например, отношение типа «декан — заведующий кафедрой» действительно лишь для пары конкретных работников вуза в рамках данного факультета как системы: для заведующего кафедрой, скажем, филологического факультета декан математического уже не является деканом («его» деканом). Каждая

¹ Знания о мире не всегда «означены», т. е. представлены соответствующими знаками и их структурами, но знаковое представительство знаний — несомненно высшая, наиболее развитая форма знания.

система имеет, таким образом, относительно замкнутый характер. Системы соотносятся друг с другом именно и только как целостные образования. (Некоторый объект может, конечно, принадлежать нескольким системам одновременно, выступая всякий раз соответственно в новом качестве, или же соотноситься с некоторой системой как особая самостоятельная система.)

Ни одна система не существует как нечто абсолютно изолированное. Принято говорить о системе и среде, в которой существует данная система. Но среда, в свою очередь, тоже системна, и реально мы имеем дело с вхождением одной системы в /11//12/ другую, нередко — в другие, т. е. некоторая система является подсистемой по отношению к другой или другим; в последнем случае происходит пересечение, «переплетение» систем.

Таким образом, для системы как таковой системообразующим фактором выступает ее относительная замкнутость, которая реализуется как ограниченность связей ее элементов некоторыми рамками: если мы находим M элементов, связи которых, однородные в некотором отношении, обращены вовнутрь, т. е. соединяют их друг с другом, и лишь все множество M как целое обладает связями, обращенными вовне, то M есть система; ее границы как раз и определяются изменением направления и качества связей.

Для функциональной системы (напомним, что это понятие введено П. К. Анохиным [Анохин 1970; 1980]) сказанное выше действительно в полной мере, однако здесь добавляется новый системообразующий фактор, гораздо более «мощный», чем фактор замкнутости. Это результат (или функция), для достижения которого (которой) существует данная совокупность элементов. Именно необходимость обеспечения некоторого результата, который не может быть достигнут «разрозненными усилиями» отдельных элементов, и служит причиной объединения последних в единое целое, — такое, какому «под силу» соответствующая задача. Это и имеется в виду, когда говорится, что функция выступает системообразующим фактором для системы, а последняя, соответственно, функциональна.

По существу, любая «работающая» система — живая или неживая — функциональна, поскольку «работать» и означает, в конечном счете, «получать результат».

По-видимому, для функциональных систем понятие среды имеет больший смысл, чем для всех прочих, которые условно назовем афункциональными. Если любую афункциональную систему можно представить как подсистему системы более высокого порядка (некая биопопуляция входит в биосферу и, одновременно, в экосистему, экосистемы и биосфера — в систему «Земля» и т. д.), то грань между функциональной системой и ее реальным окружением носит более

отчетливый характер: где есть функция, там индивидуальность, отдельность системы определяется тем, используется ли полученный системой результат как «промежуточный» для достижения другого результата. Если да, то есть смысл говорить об одной функциональной системе как подсистеме другой, если нет, — то о функциональной системе и ее среде. Например, функция корпусного цеха судостроительного предприятия — обеспечить работы по изготовлению корпуса судна, что есть необходимое условие постройки последнего. Этот цех — функциональная подсистема по отношению к судостроительному заводу — функциональной системе более высокого порядка. Для самого же завода, скажем, город, где он расположен, является, скорее всего, «просто средой» в том смысле, что выпускаемые заводом суда не используются городом для создания продукции, для которой они были бы необходимыми интегральными элементами.

Под сложными системами обычно имеют в виду такие, где, во-первых, налицо достаточно большое число подсистем и, во-вторых, часть подсистем носит дублирующий характер. Последнее может проявиться двояким образом. Один тип представлен тогда, когда подсистемы имеют более или менее одинаковую функцию, и их параллельное существование объясняется особой важностью этой функции: в системе допускается элемент неэкономности, чтобы обеспечить выполнение нужного результата также и при неблагоприятных условиях, при выходе из строя каких-то подсистем. Другой тип дублирования (относительного) — это уровневое, иерархическое строение системы. Здесь также можно говорить — с определенной долей условности — о дублировании, так как в выполняющей сложные виды деятельности иерархической системе на каждом следующем уровне происходит возвращение к той же задаче, только взятой в другой степени конкретности (подробнее см. [Касевич 1977; 1983]).

КОМПОНЕНТНОЕ СТРОЕНИЕ И ЦЕЛОСТНОСТЬ СИСТЕМЫ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

3. Стоит специально рассмотреть проблему целостности системы в соотношении с фактом ее элементного (компонентного) строения. Как соотносится целостность системы с ее очевидной внутренней разнородностью, а также с целостностью подсистем внутри системы? Какие именно подсистемы целесообразно выделять в составе языковой системы? Каков характер образующих их элементов? В чем соотношение уровневой и компонентной (т. е. связанной с распределением по подсистемам) организации языка? Вот основные вопросы, которые будут интересовать нас в данном разделе.

Наиболее важные черты системы и любого образования в ее составе определяются функцией. Для чего, для выполнения каких задач существует сама система, тот или иной ее компонент (подсистема), отдельный элемент — ответ на этот вопрос является решающим для определения качественной специфики интересующих нас объектов. Функция языковой системы как таковой, как уже отмечалось выше, заключается в том, чтобы служить средством порождения, хранения и передачи информации. Порядок перечисления «подфункций», заметим сразу же, отражает реальную последовательность процессов: информация сначала должна быть порождена, а затем передана — с промежуточным хранением, если это необходимо. Что же касается иерархии «подфункций», то главенствующей и определяющей выступает как раз последняя из перечисленных — передачи информации, т. е. коммуникативная.

Нелишне подчеркнуть, что язык является именно средством /13//14/ в о м передачи информации: информация заключена в тексте, а не в языке, а уже текст «построен» с использованием языка, языковой системы². Поэтому характеристики языка в принципе определяются следующим вопросом: чем должен обладать язык, чтобы эффективно обеспечивать продуцирование несущего информацию текста (и извлечение информации из последнего)?

Если считать, что информация существует «готовой» до и вне языка, то язык есть всего лишь удобный код для передачи такой информации по каналу связи. Реальное положение вещей, однако, более сложно. С одной стороны, человек получает и перерабатывает огромное количество информации, не обращаясь к посредству языка. Так, в своей предметной деятельности человек сплошь и рядом строит свои действия, направленные, в конечном счете, на удовлетворение тех или иных потребностей, на основании зрительной и/или слуховой, тактильной информации, когда не возникает потребности переводить эту информацию в языковую форму. (К тому же вербализация информации — перевод ее в языковую форму — сделала бы такие действия существенно менее эффективными или даже вообще дезорганизовала их.)

С другой стороны, невербализованная информация в значительной степени некоммуницируема. Соответственно, для полноценного общения подлежащая передаче информация должна получить языковое выражение.

² Никак нельзя признать корректными обычные утверждения о том, что система языка «реализуется» в тексте (речи) как абстрактное в конкретном. Так можно было бы сказать, например, о некотором языке или диалекте по отношению к идиолекту, которые и соотносятся как система с системой по принципу большей/меньшей абстрактности (скажем, русский язык соответствующего периода и язык Пушкина или Горького). Язык и речь (текст) соотносятся, скорее, как «механизм» и «продукт» работы последнего.

Разнообразие способов отражения действительности, присущих конкретным индивидуумам, потенциально бесконечно ввиду уникальности каждого индивидуума, бесконечно разнообразны и конкретные условия, в которых имеет место процесс отражения и, на его основе, формирования информации. Отсюда следует, что для передачи именно той информации, с которой имеет дело каждый индивидуум, в данный момент времени в данной точке пространства требуется бесконечное число некоторых информационных единиц, бесконечный алфавит, бесконечный код (и, вероятно, бесконечный канал связи). Информация, следовательно, должна быть как-то модифицирована, ограничена, подвержена своего рода компрессии, чтобы она могла быть передана (и воспринята).

Эти процедуры компрессии, преобразования информации в принципе могут быть выполнены по-разному, в частности, за счет разных фрагментов подлежащей передаче информации. Информация передается от одного члена общества другому и, в конечном счете, должна обеспечить согласованные действия членов общества. Поэтому первичная переработка информации с целью сделать ее «пригодной» для коммуникации должна ориентироваться именно на общезначимость передаваемого, на его адекватность задачам, решаемым данным обществом. Иначе говоря, необходим отбор с точки зрения потребностей общества.

Именно эту функцию берет на себя язык. Язык возникает и /14//15/ функционирует только в обществе, обслуживает ситуации, релевантные для соответствующего общества, и поэтому с самого начала социально ориентирован. Для языка, следовательно, естественна данная функция: преобразовывать информацию, которой обладает индивид, таким образом, чтобы она могла быть передана другому индивиду и воспринята им. Информация при этом обедняется, огрубляется — такова плата за коммуницируемость. Компрессия информации (ее огрубление, обеднение) в каждом языке происходит к тому же по-своему. Все это как раз и говорит о том, что язык участвует в порождении информации, является средством не только передачи, но и порождения информации: ведь «окончательный вид», который приобретает передаваемая информация, в известной — и немалой — степени определяется именно языком.

Итак, язык вносит свой вклад в то, каким предстает содержание каждого передаваемого сообщения. Одновременно это означает, что если мы возьмем универсум сообщений на данном языке, т. е. потенциально бесконечное множество высказываний соответствующего языка, и сопоставим его с миром, объективной действительностью, то обнаружим, что в этом универсуме отражается картина мира, релевантная, действительная для данного языкового коллектива. А это, в свою очередь, показывает, что язык есть одно из средств формирования картины мира: в нем зафиксированы те категории, классификационные признаки, оппозиции, которые выработаны обществом для сведения в некоторое

целое всех знаний и представлений о мире на определенном этапе развития общества.

Из сказанного можно сделать следующий вывод: целостность языка как системы обуславливается и обеспечивается онтологически и гносеологически. В онтологическом аспекте целостность языка есть отражение материального единства мира. В гносеологическом — целостность языка вызывается к жизни необходимостью иметь средство, дающее возможность упорядочить весь массив опыта — результаты взаимодействия с действительностью; в языке и средствами языка вырабатывается и фиксируется картина мира, как она складывается у данного языкового коллектива на некотором этапе его развития.

4. Помимо этого, релевантны, конечно, и системно-структурные факторы, которые можно разделить на внешние и внутренние. Внешние относятся к тому, что любая система, как уже говорилось, функционирует в соответствующей среде, во взаимодействии с ней. Отграниченность — относительная — от среды выступает существенным фактором, характеризующим систему как целое (ср. выше).

Что же выступает средой по отношению к языковой системе? Принято считать, что язык существует в обществе, и в этом смысле средой для языка оказывается общество — общественные отношения в их функционировании. В то же время языковая система, которой владеет конкретный человек, ^{/15//16/} «встроена» в его психоневрологические механизмы. В последнее время специалисты, особенно работающие в области изучения патологии речи, стремятся подчеркнуть определенную автономность собственно языковой системы, несводимость к неспецифическим психическим и неврологическим системам; так, обширный клинический материал свидетельствует как будто бы, что афазии, алалия суть расстройства, которые заключаются в нарушении механизмов, ответственных именно за язык, — интеллект, слух, способность к сложным координированным движениям при данных поражениях могут сохраняться [Винарская 1971; Ковшиков 1986]. Указанная автономность языковой системы с этой точки зрения как раз и показывает, вероятно, что данная система относится к «прочим» механизмам человека (прежде всего психоневрологической природы) как к среде.

Можно было бы сказать даже, что по сути дела мы рассматриваем две разные языковые системы. Одна — это язык как чисто абстрактное образование в том смысле, что он обладает отдельным существованием лишь как объект (составная часть) теории, будучи в то же время «скрыт», «рассредоточен» в текстах, циркулирующих в обществе. Такой язык имеет своей средой, соответственно, общество, вернее, действующие общественные структуры. Другая — система, которой владеет каждый носитель языка и которая ответственна за порождение и восприятие

текстов. Для такого языка средой выступают психоневрологические механизмы человека [Касевич 1974]. Но можно, вероятно, сказать и иначе. Исходя из системы, которой владеет каждый индивид, и именно эту систему считая языком, мы можем констатировать, что носитель языка «функционирует» в обществе, и жизнь общества оказывает влияние на язык «через» носителя языка. При таком подходе своего рода дуализм, постулирующий сосуществование «двух языков», двух систем, ассоциированных каждая со своей средой, будет снят: мы получим одну систему и одну среду, а общество окажется средой не для языка как такового, а для его носителя, и взаимодействие языка с этой средой будет опосредованным.

То или иное решение вопроса не влияет, впрочем, на наиболее важное для нас сейчас обстоятельство: существуют внешние факторы, сообщающие целостность языку как системе, которые заключаются в том, что язык в известной степени противостоит среде.

Внутренние причины целостности языковой системы, вообще говоря, не являются специфическими для языка. Любая система организована сетью связей, отношений, которые и придают ей определенную целостность. Для функциональных систем, к числу которых принадлежит язык, основным системообразующим фактором — тем самым и фактором целостности — служит результат, который призвана осуществлять действующая система. Внешний по отношению к системе, результат, на который последняя нацелена, есть причина ее внутренней органи- /16//17/ зованности: только будучи организованной определенным образом, система может выполнять свое предназначение.

Можно заметить, что для языка внешний характер результата не абсолютен. Если результат (в данном контексте) отождествить с функцией, а функция языка — обеспечение коммуникации, то окажется, что само по себе функционирование языка и есть выполнение его предназначения, функции. Если поставить вопрос несколько иначе и считать, что результат функционирования языковой системы — это изменение информационного состояния и/или поведения слушающего, то и здесь по крайней мере первый из названных аспектов в значительной степени связан с языковой формой, коль скоро важнейшая часть информации, которой обладает человек, вербализована. Поэтому для языка результат его деятельности как системообразующий фактор, быть может, в наименьшей степени носит внешний характер.

5. Целостное образование предполагает наличие частей, система — элементов. Для такой сложной системы, как язык, непосредственно из элементов складываются относительно «мелкие» подсистемы, сама же система включает в свой состав подсистемы. Каждая из них также очевидным образом обладает определенной целостностью. Возникает

чрезвычайно важная и сложная проблема: как соотносятся подсистемы в рамках системы?

5.1. Почти всякая система и, по-видимому, всякая функциональная система иерархична. Это означает, что работа одной подсистемы зависит от функционирования другой. В частности, достижение (промежуточного) результата одной подсистемой есть необходимое условие функционирования другой. Таков один признак иерархического соотношения, необходимый, но не достаточный. Вторым заключается в том, что выбор состояния одной подсистемы, соответственно структура и результат ее работы, определяется другой подсистемой, ее состоянием. Иначе говоря, подсистема А, «потребляющая» результат функционирования подсистемы В и на нем строящая свою работу, а сама, в свою очередь, определяющая функционирование В, является управляющей, а В — управляемой.

Важно установить, соотносятся ли все подсистемы языка как управляющие и управляемые, т. е. строго иерархически, существует ли при этом одна упорядоченная цепочка «шагов», когда, скажем, подлежащая кодированию информация сугубо последовательно «пропускается» через все блоки-подсистемы. Единственно возможная связь подсистем в таком случае заключается в том, что вход одной подсистемы соединен с выходом другой, непосредственно «старшей» в общей иерархии, и каждая подсистема связана максимум с двумя другими — непосредственно управляющей и управляемой.

С одной стороны, существующие представления о языке, некоторые факты речевой деятельности свидетельствуют, как [/17//18/](#) будто бы, в пользу именно такой картины. Традиционные уровни языка и речевой деятельности выступают как иерархически соотносящиеся этапы переработки сообщения, работающие строго последовательно. Применительно к речепроизводству это соотношение подсистем по типу строгой упорядоченности кажется особенно очевидным: семантика обуславливает синтаксис, синтаксис — морфологию и т. д. Все этапы-уровни, отражающие работу определенных подсистем, зависят друг от друга как члены иерархизированной последовательности. Каждая из подсистем сообщается не более чем с двумя другими, причем ближайшими по иерархии — «старшей» и «младшей». Как будто бы не существует «дальнего взаимодействия», когда в связь вступали бы подсистемы, различающиеся более чем на один ранг.

5.2. С другой стороны, факты речевой деятельности, равно как и некоторые характеристики языковой системы, заставляют усомниться в реальности столь стройной и однозначной картины. Уже функционирование грамматических категорий типа времени или наклонения показывает наличие в речевой деятельности «дальних связей» между подсистемами языка. Время и коммуникативная установка,

отражаемая наклоном, суть несомненные компоненты семантической записи высказывания. Иначе говоря, эти категории принадлежат уровню (поверхностной) семантики. Однако они реализуются формально в словоформах, выбор которых происходит не на уровне (глубинного) синтаксиса, непосредственно подчиненного семантическому уровню, а на уровне (глубинной?) морфологии. Иначе говоря, уровень семантики управляет уровнем морфологии «через голову» синтаксического уровня. Такого рода фактов можно обнаружить достаточно много.

Не так давно авторами, изучающими принципы функционирования когнитивных систем, естественных и искусственных, были сформулированы положения о «модульном» строении таких систем. Так, Г. Саймон говорит об автономных компонентах системы, которые взаимодействуют с другими компонентами только «на уровне выхода» [Simon 1969]. Дж. Фодор выдвигает гипотезу о том, что отдельные модули системы работают совершенно независимо, причем решая некоторые более или менее узкие, специальные задачи, модули принципиально не используют информацию о функционировании других компонентов системы [Fodor J. A. 1983].

Очень интересны результаты, обсуждаемые в статье У. Кинча и Э. Мросса в свете «модульной» концепции [Kintsch, Mross 1985]. Указанные авторы экспериментально изучали зависимость активирования разных значений слов в тексте от контекста, в который помещены слова. Хорошо известно, что контекст служит основным средством разрешения полисемии или омонимии: в контексте слову, потенциально способному передавать целый ряд значений, «присваивается» только одно из них. Авторы задались вопросом: значит ли это, что остальные значения вообще никак не присутствуют в этом процессе, что контекст каким-то образом позволяет сразу выходить на отвечающее ему значение? Используя специальную экспериментальную методику, они показали, что это не так. У человека, читающего текст, как о том говорят данные экспериментов, активируются все значения встретившегося слова, хотя под влиянием контекста из них отбирается лишь одно (см. также [Величковский 1982]).

Авторы предполагают существование в языковой системе особого модуля, функцией которого является активирование всех значений встретившегося в тексте слова, его ассоциативных полей, равно как и частотного ранга. Эти процессы действуют автоматически, облигаторно и подсознательно. Их характеризует высокая скорость протекания. В то же время они никак не сообщаются с работой других модулей системы, лишь их результат, выход представляет собой материал, из которого должен сделать выбор другой языковой механизм, ответственный за тематическую структуру текста. Наличие в системе такого модуля позволяет обеспечить быстрый доступ к словарной информации, а «издержки», вызванные

активированием лишних — применительно к данному тексту — объемов словарной информации, ликвидируются обращением к контексту, его тематической структуре и семантическому плеоназму синтаксически связанных слов.

Положение о модульном строении системы кажется правдоподобным применительно к тому аспекту, который изучали Кинч и Мросс. Можно заметить, что так или иначе мы всегда говорим о выборе из множества значений данного слова, но ведь выбор предполагает доступность класса (множества), из которого такой выбор и производится. Процедуры, описанные нашими авторами, как раз и реализуют извлечение из памяти всего класса с последующим его ограничением до одноэлементного состава.

5.3. В то же время вряд ли есть основания полагать, что языковая система в целом разложима на практически полностью автономные модули. В качестве предварительной гипотезы примем нижеследующие положения, которые в дальнейшем постараемся развить. В системе языка имеются компоненты разной степени автономности; максимальной автономностью обладают компоненты-модули, которые «вступают в игру» при срабатывании некоторых пусковых механизмов (например, при появлении слова в поле зрения читателя) и не нуждаются в связи с другими компонентами; лишь результат их работы поступает в распоряжение некоторого другого компонента. Компоненты (возможно, кроме модульных) обладают уровневым строением. Друг с другом компоненты находятся в отношении частичной иерархизации. Это проявляется по меньшей мере в пяти аспектах. Во-первых, два компонента могут оказывать друг на друга взаимное влияние, /19//20/ т. е. попеременно — в разных аспектах — выступают как управляющий и управляемый. Во-вторых, отдельные уровневые подсистемы одного компонента могут вступать в самостоятельные связи с уровневыми подсистемами другого. В-третьих, существуют компоненты (и субкомпоненты в рамках последних), которые в принципе участвуют не в вертикальных, т. е. иерархических, а в горизонтальных связях системы. В-четвертых, даже и вертикально, иерархически соотносящиеся компоненты и субкомпоненты при функционировании в речевой деятельности в реальном масштабе времени частично перекрывают друг друга: для достижения быстрого действия всей системы используются стратегии, когда нижележащий уровень начинает действовать, получив на вход лишь часть информации с выхода вышележащего. Наконец, в-пятых, в силу необходимости текущей коррекции речевых действий как при речепроизводстве, так и при речевосприятии языковая система периодически возвращается к информации, полученной на предыдущих этапах, для внесения тех или иных поправок.

6. Рассмотрим эти аспекты, оговорившись, однако, что вопросы речевой деятельности будут здесь затронуты лишь минимально (им специально посвящена гл. V); нас будут интересовать внутрисистемные отношения, вопросы устройства, структуры языковой системы.

Представляется, что определенную помощь в обсуждении соответствующих проблем могут оказать положения, разработанные в рамках теории фреймов³. Изложим некоторые из этих положений, как они развиты, в первую очередь, М. Минским [Минский 1981].

6.1. Фрейм можно описать как типовую структуру, предназначенную для упорядочения, организации некоторых данных, некоторой информации. «Отправным моментом для данной теории, — говорит Минский, — служит тот факт, что человек, пытаясь познать новую для себя ситуацию или по-новому взглянуть на уже привычные вещи, выбирает из своей памяти некоторую структуру данных (образ), называемую нами *фреймом*, с таким расчетом, чтобы путем изменения в ней отдельных деталей сделать ее пригодной для понимания более широкого класса явлений или процессов. Фрейм является структурой данных для представления стереотипной ситуации» [Минский 1981: 7]. Хотя из приведенной цитаты как будто бы явствует, что понятие фрейма призвано, прежде всего, эксплицировать познавательные процессы как таковые, одновременно из нее (равно как из общего контекста теории) следует, что человеку вообще свойственно организовывать и хранить информацию в терминах фреймов. Язык — один из важнейших способов организации информации (вероятно, самый важный), поэтому есть все основания думать, что языковая система также во многом представляет собой именно систему фреймов.

Фреймы выступают как сети отношений. Они различаются /20/21/ по узлам-терминалам, соединяемым определенными отношениями, и по типу самих отношений. По-видимому, различие в типе фрейма как раз и соответствует самостоятельности компонентов и субкомпонентов в системе языка. Обратимся к конкретному примеру. В литературе нередко говорят о «словообразовательном уровне» в системе языка. Однако трудно представить себе, какое место в общей иерархии языковой системы занимает такой уровень: каким другим уровнем он управляется, что служит управляемым уровнем для него самого? Вместе с тем относительная самостоятельность словообразовательного компонента (или субкомпонента) в целом не вызывает сомнений. Дело прежде всего в том, что словообразовательные структуры не являются частным случаем

³ Лингвистические аспекты понятия фрейма обсуждались в ряде работ, см. в особенности материалы «круглого стола», опубликованные в двух номерах журнала «Quaderni di semantica» (1985, vol. 6, № 2, и 1986, vol. 7, № 1); к сожалению, автор получил возможность познакомиться с этими материалами уже после сдачи рукописи книги в печать.

морфемных структур. Иначе говоря, некорректно утверждать (во всяком случае, без значительного упрощения и огрубления), что существуют морфемные структуры, которые, взятые в целом, являются словами и подразделяются на словообразовательные и формообразовательные в зависимости от соотношений с другими структурами и типа входящих в них морфем. В действительности в словообразовании участвуют не морфемы как таковые, а особые единицы (для которых традиция не выработала общего термина), например, мотивирующая основа и дериватор. И основа, и дериватор могут материально совпадать с морфемами, т. е. быть одноморфемными единицами, однако это частный случай; в общем же такого совпадения не требуется. Например, *-овщин/-щин-* в *махновщина*, *столыпинщина* — это один дериватор, состоящий из двух морфем: *овск/ск* и *ин*. Словообразование может реализоваться и как стяжение в слово словосочетания, и в ряде других разновидностей (см. об этом гл. IV), которые обладают общим результатом, получаемым действием правил: этот результат — всегда слово, а также общностью самих правил, или моделей, необходимых для получения результата. Качественное отличие этих моделей от всех других в системе языка бесспорно. В иной терминологии эти модели и являются фреймами, предназначенными для организации данного вида информации — информации о том, каким образом может пополняться при необходимости словарь языка, если при этом не ограничиваться переосмыслением уже существующих слов без образования новых⁴.

Приведенные несложные рассуждения, вообще говоря, не требуют, сами по себе, привлечения понятия фрейма. Однако, думается, последнее помогает достичь необходимой степени общности описания. Ограничиваясь, скажем, понятием уровня, мы не находим места в описании тем явлениям, структурам, которые претендуют на самостоятельность, автономность, но не несут признаков, позволяющих считать их членами иерархически упорядоченных организаций. Фреймы же могут обнаруживать иерархическую упорядоченность, но не предполагают таковую с необходимостью, поэтому (в частности) они и оказываются более универсальным и мощным инструментом описания.

6.2. В свете обсуждаемых здесь проблем заслуживает внимания и другое описание фрейма, которое мы находим у Минского: «Фрейм — это множество вопросов, которые необходимо задать относительно

⁴ По существу, весь сложный и в некоторых языках (как в русском) достаточно громоздкий аппарат словообразования служит главным образом именно этой цели, которую, однако, нельзя недооценивать (наиболее заметный тип развития языка — это изменение его словаря). Другой функцией словообразовательных моделей можно считать облегчение восприятия слов, установления их семантики в силу прозрачности словообразовательной структуры.

предполагаемой ситуации; на их основе происходит уточнение перечня тем, которые следует рассмотреть, и определяются методы, требуемые для этих целей. [...] Чтобы понять действие, о котором идет речь или за которым человек имеет возможность наблюдать, ему часто приходится искать ответы на такие вопросы, как:

В чем причина этого действия (агент)?

Какова цель действия (намерение)?

Каковы последствия этого действия (побочные явления)?

На кого (или что) это действие влияет (получатель)?

С помощью каких средств оно выполняется (инструмент)?» [Минский 1981: 64].

Ближайшим и естественным образом эта интерпретация фрейма относится к семантическому представлению высказывания (ср. ниже). Однако если учесть, что кодирование или декодирование любой языковой единицы есть тоже действие, руководимое определенными правилами, то в перечне Минского нужно только переформулировать вопросы, чтобы получить описание фрейма соответствующего компонента, субкомпонента, уровня.

6.3. Упоминание еще двух моментов кажется существенным для демонстрации уместности и целесообразности использования теории фреймов для описания системы языка. Как пишет Ф. М. Кулаков, автор приложения к русскому переводу монографии М. Минского, «центральный [для теории] моментом является использование одних и тех же терминалов различными фреймами, что позволяет координировать информацию, собираемую из разных источников» [Минский 1981: 124]. Под терминалами имеются в виду, как уже отмечалось, узлы в сетях отношений, которые (сети) и представляют собой фрейм. В составе фрейма терминал обычно не выступает жестко определенным, чаще всего фиксирован его тип с некоторой точки зрения, а также представлен типичный пример объекта, который может отвечать терминалу в составе данного фрейма: «Так, если вам скажут *Джон ударил ногой по мячу*, то, видимо, вы не думаете о каком-то абстрактном мяче, а представляете себе вполне определенные его характеристики: размер, цвет, массу, которые, однако, пока неизвестны» [Минский 1981: 34].

Из сказанного можно сделать следующие предварительные выводы. Во-первых, в рамках одного компонента (субкомпонента) объединяются фреймы, которые «пользуются» одними и теми же объектами для заполнения (конкретизации) своих узлов-терминалов. Во-вторых, для терминалов характерна связь с типичными экземплярами, которые успешнее указывают на /22//23/ природу соответствующих объектов, нежели абстрактные описания. Как представляется, это также способствует экспликации отношений в системе языка.

Наконец, концепция фреймов предусматривает как поуровневое соотношение последних, когда один фрейм является субфреймом-терминалом другого, так и более сложные соотношения, например, самостоятельную связь одного из терминалов фрейма с другим фреймом, по отношению к которому первый может считаться субфреймом. «Важной чертой фреймов распознавания, — пишет Минский, — (и тех категорий, которые они представляют) является то, что они могут образовывать иерархические структуры. Благодаря этому система может вырабатывать гипотезы на многих уровнях, от весьма общих до очень конкретных, например: животное, некоторого вида, четвероногое средних размеров, собака, колли, кличка Лесси» [Минский 1981: 98]. В качестве иллюстрации второго из обрисованных выше положений можно привести описание восприятия комнаты по Минскому: «Заполнение пробелов терминала стены фрейма комнаты предусматривает поиск и заполнение конкретными данными субфрейма „стена“ более низкого уровня, в то время как конкретизация терминала „дверь“ предусматривает присоединение фрейма комнаты к фрейму дома» [Минский 1981: 93].

7. Итак, попытаемся эскизно наметить общую схему строения языка как системы компонентов и субкомпонентов с указанием типа соотношений между ними. В состав языковой системы, как можно полагать, входят семантический, синтаксический, номинативный, морфологический и фонологический компоненты. Первый и последний из них суть компоненты, оперирующие фигурами по Ельмслеву — фигурами содержания и выражения соответственно. Остальные три — сформированы знаками разной природы.

7.1. Семантический компонент представляет собой систему фреймов, предназначенных для отражения ситуаций, релевантных для данного языкового коллектива. Терминалы этих фреймов заполняются категориями, которые представляют собой обобщенные или же типичные ответы на вопросы наподобие упоминавшихся выше («Кто является агентом данного действия?» и т. п.). Думается, что прав Минский, который, вопреки ряду авторов-лингвистов, выражает сомнение в существовании строго определенного числа категорий: «Число таких вопросов... проблематично. Хотя нам нравится сокращать число таких „примитивов“ до весьма малого их количества (по аналогии, видимо, с традиционным лингвистическим анализом), я считаю, что в этом случае нет оснований серьезно рассчитывать на успех» [Минский 1981: 64–65]. Дело в том, что одним из существенных качеств фреймов является их высокая приспособительная гибкость: предназначенные для охвата потенциально бесконечного множества ситуаций⁵, они эффективно

⁵ Каждый фрейм отвечает не только бесконечному множеству конкретных ситуаций данного типа: он может, частично пересматриваясь, обслуживать и новые ситуации,

отвечают своему назначению, если обнаруживают способность перестраиваться, в том числе и путем добавления новых терминалов; новый фрейм система строит тогда, когда исчерпаны возможности приспособления какого-либо из существующих для отражения новых данных. Поэтому сама логика фреймов — это не бесполезное, с приспособительной точки зрения стремление к исчерпывающему набору категорий, а способность к его расширению по мере появления необходимости в модификации одного из существующих фреймов или построению нового (Более подробно о семантическом компоненте будет сказано в гл. I.)

7.2. Синтаксический компонент — это система синтаксических фреймов. Элементарный синтаксический фрейм представляет собой структуру типовых лексем, охарактеризованных с точки зрения семантического и грамматического класса (части речи), подкласса, формы и линейной позиции. Должны быть также характеристики терминалов, которые указывают на возможность его заполнения не одиночной лексемой, а некоторым субфреймом. Существуют, очевидно, два типа таких субфреймов. Один отражает синтаксическую группу (см., например, [Мазо 1978]). Синтаксическая группа — это конструкция, которая: а) занимает «место» (т. е. заполняет узел, терминал) в составе другой конструкции, которое может занимать и отдельное слово; б) способна выступать в разных функциях, занимая соответственно разные позиции, но не меняя при этом своей внутренней структуры; в) не может функционировать как высказывание, будучи изолирована. Синтаксические группы представляют собой блоки, которые появляются при необходимости распространить тот или иной узел синтаксической структуры. Их основные разновидности — распространители именных узлов и распространители глагольных: как хорошо известно, имеются особые правила, согласно которым к существительному присоединяются определения, детерминативы и т. д. Даже для типологически близких языков обнаруживаются различия в правилах, которые предписывают, скажем, строить последовательность определений как, например, *три черных утенка* или *черных три утенка*. Аналогично существуют правила введения определений к глагольным составляющим конструкций. Совокупность правил этого рода относится, очевидно, к самостоятельному субкомпоненту в составе синтаксического компонента.

Другой тип субфреймов отражает наличие конструкций, которые могут существовать изолированно (как часть текста или отдельный «минитекст»), но — без изменения или в модифицированном виде — входят в некоторые другие конструкции.

отличающиеся от стереотипных (подробнее см. прим. 29 к гл. V).

Нетрудно видеть, что предложенное описание воспроизводит, в иной терминологии, традиционное: вполне обычно описывать синтаксис как систему элементарных синтаксических конструкций, правил их распространения и перехода от простых конструкций к сложным (иначе — от простых предложений к сложным). /24//25/

7.3. Номинативный компонент языка включает два основных субкомпонента — словарный и словообразовательный. Слова и/или иные единицы словаря входят в сложные сети отношений, где они связаны по значению, по грамматическим свойствам, по структуре, морфемной и словообразовательной, по звуковому составу. Каждую такую сеть, вероятно, тоже уместно считать фреймом, хотя его тип существенно отличается от семантического или синтаксического в силу парадигматичности, а не синтагматичности отношений. Для сетей этого вида характерно наличие узлов, которые Минский называет «капитолиями»: последние являются как бы центрами притяжения для других узлов, которые группируются вокруг них. В связи с этим достаточно упомянуть иерархическое строение синонимических полей в словаре: обычна ситуация, когда выделяется группа слов с наиболее близким значением, а остальные группируются вокруг них, будучи удаленными по степени отклонения и осложненности семантики.

Словообразовательные отношения мы условно включаем в номинативный компонент на правах субкомпонента, хотя, видимо, вполне возможно и наделение его рангом самостоятельного компонента. Сходство со словарем — в центральности номинативной функции для слов любого типа — непроизводных, производных, сложных. Отличие — в существовании особых словообразовательных моделей, или фреймов, благодаря которым во многом обеспечивается открытость словаря. Развившийся в последнее время подход, уподобляющий словообразование синтаксису [Гинзбург 1979; Сахарный 1985], совершенно справедливо подчеркивает структурную общность обеих сфер: в синтаксисе и словообразовании представлены воспроизводимые, с разным наполнением, модели, конструкции. Правда, свобода заполнения этих конструкций в синтаксисе и словообразовании несравнима, но принципиальное сходство налицо. Хорошо известна полемика между сторонниками лексикалистского и трансформационного подхода в генеративной лингвистике [Комри 1985; Хомский 1965], которая, как нам представляется, не затрагивает существа вопроса: с одной стороны, слово (флективного языка), в том числе и производное, в составе синтаксической конструкции воспроизводится как целое, «готовое» образование, оно, конечно, не строится заново при каждом его употреблении [Касевич 1986b], и в этом правы лексикалисты; с другой стороны, как уже говорилось выше, языковой системе «выгодно» иметь определенный набор словообразовательных моделей, поскольку это открывает путь для

пополнения словаря, а также служит лучшей воспринимаемостью слова в силу придания мотивированности его структуре. Последнее способствует и систематизации словаря.

Наличие особого словообразовательного компонента (субкомпонента) в системе языка, очевидно, нельзя считать универсалией. Есть языки, в которых словообразование очень бедно или даже вообще отсутствует. Такое положение можно обнаружить в изолирующих языках⁶, где предпочтение отдается синтаксическим конструкциям «взамен» словообразовательных.

7.4. Морфологический компонент, в разной степени развитый, присущ, вероятно, любому языку [Солнцева 1985]. Для него отмечаются фреймы двух основных видов: семантически и синтаксически ориентированные. Используя эти условные обозначения, мы имеем в виду, что семантически ориентированные фреймы представляют собой морфемные или лексемные структуры, призванные непосредственно передавать такие элементы семантического представления высказывания, как число, время и т. п. Здесь морфология непосредственно обслуживает (грамматическую) семантику, выступает средством выражения абстрактных значений, характеризующих ту или иную ситуацию. Эту задачу, как сказано, обычно выполняют особые морфемные или лексемные конструкции, но могут использоваться и операции над морфемами или словами типа редупликации, аблаута (внутренней флексии) и некот. др.

Синтаксически ориентированные фреймы в составе морфологического компонента — это морфемные или лексемные структуры, предназначенные для указания на возможную функцию лексемы в составе синтаксической конструкции. Языки существенно отличаются по степени использования таких структур, некоторые могут, по-видимому, и вообще «обходиться» без них, хотя семантически ориентированные представлены как будто бы в любом языке. Более подробно эти вопросы будут обсуждаться в главе III.

7.5. Хотя описание фонологии не входит в задачу нашей книги, мы не можем полностью отказаться от упоминания о звуковой стороне языка уже потому, что последняя далеко не безразлична для семантики и грамматики. Наличие фонологического компонента в системе любого языка, конечно, не вызывает сомнений. Сразу же можно сказать,

⁶ В этой работе мы не занимаемся специально вопросами типологии, поэтому мы не оговариваем, что понимается под изолирующими, флективными, агглютинативными и т. п. языками. Мы можем прибегнуть к тому, что в логике именуется остенсивным определением, «показав» те языки, которые можно считать типичными представителями соответствующих классов: флективные языки — это языки типа русского, агглютинативные — типа монгольского, изолирующие — типа вьетнамского, аналитические — английского и инкорпорирующие — чукотского (хотя последние выделяются на несколько иных основаниях).

что ему свойственно сложное иерархическое строение. Прежде всего, в состав фонологического компонента входит несколько просодических субкомпонентов. Если отвлечься от просодических способов выражения эмоций, то можно выделить следующие просодические субкомпоненты: 1) коммуникативно-интонационный, единицами которого выступают интонационные контуры (интонемы), способные совместно с синтаксическими и морфологическими средствами определять тип высказывания с точки зрения его коммуникативной установки; 2) синтагматико-интонационный, единицами которого служат интонемы, оформляющие синтагмы, синтаксические группы и др. синтаксические конструкции в составе высказывания; эти интонемы указывают на членение высказывания и единство вычлняющихся частей [Светозарова 1982]; 3) акцентно-просодический, средства которого устанавливают тип опирающегося на контекст соотношения между семантической и синтаксической структурами высказывания, наличие пресуппозиций и т. п. [Николаева 1982]; 4) эмфатический, средства которого, нарушая нейтральную, «немаркированную» ритмику высказывания, привлекают внимание слушающего к тем частям высказывания, которые говорящий считает информационно особо важными; 5) темо-рематический, способствующий установлению коммуникативного (актуального) членения высказывания данного типа; 6) ритмический — в этот субкомпонент входят все просодические средства языка, главным образом, разные типы ударения, благодаря которым обеспечивается ритмизация речевого потока.

Заметим, что все перечисленные просодемы обладают внутренней структурой, организующей соответствующий звуковой материал и участвующей в решении когнитивных задач, поэтому обо всех этих единицах уместно говорить как о фреймах.

Не все из перечисленных просодических субкомпонентов универсальны; так, могут отсутствовать специальные интонационные средства актуального членения; акцентное выделение, указывающее на соотношение семантических и синтаксических структур, может использоваться слабо или даже отсутствовать, ритмический субкомпонент может быть редуцирован за счет отсутствия словесного ударения и т. п.

Еще один субкомпонент фонологии — слоговой. Для фонемных языков это система глубинных и поверхностных слогов, а для языков слоговых — силлабем [Касевич 1983]. Наконец, в фонемных языках имеется субкомпонент фонем, а в слоговых — субкомпонент (или субкомпоненты) слоготтем [Касевич 1983].

7.6. Перейдем теперь к вопросу об уровневых и иных связях между различными компонентами и субкомпонентами языковой системы. Разумеется, мы не сможем охватить в своем изложении всех связей — для этого в нашем распоряжении слишком мало данных, прежде всего

экспериментальных (которые здесь особенно важны). Мы постараемся лишь высветить основные связи, отношения и, главное, принципы, на которых они зиждутся.

Исходить, как и во всех случаях, естественно из примата функции. Мы уже говорили выше о том, что язык выполняет две главные функции: порождения и передачи информации. Из них логически и исторически предшествующей предстает вторая, применительно же к процессу коммуникации можно условно говорить о предшествовании первой: подлежащая передаче информация должна быть порождена, и, как уже говорилось, немалую роль в окончательном формировании информации играют языковые средства.

7.6.1. Поскольку у человека в пределах звукового языка отсутствуют развитые средства аналоговой передачи информации, континуальные «картины» его внутреннего мира (отражающие «картины» внешнего) должны быть перекодированы в структуры дискретных элементов. Это и является задачей семантического компонента с его системой семантических фреймов. Точнее, возможно, представлять ситуацию следующим образом. Уже на довербальном уровне восприятия действительности человек оперирует соответствующими фреймами, которые уже определенным образом структурируют информацию. Следовательно, при речепроизводстве (возьмем этот аспект речевой деятельности) задача состоит в том, чтобы сопоставить довербальному, чисто-перцептивному фрейму языковые, а первым из них оказывается семантический, осуществляющий первичную «подгонку» индивидуального довербального фрейма под коммуницируемые структуры, под возможности языка и коммуникации.

Вполне понятно, что от природы семантического фрейма (семантического представления высказывания) зависит синтаксическая структура, пригодная для его кодирования. Поэтому семантическое представление управляет синтаксическим, а соответствующие компоненты (субкомпоненты) системы находятся в уровнях отношениях.

7.6.2. Однако связи семантического представления, вырабатываемого семантическим компонентом, никак не сводятся к управлению синтаксическим представлением. Уже говорилось, что семантическое представление необходимым образом включает указание на квантификацию объектов и/или ситуаций, темпоральные и некоторые другие характеристики, которые чаще всего выражаются средствами морфологического компонента, отчасти — лексического (словарного субкомпонента номинативного компонента). То же относится к разнообразным рамкам, прежде всего модальной и коммуникативной (см. об этом в гл. I, 8–8.3), также находящим свое выражение в употреблении языковых средств, принадлежащих разным компонентам и

субкомпонентам, в том числе морфологическому и фонологическому. Тем самым устанавливаются необходимые связи семантического компонента с соответствующими компонентами и субкомпонентами: лексическим, морфологическим, фонологическим. Это тоже уровневая связь, но она носит как бы дистантный характер, одни уровни оказываются «прозрачными» для реализации связей между другими (см. об этом также в гл. I).

Вполне понятно, что весьма тесные связи должны существовать между семантическим компонентом и словарем. Именно семантическое представление высказывания в процессе речепроизводства выступает пусковым механизмом, который приводит в действие механизмы активации пластов лексики, сетей отношений между лексемами, что в итоге приводит к заполнению узлов синтаксических структур. При восприятии речи таким пусковым механизмом служит, как уже говорилось, само появление слова в поле внимания слушающего (читающего) текст человека.

7.6.3. Другая линия связей объединяет лексический субкомпонент с эмфатическим интонационным: известно, что, подобно тому как определенные морфемы притягивают или отталкивают ударение, лексемы той или иной семантики, функции обуславливают просодическую выделенность/невыделенность. Например, при одинаковых синтаксических отношениях квалифицирующее определение в *Она — научный работник* просодически не выделено, а оценочное в *Она — очаровательная женщина* выделяется. Лексема *один*, употребленная с семантикой неопределенности, всегда просодически не выделена, та же лексема, передающая семантику количества может получать просодическое выделение, ср. *Я вчера встретил одного знакомого* и *Во всем большом зале я увидел одного человека, который сидел в первом ряду*.

7.6.4. Связи, отношения между семантическим компонентом и словарем не следует трактовать как иерархические, уровневые. Уже отмечалось, что словарь уместно представлять в качестве модуля — в высокой степени автономной системы, на выход которой воздействуют, налагая ограничения как фильтры, семантический, синтаксический, морфологический и фонологический компоненты (точнее, их определенные субкомпоненты).

Связи между субкомпонентами, которые не являются уровневыми, можно назвать координационными. В итоге мы можем констатировать, что положение о языке как об иерархической системе нужно дополнить признанием координационных связей. Последние выступают либо как горизонтальные (например, синтаксическая структура, соответствующая вопросительному предложению, и нужная интонация в процессе речепроизводства отбираются, надо думать, параллельно под воздействием семантического представления), либо как фильтрующие, когда

субкомпонент функционирует в «автономном режиме», а результаты его деятельности проходят отбор средствами другого компонента системы. Кроме того, уровневые связи могут быть не только непосредственными, но и дистантными.

8. До сих пор мы обсуждали вопрос о целостности и компонентности языковой системы и ее подсистем, о типе связей внутри этих образований. Но целостностью обладают и элементы, из которых сформированы подсистемы языка и которые функционируют в тексте, — высказывания, синтагмы, слова, не говоря уже о морфемах и, тем более, фонемах. Проблема их целостности также возникает в связи с многокомпонентностью состава (в случае фонемы — с многопризнаковостью, но от вопросов фонологии мы отвлекаемся).

Целостность языковых единиц имеет смысл рассматривать с двух точек зрения: в плане их статуса как членов системы и в плане перцептивном, т. е. с точки зрения восприятия.

8.1. Первый из названных аспектов, имеющий длительную традицию изучения в истории науки⁷, относится к положению о том, что нами было названо идиоматичностью в широком смысле слова [Касевич 1983: 238]: единица выступает в качестве целостного образования, если ее свойства не выводимы полностью из свойств компонентов, или, иначе, она не является /29/30/ простой суммой компонентов. Как пишет И. В. Блауберг, «главным в этой характеристике (целостного объекта. — *В. К.*) является свойство интегративности, т. е. возникновение на уровне целого в результате взаимодействия частей новых качеств и свойств, не присущих отдельным частям и их сумме» [Блауберг 1977: 18]. В логике и философии давнее хождение имеет максима «целое — больше суммы своих частей», которая у представителей разных направлений получает неодинаковую интерпретацию.

8.1.1. Пожалуй, «крайними точками» выступают позиции редукционизма позитивистского толка и так называемой философии холизма. Так, Э. Нагель подвергает тщательному и скрупулезному анализу утверждения различных авторов относительно несводимости целого к своим частям и показывает, во-первых, неопределенность, размытость семантики понятий «целое», «часть», а во-вторых, догматичность этих утверждений применительно к конкретному материалу. Например, о существующем мнении, согласно которому мелодия не есть сумма простых тонов, Нагель пишет: «Возможно, вполне справедливо, что

⁷ Нужно отметить, однако, что эта традиция (берущая начало по крайней мере в «Пармениде» Платона) не разграничивала вопросы целостности системы и целостности элемента системы (разумеется, мы имеем в виду обсуждение данной проблематики в общем плане, а не материал языка и его единиц, где применительно к интересующей нас сейчас проблематике вообще трудно говорить о каких-либо сложившихся традициях).

эффект, производимый данным тоном, зависит от его положения в контексте других тонов... Но из этого предполагаемого факта не следует, что мы не имеем права рассматривать мелодию как связанный некоторыми отношениями комплекс (a relational complex), тоны-компоненты которого могут быть отождествлены независимо от их вхождения в этот комплекс. Ведь если бы это было не так, было бы невозможно описать, как мелодия складывается из отдельных тонов и, следовательно, невозможно передать, как ее исполнять» [Nagel 1963: 144]. С некоторыми оговорками, Нагель предпочитает считать, что если мы учтем не только составляющие сложный объект компоненты, элементы, но и тип связи между ними, то целостное образование будет адекватно описано через данное множество элементов плюс тип связей, отношений между ними [Nagel 1963: 152].

По-видимому, к этому достаточно близка позиция Г. А. Смирнова, который для описания и представления целостных объектов постулирует специальный объект-связь: «добавляясь» к объектам-компонентам (частям) внутри целого, этот объект и служит причиной, превращающей их набор в целое, обладающее интегративными свойствами [Смирнов Г. А. 1977].

В свою очередь, философия холизма возводит целостность в ранг почти мистического абсолюта, нематериального и надматериального принципа, управляющего возникновением таких сущностей, которые обладают свойствами, невыводимыми из качеств их ингредиентов (см. об этом, например, [Афанасьев 1964]).

8.1.2. Представляется, что целостность каждого элемента в составе системы, его интегративные, а не суммативные, аддитивные свойства следует объяснять с той же точки зрения, что и целостность, интегративность системы как таковой. Как говорилось выше, важную роль в придании системе целостности играют внешние факторы, тип ее взаимодействия со средой. /30//31/ Аналогично должно обстоять дело и применительно к каждому элементу, для которого средой выступает сама система, или, точнее, некоторая конкретная подсистема. Существуют три источника качественного своеобразия элемента: (а) его компонентный состав, (б) тип связи между данными компонентами, т. е. внутренние структурные связи элемента, (в) тип связи (связей) элемента с другими элементами внутри системы, т. е. его внешние структурные связи.

По существу, последний пункт — это обычное положение, утверждающее, что качественное своеобразие любого элемента во многом определяется его местом в системе, соотношением с другими элементами системы. Но оно как будто бы не фигурирует в литературе при обсуждении проблемы целостности, что явно не оправданно.

Обратимся к простейшим языковым примерам. Слова *предъявитель* и *проявитель* состоят из двух, не считая окончания, компонентов каждое: разных основ и одного и того же суффикса *-тель*. Этот суффикс вносит

значение 'тот, чей специальный признак — выполнение X' или же 'то, специальный признак чего — выполнение X', где X — название действия, обозначенного мотивирующим глаголом. В слове *предъявитель* язык «избирает» первое значение, с признаком одушевленности, а в слове *проявитель* — второе, с признаком неодушевленности. Чем же обусловлена эта разница в категориальном значении слов?

Самым простым ответом на этот вопрос будет такой: каждое слово имеет в словаре только ему присущее значение; в русском языке в значение слова *предъявитель* входит признак одушевленности, а слова *проявитель* — неодушевленности (при этом, скажем, слова *держатель*, *истребитель* расщепляются на два омонима каждый — со значением одушевленности и неодушевленности). Но такой ответ фактически и является утверждением о том, что в соответствующую систему — словарь — интересующие нас слова входят по-разному, попадая в подсистему либо одушевленных имен, либо неодушевленных. Иначе говоря, вырисовывается именно та картина, о которой говорилось выше: свойства элемента частично определяются типом компонентов, здесь основы и суффикса, частично — типом связи между ними, здесь характером словообразовательной модели, частично — типом вхождения элемента в систему, в данном случае слова в словарь. Структурные связи, как внешние, так и внутренние, активно участвуют в формировании свойств элемента как целостной единицы на базе тех потенций, которые заключены в свойствах их компонентов.

Когда перед нами целостный элемент, то те факторы, которые внесли свой вклад в его становление как данное целое с данными свойствами, присутствуют в нем как бы в снятом виде, т. е. не как самостоятельные сущности, даже, вообще говоря, не как компоненты, а как свойства, признаки элемента. «Если этот объект (объект-связь. — В. К.) рассматривается не /31//32/ как внешний по отношению к совокупности, а как внутренне связывающий совокупность, как связь внутри целого, если совокупность свойств рассматривается не как частичная, то образование целого сводится к такой процедуре сопряжения элементов связи и отдельных объектов, при которой отдельные объекты становятся свойствами элементов связи. [...] Отдельные объекты, сопрягаясь друг с другом, становятся свойствами, тем, что характеризует полученный объект» [Смирнов Г. А. 1977: 74–75].

8.2. Переходя к обсуждению проблемы целостности языковых единиц, элементов в перцептивном плане, естественно вспомнить прежде всего положения гештальт-психологии (которые создавались не на материале языка и не для объяснения языковых фактов, но безусловно претендуют на универсальность). Гештальтисты поставили проблему целостности, пожалуй, наиболее остро, причем выдвинутые ими положения относились, главным образом, именно к гносеологическому и

перцептивному аспектам. По словам одного из виднейших представителей гештальтизма К. Коффки, «анализ, если он стремится раскрыть мир в его полноте, не должен идти дальше целого, каким бы ни был его размер, если это целое обладает функциональной реальностью... Вместо того чтобы начинать с элементов и выводить из них свойства целого, необходим обратный процесс: попытаться понять свойства частей из свойств целого» [Koffka 1931: 645].

Специально и подробно процессы восприятия речи будут рассматриваться в главе V. Здесь мы отметим лишь, что гештальт-психология не обнаруживает источника целостности (ср. [Ярошевский 1976: 357]). Как нам представляется, ключ к пониманию природы целостности языковых единиц в перцептивном плане дают сформулированные выше положения, согласно которым компоненты в составе целостной единицы функционируют как ее свойства, признаки. Действительно, если в процессе восприятия компоненты выступают уже не в своем собственном качестве, а в числе признаков единицы, наряду с некоторыми другими признаками, то это как раз и означает, что единица распознается не поэлементно, а в своей целостности.

Неоднократно высказывались мысли о том, что, коль скоро в составе целого части взаимосвязаны, взаимообусловлены (и другими по существу своему быть не могут), то опознавание целого и его компонентов должно происходить одновременно⁸. Это тоже хорошо согласуется с положениями о компонентах как признаках: ясно, что опознание объекта по его признакам и есть одновременное фиксирование целого и его частей, если последние функционируют как признаки.

Хотелось бы упомянуть и разработанный Ш. А. Губерманом и др. так называемый алгоритм КЧП (= «к черту подробности»). Этот алгоритм, успешно опробованный на распознавании изображений, включая буквы рукописного текста [Губерман, Розенцвейг 1976], отличается именно тем, что «выделение объекта и его интерпретация /32//33/ должны происходить одновременно и для всего изображения» [Губерман 1984: 67]. Используя некоторые положения гештальт-психологии и приспособивая их в модифицированном виде к потребностям теории систем и распознавания образов, автор утверждает, что «выделение фрагмента как части определяется целым. Более того, выделение фрагмента как части должно

⁸ В общей теории систем говорят о парадоксах целостности и иерархичности, понимая, в частности, под последним «утверждение взаимной обусловленности решения двух задач — описание системы как таковой и описание этой /278//279/ системы как элемента более широкой системы. Логический круг в этой взаимообусловленности и составляет основу этого парадокса» [Садовский 1974: 235]. Аналогично Г. А. Смирнов пишет: «...В современной математике нет концептуальных средств, позволяющих задать процедуру взаимоопределения; поэтому определение цельного единого объекта неосуществимо в рамках наличных математических теорий» [Смирнов Г. А. 1977: 65].

быть согласовано со всеми другими выделенными частями так, чтобы вместе они составляли нечто разумное» [Губерман 1984: 73].

Последняя часть формулировки, нестрогость которой автор признает, но не считает (правомерно, с нашей точки зрения) недостатком, носит принципиальный характер: восприятие всегда осуществляется субъектом в свете его потребностей, установок, «стратегических» и «тактических», а также в свете действительной для него системы фреймов. Поэтому-то восприятие и есть процесс упорядочения, отыскание «разумного» (причем не «вообще», а для данного субъекта в данных обстоятельствах), подыскание подходящего фрейма. При этом производится перебор возможных вариантов структуры воспринимаемого объекта, а роль скоро структура — важнейший признак, свойство последнего, то, естественно, фиксирование объекта и установление его компонентного состава во всех смыслах одномоментны.

Мы еще вернемся к этой проблематике в главе V. В данном же разделе, посвященном наиболее общим вопросам, нужно отметить, что для изучения восприятия языковых единиц с точки зрения проблемы их целостности также плодотворным оказывается понятие фрейма.

В этом контексте нельзя не упомянуть, что понятие фрейма, если брать его в плане гносеологическом и перцептивном, — на который оно, собственно, и рассчитано, — весьма близко к понятию трансцендентальной схемы Канта. Как пишет Г. А. Смирнов, «по сути дела, Кант утверждает, что для всякого познания необходимо иметь идеальный объект, полагаемый субъектом; познание состоит в том, что идеальная, априорная конструкция накладывается на ощущения, возникающие в результате воздействия „вещи в себе“ на субъект» [Смирнов Г. А. 1977: 81]. Если мы априорную конструкцию Канта переведем в разряд апостериорных — вырабатываемых прижизненно в процессе обучения (в широком смысле), как о том неоднократно упоминает автор теории фреймов Минский⁹ и снимем агностический тезис о «вещи в себе», то близость двух концепций окажется очень существенной. Даже если это имеет значение только для истории науки, аналогию не следует недооценивать. Но не исключено также, что дальнейшая разработка предполагаемой концептуальной аналогии сможет обогатить и современные представления.

9. Резюмируя изложенное, можно сформулировать следующие положения. Языковая система как таковая и любая подсистема в ее составе представляет собой целостное образование. Это обеспечивается прежде

⁹ Указанная апостериорность фрейма, кстати, не отрицает того, что в каждом конкретном познавательном акте конструкция действительно является в известном смысле априорной: сформировавшись до данного опыта, т. е. до данного акта восприятия, этому опыту она действительно предшествует.

всего функциональным факто-ром: лишь языковая система, взятая как «глобальное» образование, может выполнить свою функцию — сделать реальным порождение и передачу информации; точно так же и любая, подсистема способна выполнять свои частные задачи в рамках системы только как целостная организация. Внешним фактором целостности системы, как и ее подсистем, выступает известное противостояние среде, внутренним — наличие многообразных связей, вертикальных и горизонтальных, пронизывающих любую систему.

Равным образом каждая обладающая качественным своеобразием единица языковой системы также характеризуется целостностью. Качественное своеобразие единицы, — в чем и отражается прежде всего ее целостность, неаддитивная природа, — имеет три источника: свойства входящих в единицу компонентов, тип структуры (внутренние связи) и тип вхождения в систему (внешние связи). Сами компоненты-интегранты при рассмотрении единицы как целого выступают в качестве ее признаков, свойств.

Все эти свойства языковой единицы, будучи организованы в достаточно сложную иерархическую систему, используются в роли полезных признаков в процессах речевосприятия. Свообразно при этом функционирование третьего фактора (тип вхождения единицы в соответствующую систему). Связи, отношения данного типа (внешние) не даны в восприятии, как и любые элементы парадигматики. Однако знание этих связей принадлежит к информации, которой безусловно владеет носитель языка. Соответственно, эту информацию он может использовать для верификации гипотез, выдвигаемых в ходе речевосприятия (см. гл. V).

Целостность единиц языковой системы целесообразно интерпретировать как наличие в системе особых фреймов, отвечающих за внутрисистемные представления и перцептивную обработку соответствующих единиц.

Как упоминалось выше, фрейм представляет собой сеть отношений. Целостностью обладает как весь фрейм, так и узлы в сети отношений, которые в типичном случае являются субфреймами. Компоненты, которые входят в состав языковых единиц, тоже можно представить в качестве субфреймов.

ПОРОЖДЕНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ РЕЧИ, ИХ СООТНОШЕНИЕ

10. В предыдущих разделах не раз упоминались понятия речепроизводства (речепорождения) и речевосприятия и говорилось о том, что это две стороны речевой деятельности. В настоящем разделе будут

рассмотрены вопросы соотношения этих сторон друг с другом и некоторыми другими аспектами языка и речевой деятельности.

В речевой деятельности осуществляется передача и прием /34//35/ информации. Передача информации средствами естественного языка имеет целый ряд особенностей. По-видимому, отправитель несущего информацию сообщения в общем случае всегда способен не только посылать, но и получать (воспринимать) сообщение: иначе возникла бы ситуация, когда отправитель не в состоянии декодировать собственное сообщение¹⁰; такое умение необходимо отправителю и для обеспечения обратной связи, без чего сильно затруднен (если вообще реален) сам процесс кодирования. Но вполне возможно положение, когда отношения между участниками акта передачи информации асимметричны: отправитель, как мы видели, всегда, по крайней мере потенциально, является и получателем, функции же получателя в принципе могут быть ограничены приемом (ср. человека, у которого есть радиоприемник, но нет радиопередатчика). В естественной ситуации использования языка всякий участник акта коммуникации (передачи информации) является попеременно и источником (отправителем) и получателем информации.

Следует ли из этого, что у носителей языка одно и то же «устройство» используется в обеих функциях — кодирующего и декодирующего? В широком смысле это несомненно так: и кодирование, и декодирование человек осуществляет посредством языка. Но язык — исключительно сложная система, и вопрос заключается в том, есть ли в ней подсистемы, специально предназначенные для кодирования и декодирования сообщений (речепорождения и речевосприятия).

Данный вопрос примет несколько более ясные очертания, если мы обратимся к тому, что же собой представляют эти операции — кодирования и декодирования — при использовании естественного языка. Предварительно примем, что информация эквивалентна смыслу сообщения и что кодирование есть переход от смысла к тексту (сообщению), а декодирование — от текста к смыслу¹¹. Тогда поставленный выше вопрос будет переформулирован так: сводимы ли

¹⁰ Такая ситуация, вообще говоря, не исключена, если отправителю неизвестен принцип работы кодирующего устройства и/или результат кодирования недоступен восприятию органами чувств; например, данные для ввода в ЭВМ кодируются посредством их переноса на магнитную ленту с помощью специального устройства, и оператор не в состоянии непосредственно считать с ленты так закодированные данные, это может сделать только машина.

¹¹ Как будет ясно из дальнейшего, переход от смысла к тексту мы не понимаем как замену одного объекта другим: смысл присутствует в тексте, воплощается в нем, так что переход «смысл → текст» есть, по существу, не кодирование, а перекодирование, равным образом и обратный по направлению переход не эквивалентен декодированию как таковому.

операции перехода «смысл → текст» к операциям перехода «текст → смысл» (или наоборот)?

11. Как хорошо известно, на этот вопрос дает положительный ответ применительно к восприятию речи так называемая теория анализа через синтез. Согласно этой теории, восприятие речи, т. е., примерно, декодирование, сводимо в целом к порождению речи (кодированию) [Halle, Stevens 1959]. Не занимаясь специально анализом данной концепции, отметим лишь, что и в ней самой, в том, как она представлена в литературе, и в ее критике, предпринятой разными авторами, довольно часто обращают на себя внимание нечетко и просто неверно расставленные акценты. Если считать, что восприятие речи есть переход «текст → смысл» и оно сводимо к порождению, которое представлено схемой «смысл → текст», то вывод получится близкий к абсурдному: чтобы осуществить переход «текст → смысл», где /35//36/ смысл — искомое, человек прибегает к переходу «смысл → текст», где смысл должен быть данным. Если же все-таки — каким-то образом — смысл получен, то зачем от него «опять» двигаться к тексту, который дан исходно?

11.1. Много путаницы в эти проблемы внесло словоупотребление, введенное Н. Хомским. Назвав свою теорию «теорией порождающих грамматик», Хомский спровоцировал ее трактовку как модели речепроизводства. Поскольку одновременно подчеркивалось, что порождающая грамматика описывает «компетенцию», а не «употребление», интуитивное владение языком, а не использование языка в процессах коммуникации, то получалось, что «порождение», по Хомскому, «отвечает за все» — и за продукцию и за перцепцию речи.

«Гипноз термина» исключительно силен. Например, Хомский в предисловии к «Теории формальных грамматик» М. Гросса и А. Лантена [Гросс, Лантен 1971] пишет: «Порождающая грамматика того или иного естественного языка — это система правил, задающая потенциально бесконечное множество предложений данного языка и одновременно сопоставляющая каждому предложению описание его структуры, отражающее его существенные фонетические, синтаксические и семантические свойства» [Гросс, Лантен 1971: 11]. Это вызывает примечание редактора перевода книги на русский язык (А. Гладкого): «Строго говоря, здесь должна была бы идти речь не о *порождающих* грамматиках, а о *формальных* грамматиках, представляющих собой более широкий класс объектов: порождающие грамматики — это частный случай формальных грамматик (хотя и наиболее важный); существуют формальные грамматики иных типов — например, распознающие. Определение порождающей грамматики, которое дает здесь Н. Хомский, приложимо в действительности к любой формальной грамматике» [Гросс, Лантен 1971: 11].

Но дело именно в том, что Хомский называет порождающей грамматикой, так сказать, программу кодирующего/декодирующего устройства, считая, что оно едино и нет двух устройств, которым бы отвечали две грамматики. Владение языком, вне зависимости от типа процесса, предполагает знание системы правил, соответствующих структурным характеристикам предложений.

В «Словаре по кибернетике», изданном в Киеве под редакцией акад. В. М. Глушкова [Словарь по кибернетике 1979], есть отдельные статьи «Грамматика порождающая» и «Грамматика распознающая». В первой из них грамматика определяется как «система правил, позволяющая строить конечные последовательности символов (предложений) и приписывать каждому из них некоторую структурную характеристику», а во второй — как «система правил, позволяющая определить, является ли данная цепочка (последовательность символов) предложением определенного языка (фиксированного множества цепочек)» [Словарь по кибернетике 1979: 127]. Здесь, как видим, в отличие от Хомского и близко к приводив-¹²шемуся примечанию А. Гладкого, различаются две грамматики. Но порождающая толкуется очень близко к пониманию Хомского и не случайно в статье есть знаменательная оговорка о том, что эта грамматика «является по существу частным случаем понятия исчисления»¹². Из этого видно, что к процессам порождения речи так понимаемая порождающая грамматика прямого отношения не имеет. Что же касается распознающей грамматики в изложенном понимании, то она еще менее подходит для описания восприятия речи, являясь вариантом разрешающего алгоритма.

Сам Хомский тоже не вполне последователен в интерпретации собственной теории. С одной стороны, он неоднократно решительно высказывался о том, что правила порождающей грамматики вовсе не отражают реальные операции, которые производит говорящий или воспринимающий речь носитель языка [Хомский 1965: 13–14]. С другой стороны, в некоторых его работах наряду с аналогичными высказываниями находим и другие, например: «Создается впечатление, что человек перекодирует услышанное предложение в нечто, напоминающее ядерную цепочку плюс некоторые указатели (correction terms) на трансформации, которые [указатели] определяют, как правильно воссоздать исходное предложение, если его нужно повторить. Повторяя, человек может вспомнить ядро, но перепутать, какие трансформации следует применить» [Miller, Chomsky 1963: 483]. Здесь наблюдается явная попытка прямого переноса правил порождающей грамматики на процессы восприятия (и, частично, порождения) речи, против чего сам Хомский, как отмечалось, не раз протестовал.

¹² Именно об этом мы писали ранее [Касевич 1977: 178].

Итак, сведение восприятия речи к порождению в рамках теории порождающих грамматик во многом объясняется недоразумением: эта теория, при ее последовательном проведении, принципиально отказывается от рассмотрения процессов порождения и восприятия речи, лишь постулируя, что в основе владения языком при любом его использовании лежат формулируемые ею правила¹³; эти правила называются «порождающей грамматикой», но они отнюдь не ориентированы на преимущественное описание речепроизводства при якобы существующей возможности одновременного их использования для отражения речевосприятия. Как реально порождающая грамматика обеспечивает речепроизводство и речевосприятие — ради чего она и должна существовать — на этот вопрос концепция не отвечает¹⁴. Можно, однако, отметить, что попытки строить действующие модели распознавания речи на основе правил порождающих грамматик большого успеха не имели. Так, Т. Виноград пишет: «...Пытались использовать трансформации, чтобы воспроизвести глубинную структуру предложения, которая затем была бы проанализирована бесконтекстным „базовым компонентом“. Вскоре, однако, стало ясно, что это очень трудная задача. Хотя трансформационная (= порождающая. — В. К.) /37/38/ грамматика теоретически является „нейтральным“ описанием языка, на самом деле она имеет отношение скорее к процессу порождения предложений, нежели к процессу их интерпретации. [...] Существующие трансформационные алгоритмы способны обрабатывать лишь небольшое подмножество английского языка, да и то неэффективным образом» [Виноград 1976: 74].

11.2. Между тем, в представлениях об анализе через синтез, освобожденных от постулатов генеративизма (к тому же часто неверно понятого), можно усмотреть рациональное зерно. Но оно, скорее всего, не будет носить специфически языкового и соответственно лингвистического характера. По существу, речь должна идти о механизмах антиципации, занимающих очень большое место в человеческой деятельности [Ломов, Сурков 1980]. В других терминах можно было бы говорить об опережающем отражении действительности, о вероятностном прогнозировании [Вероятностное прогнозирование... 1977]. Воспринимая

¹³ Иное дело, что некоторые исследователи пытались приспособить правила порождающей грамматики для собственных целей, ср.: «...Полное „порождающее“ описание языка может иметь форму программы его разбора. Мы можем рассматривать грамматику как набор инструкций для разбора предложений языка. Правило NP → DETERMINER NOUN может быть интерпретировано как инструкция: „Если вы хотите найти NP, ищите DETERMINER, за которым следует NOUN“» [Виноград 1976: 137].

¹⁴ О психологической неадекватности правил порождающей грамматики, т. е. о том, что они не могут рассматриваться как отражение реальных процедур порождения и восприятия речи, писали многие языковеды, см., например, [Dai Xuan Ninh 1978].

речь, человек — в типичных условиях дефицита времени — выдвигает гипотезу о некоторых конкретных характеристиках высказывания, принадлежащих высшим уровням: о его смысле, «грубой» синтаксической структуре и т. п. Чтобы верифицировать гипотезу, нужно сопоставить с признаками, предсказываемыми ею, те, что реально присущи высказыванию. А эти последние почти всегда принадлежат более низким уровням. Например, если выдвинутая на основании частичной информации гипотеза состоит в том, что высказывание — вопросительное (предварительное заключение о смысле), то в целях верификации можно обратиться к порядку слов и наличию/отсутствию некоторых специальных показателей (заключение о синтаксисе). Таким образом, направление процедур формально будет совпадать с движением от смысла к тексту, свойственным для порождения речи. Однако никакого реального синтеза (если не считать синтезом поэтапное формирование перцепта, имеющее место при восприятии любого типа) здесь не будет.

По-видимому, близко к этому понимают «анализ через синтез» те исследователи, которые пытаются использовать соответствующие стратегии в действующих моделях распознавания речи. Так, Д. Клатт, представляя свою модель, включает описание следующего фрагмента: «...Модель... содержит компонент анализа через синтез, в который поступают гипотезы о словах, полученные способами как „снизу вверх“, так и „сверху вниз“, после чего этот компонент возвращает [систему к анализу] акустических и фонетических данных, чтобы проверить наличие деталей, которые следует ожидать для данного слова» [Klatt 1980: 278].

На основании изложенного выше можно предварительно заключить, что анализ и синтез (декодирование и кодирование, восприятие и порождение, перцепция и продукция) — разные процедуры, не сводимые друг к другу. Хотя даже априори можно предположить весьма значительный элемент сходства [/38//39/](#) между ними (в частности, использование принципа продвижения «сверху вниз», см. об этом [Касевич 1983: 259–260], а также гл. V настоящей книги), их полезно разграничивать. Сходство определяется тем, что в любом случае используемый «код» принадлежит одной и той же системе — языку, а механизмы функционирования «кода» — человеческой психике. Различия же коренятся в соотношении «дано» и «требуется»: при анализе дан текст (вернее — его форма, внешняя оболочка, экспонент), а требуется установить смысл, при синтезе соотношение обратное — требуется выразить заданный смысл средствами некоторого текста. Коль скоро язык, как сказано, предназначен именно для передачи информации, смысла, место смысла в соответствующих процедурах не может быть безразличным для их типа и структуры.

11.3. Пока мы не будем конкретизировать далее тезис о различии анализа и синтеза, эти процедуры будут специально описываться в

главе V. Подчеркнем лишь, что, как нам уже приходилось писать [Касевич 1977: 30], игнорирование этих различий нередко приводит к недоразумениям в решении важных теоретических вопросов. Впрочем, вернее было бы говорить даже не об игнорировании, а о том, что лингвисты чаще всего, скорее, просто не отдают себе отчета в существовании такого рода реальности. Традиционно считается, что лингвист «описывает язык», и молчаливо предполагается, что в идеальном случае описание языка исчерпывающим образом включает всю необходимую информацию. Даже отвлекаясь от того, что реально существующие описания языков чаще всего статичны и вообще лишь минимально оперируют понятием языкового правила, из них трудно или невозможно вывести «инструкции для пользователя»: каким образом от описания языка перейти к его использованию в коммуникации? И дело вовсе не в том, что теоретическая лингвистика — область фундаментальных наук, а реальным использованием модели, разработанной теоретиком-лингвистом (при обучении языку, в технических устройствах), должна заниматься прикладная лингвистика. Дело в том, что до недавнего времени исследования лингвистов вообще игнорировали тот факт, что описываемый объект — язык — существует не «в себе и для себя», а лишь в действии, в функционировании. Соответственно традиционная — в широком смысле — лингвистика сплошь и рядом просто не ориентирует на описание языка как действующей системы; отсюда и невозможность вывести из такого описания принципов передачи информации в реальных коммуникативных актах¹⁵. Двумя же необходимыми сторонами, типами «работы» системы языка в процессах передачи информации и являются речепроизводство и речевосприятие — относительно независимые, автономные процедуры.

Приведем некоторые примеры, иллюстрирующие необходимость учета различий между аспектами, связанными с анализом и синтезом. В фонологии всегда считалось, причем практически всеми направлениями и школами, что цель исследования достигнута, когда мы выделили именно те характеристики, признаки фонем, которые необходимы и достаточны для их различения (или отождествления и различения). Все другие признаки объявлялись нефонологическими. Такой подход абсолютно закономерен, если фонологичность мы приурочим к аналитическому аспекту, приравняем понятия «быть фонологичным» и «быть фонологичным с точки зрения восприятия речи». Тогда действительно окажется, что, скажем, переднеязычность русского *n*

¹⁵ Как иногда говорят, лингвистика, ограничиваясь описанием языка как статической системы единиц, может выявить его «анатомию», но не «физиологию»: знание строения организма далеко не дает всей информации о его функционировании.

фонологически несущественна, поскольку нет в системе его заднеязычного аналога, и достаточно учитывать, что перед нами — негубной носовой сонант: другого негубного носового сонанта в системе не существует. Правда, даже и с точки зрения восприятия речи это заключение можно оспорить: во-первых, реализация *н* в качестве заднеязычного может привести к разрушению соответствующей языковой единицы (слова), выведению ее за пределы допустимого в русском языке и, отсюда, невосприимчивости; во-вторых, интегральные признаки могут выдвигаться на первый план, фактически подменяя дифференциальные, при неполном типе произнесения [Бондарко Л. В. и др. 1974], в затрудненных условиях восприятия и т. п. Тем не менее, общая логика фонологического анализа сохраняет силу. Ее фактическая монопольность вполне объяснима: фонолог, как и лингвист вообще, всегда имеет дело с текстом, т. е. с тем же объектом, что и слушающий, поэтому он «автоматически» принимает точку зрения именно последнего, становится на его позиции. В результате существующие фонетики и грамматики в большинстве своем — «грамматики для слушающего» [Хоккетт 1965].

Если же принять позицию говорящего, т. е. рассматривать тот же вопрос с точки зрения речепроизводства, то ситуация существенно изменится. По-прежнему ограничивая область рассмотрения вопросом о необходимых и достаточных признаках, мы придем к радикально иным выводам. Само собой разумеется, что в том же примере с русским *н* мы обязаны будем оговорить его переднеязычность. Более того: мы должны будем указать допустимую область варьирования всех его признаков во всех условиях. Точно так же, разумеется, обстоит дело и с любыми другими характеристиками; например, существенна «норма придыхания» китайских, английских, немецких, хинди согласных, которая обнаруживает отличия наряду с тем, что в китайском и хинди придыхательность — фонологический признак, а в английском и (литературном) немецком — нет (ср. [Румянцев 1978]).

Нетрудно заметить, что сказанное выше имеет прямое отношение к понятию нормы. Принято различать применительно к звуковой стороне языка два аспекта нормы — орфоэпию и орфофонию. Первая обеспечивает «правильный» (нормативный) фонологический состав языковых единиц, орфоэпическая ошибка — это замена фонемы, перемещение ударения с его «закон- /40/ /41/ ного» места, использование неуместной, «не той» интонации и т. п.; вторая связана с нормативной реализацией фонологических единиц, орфофоническая ошибка — это, например, слишком закрытые гласные, аффрицированность (или, наоборот, неаффрицированность — в зависимости от нормы) мягких согласных и т. д. и т. п.

Однако с точки зрения порождения речи важно обеспечить и те, что требуются, фонемы (ударения, интонации и т. д.), и их верную, нормативную реализацию — иначе сообщение не будет принято адекватно

(или, возможно, вообще не будет принято). Итак, с точки зрения восприятия передача информации не состоится уже тогда, когда в сообщении нарушены признаки, сохраняющие тождественность каждой единицы и ее отличимость от любой другой; с точки зрения порождения речи требуется также соблюдение при кодировании всех требований нормы. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что (для звуковой стороны языка) норма — это фонология речепроизводства.

Д. Диннсен и Дж. Чарльз-Льюс ставят вопрос о том, должны ли фонологические модели основываться на данных речепроизводства или речевосприятия [Dinnsen, Charles-Luce 1984]. Вопрос поставлен некорректно. Должны учитываться и те и другие данные. Просто для описания перцепции и продукции требуются разные фонологии, что не исключает существования одной системы фонем (тонов и т. п.), различные признаки которых по-разному функционируют в речевосприятии и речепорождении.

Рассмотренные фонологические проблемы призваны были проиллюстрировать необходимость допущения речевосприятия и речепроизводства в качестве относительно самостоятельных, автономных сфер, подлежащих раздельному изучению и описанию (при полном признании их взаимосвязи и взаимозависимости). По существу, необходимость такого сравнительно подробного рассмотрения проблемы объясняется преимущественно недоразумениями, которыми она «обросла» в литературе. Сама по себе естественность положения, когда имеются самостоятельные программы кодирования и декодирования, вряд ли вызывает серьезные сомнения.

12. После обсуждения вопроса о соотношении кодирования и декодирования применительно к естественному языку остается сказать несколько слов о понятиях хранения, порождения информации и, наконец, самой информации, — коль скоро язык есть средство передачи, хранения и порождения информации.

Выделение хранения информации в качестве особого аспекта, наряду с передачей информации, преследует единственную цель: учесть также и те ситуации (исключительно важные для существования любой развитой цивилизации), когда передача информации отсрочена. Действительно, любая информация рассчитана на прием, на использование, и к хранению информации прибегают тогда, когда информация потребляется не /41//42/ одновременно с передачей, когда акты кодирования и декодирования разделены во времени. Ясно, что хранение информации обеспечивается письмом и другими способами ее фиксации.

О функции языка как средстве порождения информации выше (см. пп. 3, 7.6.1) уже говорилось. Здесь добавим лишь, что тезис об участии языка в формировании смысла высказывания хорошо согласуется с известным философским положением о «существенности формы»:

языковая оболочка (даже если бы это действительно была «всего лишь» оболочка) есть своего рода форма для мысли, а любая форма небезразлична для передаваемого ею содержания.

Что касается самого понятия информации, то в «нематематизированных» лингвистических работах, — и эта не исключение, — понятие информации употребляется, вообще говоря, не строго. В классической (статистической) теории информации изучаются, как известно, количественные аспекты информации в полном отвлечении от ее содержания, ценности для пользователя и отношения к реальной действительности. Правда, существуют и понятия взаимной информации и условной взаимной информации. Взаимная информация $I(x, y)$ — оценка количества информации в сообщении x относительно события y , условная взаимная информация $I(x, y|z)$ — количественная оценка информации в сообщении x относительно события y при условии доступности информации в z [Финк 1978: 246–247]. Данные понятия в какой-то степени ближе к трактовке информации как смысла. Имеются и специальные семантические трактовки информации [Шрейдер 1967], еще более приближающиеся к реалиям естественного языка и потребностям языкознания. Однако, видимо, «смычка» лингвистики с теорией информации — дело будущего. /42//43/

Глава I

СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЯЗЫКА

О МЕСТЕ СЕМАНТИКИ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА

1. Попытаемся очертить, пусть условно и приблизительно, границы того фрагмента общей системы, который целесообразно считать особым семантическим компонентом языка, — а отсюда и границы семантики как специальной лингвистической дисциплины.

Углубление наших познаний в области семантики во многом связано с развитием представлений о релятивизации значения. Довольно давно известно, что значение слова реализуется в контексте высказывания, т. е. что оно релятивно по отношению к высказыванию; позднее стало ясным, что и значение высказывания точно так же реализуется в тексте, а значение текста — в ситуации общения. Следовательно, семантика как лингвистическая дисциплина соприкасается, как минимум, с лингвистикой текста, с одной стороны, и прагматикой — с другой. К этому надо добавить возможное различие между собственно лингвистическим, психолингвистическим и социолингвистическим аспектами рассмотрения, и необходимость проведения соответствующих «разграничительных линий» станет еще более очевидной.

Сначала нужно ввести важную оговорку, которая заключается в следующем. Семантика присутствует всюду, где мы имеем дело со знаками: знак — двусторонняя сущность, и одна из его сторон представлена именно значением. Поэтому значение, семантика пронизывают всю систему языка, коль скоро язык предназначен именно для коммуникации смыслов (значений), и все его единицы либо наделены значением, либо обслуживают значимые элементы. Соответственно можно говорить о семантике морфемы, слова, предложения (высказывания). Если ограничиться сделанными утверждениями, то семантика как особая дисциплина, изучающая особую сферу языка, вероятно, исчезнет, растворится в морфологии, лексикологии и синтаксисе, поскольку каждый из компонентов в пределах этих последних будет обладать собственными закономерностями формы и содержания — семантики. И никакой другой семантики, помимо семантики лексем, словоформ и предложений, возможно с дальнейшими внутренними подразделениями, просто не будет.

/43//44/

Первая часть нашей оговорки заключается в том, что мы, говоря о семантике как о самостоятельном компоненте языка, отвлекаемся от

семантики морфемы, слова и говорим лишь о содержательных характеристиках высказывания, предложения. Вторая часть оговорки — это признание условности (во всяком случае, на сегодняшнем уровне наших знаний) выделения семантики высказывания в качестве особой сферы, уровня (уровней), а не плана содержания сложного (составного) знака, каковым является высказывание.

2. Остановимся на данном пункте несколько подробнее. Когда речь идет, скажем, о морфеме, то эту единицу «в целом» относят к соответствующему уровню; она не подвергается расщеплению, когда ее план содержания признавался бы достоянием одного уровня, а план выражения — другого. Между тем, когда мы трактуем семантику как особый уровень, имея при этом в виду содержательную сторону высказывания, предложения, то происходит именно такого рода операция: план выражения высказывания мы относим к синтаксису, а план содержания — к семантике, распределяя две стороны сложного знака между двумя самостоятельными уровнями (и компонентами).

Нетрудно заметить, что синтаксис в результате оказывается полностью асемантическим, единицы же его, какими бы они ни были, — фигурами, по терминологии Ельмслева, а не знаками.

Столь резкого расхождения с традицией, согласно которой лишь фонологические единицы служат фигурами выражения, чисто семантические — фигурами содержания, все же остальные являются знаками, не возникает при обращении к другим подходам, альтернативным обрисованному выше.

2.1. В качестве отправной точки можно признать словарь и его основные единицы, каковыми в языках типа, скажем, русского, являются слова (лексемы). Тогда будем говорить, что слова обладают формальными валентностями; когда эти валентности реализуются, то перед нами — синтаксические конструкции как таковые. Их элементы — знаки, поэтому и сами конструкции тоже являются сложными знаками, но закономерности их формирования и функционирования при данном аспекте рассмотрения определяются формальными свойствами слов и самих конструкций. Словам свойственны, наряду с формальными, и содержательные валентности — источник смысловых ограничений на способность слов входить в те или иные конструкции, а также опора для установления семантической интерпретации конструкций и построенных на их основе высказываний.

Подход «от лексем» (см., например, [Богуславский 1985]) снимает проблему знаковости/незнаковости синтаксиса и его единиц; что же касается вопроса о семантике как особом уровне, то ответ на него менее ясен; по-видимому, семантика — при таком подходе — прежде всего, «встраивается» в словарь, а также определенным образом характеризует синтаксические конструкции. /44//45/

Такие представления имеют, наряду с плюсами, и минусы. Поскольку отправной точкой выступает лексема, как она представлена в словаре, то и семантическая интерпретация осуществима лишь «с точностью до словоформы», хотя самостоятельные семантические связи могут обнаруживать и отдельные элементы плана содержания лексемы и ее словоформы [Богуславский 1985: 21]. Этот недостаток не является сколько-нибудь значительным, если данный подход предназначен для описания анализа и фактически не претендует на отражение синтеза высказываний [Богуславский 1985: 10]. Но сама по себе ограниченная ориентация на анализ, при всей своей абсолютной законности, корректности (гораздо хуже — традиционное неразличение анализа и синтеза), конечно, не исключает необходимости особого подхода, отражающего синтез. К тому же, если такой — другой — подход будет одинаково успешно обслуживать и анализ и синтез, то он, естественно, окажется предпочтительным.

2.2. Можно эксплицитно принять, что синтаксис действительно асемантичен. При восхождении от морфемы к предложению растет мера формальной сложности языковых единиц. Лишь с достижением определенного уровня формальной организации, который как раз и соответствует предложению происходит «добавление» семантики к «готовому» формальному объекту — предложению (если учесть, что морфемы, слова все же не асемантичны, то можно говорить о «добавлении» не семантики вообще, а коммуницируемой семантики). Модель, основанная на такого рода посылках, окажется нейтральной по отношению к анализу и синтезу; семантика в ней будет самостоятельным уровнем.

Ближе всего эти представления к одному из вариантов ортодоксальной генеративной лингвистики [Хомский 1965] и ее продолжению — интерпретативной семантике [Jackendoff 1972]. Как нам уже приходилось писать [Касевич 1977: 178], мы здесь имеем дело с перенесением на лингвистическую почву теории логических исчислений. Согласно последней, имеется некоторый алфавит символов, формационные правила, позволяющие строить из символов цепочки, — правильно построенные формулы (аксиомы), а также трансформационные правила, указывающие возможные преобразования формул (теоремы). Вопрос о значении (семантике) формул как таковых не ставится, они выступают как объекты наделенные исключительно формальными свойствами. Однако символы и формулы могут получить семантическую интерпретацию, не обязательно единственную; тогда исчисление, в соответствии с принятым в логике словоупотреблением, превращается в (формальный) язык.

С точки зрения лингвистики, основной недостаток этой достаточно стройной (в немалой степени благодаря своему происхождению) теории заключается, возможно, в том, что в языке не столь просто провести

четкую демаркационную линию, которая указывала бы, где «кончаются» чисто формальные средства языка, включая таким образом понимаемый синтаксис, и «начинается» семантика. Хотя другой крайностью приходится считать теоретическую платформу порождающей семантики, принципиально отвергающей какую бы то ни было грань между семантикой и синтаксисом в процессе «порождения» предложений [Чейф 1975; Fodor J. D. 1980] (см. об этом также [Падучева 1974]), нельзя не учитывать, что в языке мы, если отвлечься от фонетики, никогда не имеем дело с незначимыми единицами. Именно значимая единица — исходный материал во всех языковых процессах. А коль скоро наделенность значением — собственный признак любой языковой единицы, то он не может не влиять на ее функционирование, в частности, в составе предложения и текста. Поэтому в языке просто нет таких «символов», которые образовывали бы последовательности, цепочки безотносительно к значению, чтобы лишь затем получившимся формальным объектам приписывалась та или иная семантическая интерпретация. Тем более в речевой деятельности нет процессов, при которых человек оперировал бы формальными символами без попытки придать им определенный смысл; напротив, семантизация — первое, что пытается осуществить носитель языка при речевосприятии, ибо всегда исходит из презумпции осмысленности воспринимаемого.

2.3. Наконец, можно вернуться к традиционной точке зрения, которая просто не выделяет семантику в качестве особого уровня. Современным вариантом традиционного подхода будет, по-видимому, такой, который последовательно разграничивает формальные и семантически нагруженные аспекты синтаксиса. Иначе говоря, синтаксис признается знаковым уровнем со своими соответственно планом выражения и планом содержания, которые обладают известной автономностью, однако же в рамках данных сложных знаков. Поскольку отношения сторон знака в естественных языках асимметричны, план выражения синтаксиса может обнаруживать собственные закономерности, не имеющие семантических импликаций, а в составе плана содержания, в свою очередь, отнюдь не каждому его фрагменту обязательно соответствует конкретный фрагмент плана выражения.

Очевидно, основной недостаток такой «неотрадиционной» точки зрения заключается в том, что она не позволяет достаточно естественно объяснить и отразить в описании столь важную для языка синонимию высказываний. Последнюю естественнее всего понимать как соответствие разных синтаксических структур одной семантической¹. Но уже само по

¹ Синонимия высказываний — одно из наиболее фундаментальных отношений в системе языка и речевой деятельности. Достаточно сказать, что, не будь синонимии высказываний и, шире, текстов, передача информации «по цепочке» коммуникантов

себе допущение понятия семантических структур, с которыми к тому же вступают в самостоятельные отношения структуры синтаксические, эквивалентно признанию отдельного семантического уровня, — и мы возвращаемся ко всем тем проблемам, о которых говорилось выше².

Как видим, ни один из представленных выше возможных /46//47/ подходов не кажется вполне удовлетворительным. И надо признать, что не совсем ясно, каким должен быть такой — вполне удовлетворительный — подход. Именно поэтому мы аттестовали выше те посылки, из которых мы будем исходить в настоящей работе и которые допускают существование относительно автономного семантического уровня, «расположенного над» синтаксическим, как «условные».

3. Существо этих посылок основывается на некотором компромиссе. Прежде всего, предполагается, что реален уровень семантики³, обладающий определенной самостоятельностью, т. е. располагающий собственными — чисто семантическими — единицами (семантическим словарем) и правилами их сочетания, функционирования (семантическим синтаксисом)⁴.

Допущение самостоятельного семантического уровня позволяет более или менее адекватно решить по крайней мере следующие вопросы. Находит объяснение факт синонимического перифразирования высказываний, о котором уже говорилось; сама синонимия высказываний оказывается достаточно простым соотношением, при котором одной семантической структуре соответствует более одной синтаксической⁵.

(ср. процессы обучения, поддержание преемственности в культуре) требовала бы буквального воспроизведения любого высказывания. Нормально этого не происходит (если не считать сакральные и функционально сходные с ними тексты), передается смысл, а не форма. Последнее и говорит, по-видимому, о реальности относительно автономных семантических структур. Еще один аспект проблемы — общий для любой синонимии. Синонимы практически всегда тождественны не абсолютно, а «с точностью до X», что же принять в качестве такого X, чаще всего неизвестно.

² Заметим, что и здесь есть общая проблема с обсуждением синонимии как таковой: говоря о том, что два слова — синонимы, мы тоже можем трактовать это таким образом, что существуют самостоятельные чисто-семантические единицы, к которым возводимы оба синонима. Есть, кстати, и некоторые психолингвистические свидетельства, которые могут быть использованы как подтверждение таких представлений [Norman 1980] (см. об этом также [Касевич 1977: 152]).

³ Точнее, реалны уровни семантики, об этом см. [Касевич 1977], а также гл. V, п. 2.

⁴ Говоря о семантическом синтаксисе, не всегда учитывают, что в дан-/279//280/ ном сочетании термин «синтаксис» не эквивалентен его традиционному употреблению: речь идет о правилах сочетания, парадигматического и синтагматического взаимодействия семантических единиц, категорий, а не о синтаксисе как особом уровне языка и речевой деятельности (аналогично можно было бы говорить о синтаксисе в фонологии, т. е. фонотактике, в морфологии, словообразовании).

⁵ О том, что само по себе толкование синонимии вызывает некоторые вопросы, см. выше, в прим. 1 к главе I.

Автономный семантический уровень с собственными единицами и правилами одинаково успешно обслуживает и речепроизводство (синтез) и речевосприятие (анализ): речепроизводство предстает как продвижение от смысла, где последний формируется именно средствами семантического уровня, к тексту, а речевосприятие — как обратный по направлению процесс. В первом случае семантические структуры являются исходным пунктом («областью отправления»), в последнем — конечным («областью прибытия»).

4. Признавая существование самостоятельного семантического уровня, мы не хотели бы отказывать в статусе знакового и традиционному синтаксическому уровню. Не развивая соответствующие положения (см. гл. II), мы ограничимся здесь следующим. Если считать, что основная единица синтаксиса — это синтаксическая конструкция как целостное образование, то можно говорить об ассоциированном с ней типе семантической предназначенности. Хотя синтаксическая конструкция не имеет одного-единственного значения, взятого в отвлечении от всех возможных лексических заполнений, она отнюдь не безразлична к семантике: далеко не любая ситуация может быть отражена при использовании данной синтаксической конструкции.

Это ставит синтаксические конструкции в один ряд с такими единицами, как слово или морфема. В последних случаях тоже не приходится говорить о каком-либо простом и однозначном соответствии элементов планов выражения и содержания: налицо ассоциированность элемента выражения с некоторой областью или даже областями плана содержания. Если для слов и морфем, которые всегда фигурируют в качестве «клас-^{/47/48/}сических» представителей языковых знаков, такое положение вполне нормально, то, очевидно, аналогичное положение в синтаксисе равным образом дает основания считать синтаксические единицы знаковыми несмотря на одновременное существование особого, семантического уровня.

СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА, ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА

5. Следующий вопрос — «выяснение отношений» между семантикой и лингвистикой текста, а также прагматикой. Как мы помним, сама эта проблема вызывается к жизни тем обстоятельством, что семантика высказывания реализуется в рамках текста, а текст как особая языковая данность подлежит ведению специальной дисциплины — лингвистики текста. Покажем эту зависимость на относительно простом примере. Высказыванию *Петров поедет в Москву* с просодически выделенным первым словом отвечает сочетание следующих семантических конструкций: ‘X поедет в Москву’ + ‘X есть Петров’ + ‘Y не поедет в Москву’ + ‘Обратное неверно’ [Касевич 1984b]. В этом примере часть

элементов семантических конструкций представлена переменными X, Y, причем одна из переменных — X — идентифицируется с опорой на то же самое высказывание, а другая — Y — лишь с выходом за пределы высказывания, т. е. при учете предшествующего текста (или же реальной ситуации) [Николаева 1982].

Другие примеры, когда в высказывании используются переменные, — это обычные местоимения, в особенности личные. Несмотря на то, что очевидное отличие от предыдущего случая заключается в употреблении особых линейных знаков, входящих в словарь языка, — личных местоимений, последние также являются переменными. Причем семантические элементы, обозначенные местоимениями 1-го и 2-го лица, нормально идентифицируются при обращении к реальной ситуации (только не описываемой высказыванием, а ситуации общения), а элементы, на которые указывают местоимения 3-го лица, — при обращении к тексту [Падучева 1985].

Таким образом, уже на данных простых примерах мы можем видеть, что выход за пределы высказывания для его семантической интерпретации требуется, в частности (хотя и далеко не единственно), в тех случаях, когда в его семантическое представление входят переменные. Мы видим также, что: (а) само по себе вхождение переменной еще не означает необходимости прибегать к «экстрасентенциальной» информации; (б) наличие переменной может требовать обращения к тексту, предшествующему или последующему; (в) присутствие переменной может предполагать знание реальной ситуации.

Нам кажется, что уже в приведенных пунктах вырисовываются основания для проведения искомым разграничивающих линий; одновременно видна и их относительность [Sgall 1984]. Если для семантической интерпретации высказывания, в силу наличия в его смысловой структуре переменных или иных причин, необходим анализ предшествующих и/или последующих высказываний, т. е. фактически текста, то имеем дело с семантикой текста — частью лингвистики текста; если для тех же целей требуется обращение к ситуации (описываемой высказыванием или выступающей в качестве коммуникативного акта), то мы имеем дело с прагматикой.

Ни лингвистика текста, ни прагматика не составляют предмета специального внимания в настоящей работе. Однако, по скольку данные — важнейшие — области языка и лингвистики приходится затрагивать, представляется необходимым сформулировать некоторые положения, которые бы по крайней мере показывали, что остается «за кадром» изложения.

6. Язык, согласно общепринятому определению, есть средство общения, а речевое общение представляет собой не что иное, как обмен текстами [Касевич 1977], причем каждый текст соотнесен с описываемой

им реальной (денотативной) ситуацией или набором таких ситуаций, с ситуацией общения, с говорящим и слушающим. Роль текста ясна из самого определения, а все только что упомянутые виды соотнесенности как раз и составляют основной предмет прагматики.

Что же касается высказывания, то это — минимальный текст, поэтому, изучая высказывание, мы фактически берем текст в его предельно упрощенном — с внешней стороны — варианте (либо самостоятельно существующем в таком виде, либо искусственно извлеченном нами из более протяженного текста). В то же время именно на материале семантики отдельного высказывания мы имеем дело с подлежащими идентификации переменными.

6.1. Требуется также внести некоторые уточнения в понятие текста. В традиции, идущей от ряда авторов и прежде всего от работ Л. В. Щербы, понятие текста приравнивается к понятию речи (см., например, [Щерба 1974: 26]). Когда мы говорим о лингвистике текста, то это соответственно может пониматься как синоним лингвистики речи, о необходимости которой говорил еще Соссюр. При такой трактовке лингвистика текста противопоставляется, очевидно, «лингвистике языка». В чем могло бы быть существо противопоставления?

По-видимому, многими авторами молчаливо принимается, что «лингвистика языка» — это изучение и описание системы, понимаемой как статический объект, как некая совокупность парадигм, плюс, естественно, словарь (или, возможно, словари). Тогда функционирование единиц системы окажется областью лингвистики речи.

С таким пониманием, эксплицитным или имплицитным, согласиться, однако, нельзя. Во-первых, функционирование языковых единиц осуществляется по правилам, принадлежащим системе языка: последняя представляет собой не только определенным образом организованный набор разноуровневых единиц, но также и аналогичный набор правил, «программ», по которым эти единицы функционируют. Во-вторых, функционирование языковых единиц осуществляется не в речи, а в речевой деятельности, речь же (текст) есть продукт речевой деятельности, точнее, продукт речепроизводства и объект речевосприятия⁶.

Таким образом, если лингвист изучает язык как динамическую, действующую систему, то уместно говорить о лингвистике речевой деятельности, а не речи или текста; понятно, что в идеале именно к разработке лингвистики речевой деятельности следует стремиться, поскольку она, включая и более традиционное описание системы, дает в итоге действующую модель языка.

⁶ Разумеется, приходится учитывать, что во многих традициях понятия речи и речевой деятельности фактически не разграничиваются.

6.2. Что же остается и остается ли что-либо на долю лингвистики текста? По-видимому, лингвистика текста все же имеет собственный объект изучения. В пользу этого можно указать на два обстоятельства. Во-первых, коль скоро текст объективно существует, то возможно описание и моделирование текста, возможна типология текстов по их структуре, по распределению в их рамках тех или иных единиц и т. п. Во-вторых, известны проблемы цельности и связности текста, которые решаются именно лингвистикой текста. Правда, и здесь можно сказать, что средства, обеспечивающие цельность и связность, принадлежат языковой системе, но с точки зрения последней они чаще всего не имеют какой-либо специфики, а приобретают ее в тексте (иногда — в тексте определенного жанра или авторства). С указанной точки зрения текст может приобретать и реально приобретает статус особой единицы. Разумеется, это единица не того вида, которая принадлежала бы системе языка — не инвентарная, а конструктивная [Касевич 1986b] (см. также гл. III, п. 12.1). По существу, статус единицы тексту придает то обстоятельство, что формально он имеет начало и конец и, возможно, еще какие-то признаки, указывающие на развертывание текста во времени (если это текст звучащий). Содержательно текст характеризуется единством темы (которая может быть вынесена в заголовок). И содержательно, и формально тексту присуща связность, которая обеспечивается самыми разными способами межфразового согласования, в том числе согласования тем и рем высказываний и абзацев в составе текста.

Таким образом, резюмируя, можно сказать, что существуют два понятия «текст»: широкое и узкое. Текст в широком смысле это то же самое, что речь, продукт речепроизводства, говорения (для звукового языка). Текст в узком смысле — это единица речи (т. е. текста в широком смысле), которая характеризуется цельностью и внутренней связностью и как таковая может быть вычленена, отграничена от предыдущего и последующего текстов (если текст не изолирован). Текст в узком смысле — максимальная конструктивная единица, хотя, как уже говорилось, в принципе текст может сводиться и к одному высказыванию, как, впрочем, и высказывание может реализоваться в виде единственного слова, а материально — и единственного слога.

7. Вернемся к прагматике. Выше было сказано, что к сфере прагматики принадлежат способы и типы соотнесения текста, порождаемого в рамках данного коммуникативного акта, с описываемой этим текстом денотативной ситуацией и ее участниками, с ситуацией общения, с говорящим и слушающим. Более общим образом так интерпретируемую прагматику можно определить как область референции [Падучева 1985].

7.1. Референциальное понимание прагматики, в свою очередь, истолковывается следующим образом. Язык предоставляет в

распоряжение говорящего систему абстрактных знаков, где, скажем, *дом* означает 'дом вообще', т. е. любой объект, удовлетворяющий тем признакам, которые идентифицируют любой дом и отличают его от всех других существующих и мыслимых объектов; кроме того, в языке есть система так называемых индексальных элементов, последние устанавливают отношение к своего рода точкам отсчета: это, например, местоимения, показатели времени глагола и т. п. Индексальные элементы лишь фиксируют место некоторого объекта или явления в определенной «сетке координат», например, *я* — это говорящий в данном коммуникативном акте, форма настоящего времени указывает на время коммуникативного акта. Иначе говоря, *я* столько, сколько говорящих в настоящих, бывших и могущих иметь место коммуникативных актах; «настоящих времен» тоже столько, сколько коммуникативных актов, и т. п.

В то же время участники коммуникативного акта в своих высказываниях должны прилагать абстрактные знаки и индексальные элементы общей системы языка к конкретным объектам и явлениям внешней действительности, каким-то образом указывать, к одному или разным объектам относится материально тождественное слово при его нескольких употреблениях, и т. п.

Все это в конечном счете связано с проблемой истинности высказываний. Участникам коммуникативного акта абсолютно необходимо знать, какие высказывания являются истинными, а какие — нет и, шире, как высказывания соотносятся с описываемой ими действительностью. О высказывании *Мальчик бежит* нельзя сказать, истинно оно или ложно, да и вообще понять его применительно к каким угодно практическим задачам, пока мы не будем знать, какой именно мальчик и в какой именно момент времени имеется в виду (плюс еще некоторая информация, которую мы сейчас оставляем в стороне). Но это как раз и значит, что мы должны «вписать» данное высказывание в контекст конкретного коммуникативного акта. Таким образом, хотя лингвистика, вообще говоря, не интересуется истинностью/ложностью высказываний, лингвист должен установить, какие языковые средства используются, чтобы вопрос об истинности/ложности вообще стал разумным.

Это — один из аспектов прагматики: прагматика в целом должна ответить на вопрос о том, как, применительно к своим установкам, целям, задачам, используют участники коммуникативного акта знаковую систему, находящуюся в их распоряжении, и как, с этой же точки зрения, они интерпретируют продукт функционирования знаковой системы — текст. Как уже, по существу, было сказано выше, говорящие и слушающие должны обладать языковыми средствами, которые служили бы

предпосылками для определения истинности/ложности высказываний, без чего коммуникация очевидным образом бессмысленна.

7.2. Истинность/ложность — свойство повествовательных предложений, точнее, суждений, лежащих в их основе (в традиционных учебниках логики суждение просто определяется как повествовательное предложение, которое может быть истинным или ложным). Давно известно, что повествовательное предложение — один из трех основных типов предложения по коммуникативной установке говорящего наряду с вопросительным и побудительным (повелительным). Поскольку деление предложений на повествовательные, вопросительные и побудительные связано с установками, целями говорящих, то оно в этом смысле также относится к прагматике, хотя и не связано с референцией и истинностью/ложностью: если высказывание типа *Мальчик бежит* может быть опровергнуто как ложное — *Неверно, что мальчик бежит*, то применительно к его вопросительному и повелительному аналогам это невозможно, ср. *Мальчик бежит?* — **Мальчик бежит?* — *неверно* или *Беги!* — **Неверно, что беги!*

Важное уточнение в это разграничение высказываний по их коммуникативной установке внесла теория речевых актов [Серль 1986а; 1986б]. Давно замечено, что в контексте, в соответствующей ситуации общения повествовательное или вопросительное предложение может функционировать как побудительное по своему характеру, по своей цели, например, *Завтра вы приходите сюда к 2-м часам! Вы не передадите мне хлеб?* Точно так же повествовательное может употребляться с реальной целью задать вопрос и т. п., например, *Хотелось бы знать, где ты вчера была так поздно.* В теории речевых актов разграничиваются: а) сам акт произнесения высказывания (локуция); б) пропозициональный акт, в котором, в свою очередь, различают референцию — приложение языковых знаков к объектам и явлениям действительности, на которые обращено внимание говорящего, и предикацию — приписывание данным объектам определенных свойств; в) иллокутивный акт, т. е. приписывание высказыва- /52/ /53/ нию — с помощью тех или иных языковых средств или просто «помещением» в соответствующий контекст, речевой и неречевой, — данной коммуникативной функции⁷.

Иллокутивный акт — более широкая категория по сравнению с традиционной схемой, выделяющей повествование, вопрос и побуждение: в качестве самостоятельных иллокутивных актов выступают такие коммуникативные намерения, как обещание, просьба, благодарность, угроза, клятва, совет и ряд других. В принципе о каждом высказывании

⁷ Говорят также о перлокутивной функции высказывания, при этом имеют в виду тот эффект, который, с точки зрения говорящего, должно произвести высказывание (убедить, запугать и т. п.).

можно сказать, какой иллокутивный акт его характеризует, или, иначе, с какой иллокутивной функцией оно употреблено (подробнее см., например, [Падучева 1985]).

7.3. Обычно в языке иллокутивному акту отвечает конкретный глагол: акту обещания глагол *обещать*, клятвы — глагол *клясться* и т. п. Употребление таких глаголов говорящим в 1-м л. ед. ч. в настоящем актуальном времени — источник еще одной области прагматики, лежащей на пересечении сфер референции и иллокутивных актов. С точки зрения референции высказывания с такими глаголами, которые называют перформативными [Остин 1986], иногда считают как бы нейтральными по отношению к вопросу об истинности/ложности, иногда — самоверифицирующимися, истинными в силу своего существования, т. е. фактически всегда истинными. Пожалуй, последняя трактовка лучше соответствует природе перформативов. В самом деле, нейтральны по отношению к истинности/ложности вопросительные и повелительные высказывания (см. выше), но высказывания типа *Обещаю, что завтра приду* просто всегда истинны: никто не может в ответ на *Обещаю, что завтра приду* сказать *Вы не обещаете* или *Неверно, что вы обещаете*, ибо обещание реализуется самим актом произнесения перформативного глагола; здесь как бы оказываются тождественными план выражения и план содержания. (Разумеется, можно усомниться в том, что обещание будет выполнено, но это уже существенно другой аспект.)

С точки зрения иллокутивных актов, употребление в высказывании перформативного глагола представляет собой использование специального языкового средства, эксплицитно определяющего иллокутивную функцию (иллокутивный тип) высказывания.

7.4. В прагматику часто включают и аспекты, связанные с пресуппозициями (или, иначе, презумпциями) высказываний. Не давая изложений разных точек зрения на природу пресуппозиций (см. [Кифер 1978; Падучева 1964]), приведем наиболее распространенное понимание этой категории: пресуппозиция — та часть семантического представления высказывания, истинностное значение которой не изменяется при отрицании; при этом истинностное значение всего высказывания зависит от истинностного значения пресуппозиции таким образом, что если последняя ложна или неверифицируема, то высказывание бес-/53//54/смысленно, неуместно, аномально. Классическим примером в литературе обычно фигурирует высказывание *Король Франции лыс* и подобные ему. Осмысленность, истинность или ложность высказывания зависит от того, существует ли в момент коммуникативного акта король Франции, поскольку упоминание объекта связано с презумпцией его существования. Если данная информация по каким-то причинам недоступна, то об истинности/ложности высказывания ничего сказать нельзя, оно тем самым не имеет «прагматического» смысла; если

же презумпция ложна, то высказывание в целом аномально, неуместно. В свою очередь, при отрицании *Неверно, что король Франции лыс* для пресуппозитивной части отрицания ничего не меняется.

Пресуппозитивные аспекты высказывания относятся к прагматике в той мере, в какой вообще всякая референция связана с прагматикой. Аналогично приведенному выше, даже простейшее высказывание наподобие *Петя разбил чашку* может оказаться неосмысленным, если имеются миры⁸, в которых возможность одновременного существования Пети и чашки неочевидна.

Иногда различают семантическую и прагматическую пресуппозиции (презумпции). Семантическая пресуппозиция — это та часть семантики высказывания, которая в принципе поддается отрицанию, но при употреблении высказывания принимается слушающим как истинная. Прагматическая пресуппозиция — часть семантики высказывания, которую говорящий полагает известной слушающему. «...Семантическая презумпция предложения S — это суждение, которое слушающий должен считать истинным, чтобы предложение S было для него осмысленным; а прагматическая — это суждение, которое слушающему должно быть известно, чтобы высказывание было [семантически] нормативным» [Падучева 1964: 58]. Например, высказывание *Я видел только Ивана* при ответе на вопрос *Кого ты там видел?* имеет семантическую пресуппозицию ‘Я видел Ивана’ (т. е. для слушающего — «бывшего» спрашивающего — очевидно, что если *видел только Ивана* истинно, то заведомо должно быть истинно *видел Ивана*). Для того же самого высказывания при ответе на вопрос *Кого еще ты видел?* действительна уже прагматическая пресуппозиция ‘видел Ивана’: говорящий-отвечающий исходит из того, что слушающему-спрашивающему, как и ему самому, известно, что он, говорящий, видел Ивана; это общее для них знание [Падучева 1964: 58–59].

Таким образом, в области пресуппозиций, или презумпций, есть и семантические, и прагматические аспекты, которые требуют различения. Мы не затрагиваем те языковые сферы, аспекты, которые имеют исключительно и только прагматический характер, т. е. такие, как коммуникативные постулаты, впервые сформулированные Грайсом [Грайс 1985], условия успешности речевого акта и ряд других (см. об этом в обобщающей работе /54//55/ Е. В. Падучевой [Падучева 1964]). Нас в данной работе будет интересовать семантика как таковая.

⁸ О понятии возможных миров см. [Хинтиikka 1980].

СИТУАЦИЯ, ПРОПОЗИЦИЯ, ПРЕДИКАТ

8. В последнее время семантические исследования языка выдвинулись в лингвистике на передний план. Довольно много проблем получили более или менее удовлетворительное решение, еще большее число их было поставлено и продолжает обсуждаться, о существовании других семантических вопросов, ответы на которые необходимы для адекватного описания языка, мы, возможно, еще даже не знаем.

Занимаясь семантикой, мы должны описать, с одной стороны, какими средствами и каким образом пользуется человек — носитель данного языка, чтобы выразить некоторые смыслы, а с другой — как истолковать текст, чтобы объяснить, какой смысл в нем заложен, почему одни высказывания являются синонимичными, а другие — нет.

Ясно, что первый из схематически описанных аспектов отражает речепроизводство, а второй — речевосприятие. Иначе говоря, в первом случае мы имеем дело с переходом «смысл → текст», а во втором — «текст → смысл». Упоминание синонимичности/несинонимичности высказываний выше не означает включения частной проблемы наряду с общими. Чтобы отпавляться от значения, смысла в переходе к тексту, нужно располагать «семантическим языком», на котором значение будет «записано». Точно так же, выяснение синонимичности/несинонимичности двух высказываний — это установление того факта, что они могут быть записаны одинаково/неодинаково средствами соответствующего семантического языка. Таким образом, основная задача всякой семантики — разработка семантического языка, а также способов перевода на него высказываний текста, равно как и перевода конструкций семантического языка в высказывания текста.

8.1. Любой язык представляет собой систему элементов и правил их употребления. Что же служит в качестве элементов семантического языка? Если мы скажем, что таковыми выступают значения (или смыслы), то ответ будет верным, но малоинформативным. Более того: полный ответ на этот вопрос, вообще говоря, выходит за рамки лингвистики (возможно, даже при широком ее понимании, т. е. с включением психо- и социолингвистики). Дело в том, что, аксиоматически, семантика — сфера означаемых языковых знаков, а означаемыми выступают некоторые данности, имеющие психическую природу: образы, представления, понятия. Едва ли лингвист может и должен заниматься исследованием такого рода образований. Лингвист имеет дело с формальными аналогами означаемых, такими, что они необходимы и достаточны для описания функционирования языковых единиц с точки зрения переходов /55/56/ «смысл ↔ текст». Поэтому элементами семантического языка для лингвиста могут служить символы и слова естественного языка как «заместители», т. е. формальные аналоги соответствующих значений. При

этом должны быть выработаны специальные соглашения, согласно которым такие слова и символы не имеют синонимов, омонимов, не обладают многозначностью, и всегда точно известно, какому именно формально представимому значению соответствует данное слово (или символ) [Апресян 1983: 316–317]. В качестве правил функционирования элементов семантического языка, т. е. его синтаксиса, могут использоваться операции конъюнкции, дизъюнкции, импликации, установления эквивалентности, материальной эквивалентности, а наравне с ними и интуитивно однозначно понимаемые простейшие актантные отношения в конструкциях, заполненных словами естественного языка (см. [Апресян 1983: 317]; см. также ниже).

В современной семантике сформулировано важное положение о том, что лексические и грамматические значения должны описываться одним и тем же семантическим языком [Апресян 1986]. Например, значение, которое передается глаголом *начинаться*, Ю. Д. Апресян передает так: Р *начался* = ‘в момент T_1 Р не существовал, в момент T_2 Р существовал, и момент T_1 непосредственно предшествует моменту T_2 ’ [Апресян 1983: 317]. Принципиально сходным образом предлагается толковать и, например, оппозицию совершенного и несовершенного вида для части глаголов: А *делал* В \cong ‘... T_ϕ предшествует T_p , и говорящий считает, что T_ϕ не входит в T_r ’, а А *сделал* В \cong ‘... T_ϕ предшествует T_p , и говорящий считает, что T_ϕ входит в T_r ’, где T_ϕ — фактическое время, т. е. отрезок времени, когда реально происходило описываемое событие, T_p — время (момент) речи, T_r — время говорящего, т. е. тот отрезок времени, в котором говорящий мыслит себя, которое для него является как бы «этим» временем в противоположность «тому» [Апресян 1983: 325–326].

Думается, однако, что это важное положение не следует абсолютизировать. Вряд ли та же формальная техника пригодна для представления семантики имен наподобие *стол, дом, человек, карандаш* и т. п. Здесь может быть использован либо более традиционный компонентный анализ, либо, вполне возможно, в значительном числе случаев имена естественнее всего трактовать как неанализируемые, семантически «примитивные». Эти вопросы, впрочем, относятся к семантике словаря и морфологии; они еще будут фигурировать в нашем изложении в главах III и IV. Сейчас же вернемся к семантике как автономному компоненту языковой системы.

8.2. По-видимому, основные понятия — они же единицы, — с которыми мы имеем дело в семантике, суть ситуации, функторы, термы и переменные.

8.2.1. Говоря сейчас «ситуации», мы имеем в виду одно из по крайней мере трех понятий, которые кроются за этим термином (и реально используются в языкознании). Дело в том, /56/ /57/ что, как отчасти уже упоминалось (см. выше, п. 6 и др.), реальны прежде всего

денотативные ситуации, т. е. участки, «куски» внешней действительности, описываемые, допустим, отдельным высказыванием. Денотативные ситуации лежат, естественно, вне языка (равно как и вне мышления). Не менее реальны и ситуации общения: это ситуации, которые заключаются в том, что А обращается к Б с высказыванием И. Наконец, то понятие ситуации, которое как раз и интересует нас в данном случае, — это сигнификативная ситуация, т. е. содержание высказывания, которое выделяет некоторый единичный «кадр» описываемой реальности, семантическое соответствие денотативной ситуации.

Сигнификативная ситуация — именно единица семантики, причем в известном смысле центральная. Каждый язык выражает определенный набор ситуаций, которые «закодированы» преимущественно — хотя и не единственно — глаголами. Тому, что в одном языке предстает как одна ситуация, в другом может отвечать сочетание из двух или более ситуаций. Например, по-русски мы говорим *Я нашел очки*, и, хотя значение ‘нашел’ поддается толкованию с использованием более простых смыслов, по-видимому, можно утверждать, что «с точки зрения» русского языка данное высказывание описывает одну ситуацию, в том числе и безотносительно к тому, искал ли я потерянные мною же очки или же нашел их случайно. Однако в таких языках, как кхмерский, тайский и ряд других, той же самой денотативной ситуации — обнаружению очков — будут соответствовать разные сигнификативные: если я искал очки, то язык это и представит как две ситуации — ‘искал — нашел’, а если же очки были найдены случайно — опять-таки как две, но уже другие — ‘шел — нашел’ [Еловков, Касевич 1979]. Таким образом, система ситуаций, представимых в языке, носит, по крайней мере частично, идио-этнический характер.

Ситуация — это «сцена, которую можно обозреть одновременно» [Глезер 1985: 226]. Язык, конечно, не представляет каждый кадр действительности, попадающий в поле внимания говорящего, как нечто глобальное и нечленимое. Однако вполне естественно и, более того, неизбежно, что без достаточно большой степени цельности в восприятии и представлении действительности обойтись невозможно. В сущности, представление того, что попадает, например, в поле зрения в качестве целостной сцены есть не что иное, как осмысление воспринятого. Осмысленное восприятие невозможно без «увязывания» разрозненных объектов в нечто целостное.

8.2.2. Для такого рода увязывания нужен какой-то оператор. Говоря о «системе, описывающей [в мышлении человека] отношения между предметами или понятиями», В. Д. Глезер упоминает операторы, которые «в случае конкретного мышления... превращают набор предметов в нечто целое — в сцену, которую можно обозреть одновременно. При абстрактном мыш- /57//58/ лении таким же образом происходит связывание

отдельных понятий в единую одновременно обозримую систему» [Глезер 1985: 226]. С точки зрения семантики таким оператором, скорее всего, выступает предикат, в свою очередь являющийся частным случаем функтора. Именно он связывает имена, давая в итоге целостную ситуацию, и в этом смысле сигнификативная ситуация эквивалентна пропозиции. Разница заключается в том, что ситуация — это целостное образование, для которого внутренняя структура существенна лишь в той мере, в какой она может отличать данную ситуацию от любой другой, пропозиция же — это ситуация, взятая в аспекте ее внутренней логической структуры. Именно таким образом это понятие будет употребляться в дальнейшем.

8.3. Эти понятия — функтор, предикат, пропозиция, имя — могут быть введены и иначе [Касевич, Храковский 1983; 1985]. Все семантические элементы поддаются классификации, в рамках которой выделяются два класса: элементы одного предполагают употребление с ними каких-то других элементов, требуют их, или, как еще говорят, открывают места для других элементов определенной природы; элементы другого класса не обладают такими обязательными семантическими валентностями. Первые можно проиллюстрировать такими значениями, как ‘дарить’, ‘красивый’, ‘совместный’, ‘ультиматум’, вторые — ‘человек’, ‘дом’ и т. п. Элементы первого типа, вслед за Г. М. Ильиным и др. [Ильин и др. 1977], мы и называем функторами, а второго — именами.

Напомним, что речь идет о значениях, а не о словах, о семантических валентностях, семантической сочетаемости, а не о синтаксической или лексической. Например, существуют имена родства ‘жена’, ‘тетя’ и др., которые требуют употребления с другими именами: нельзя сказать *Она — жена*, *Она — тетя*, можно лишь, например, *Она — жена Ивана Ивановича*, *Она — тетя Маши*. Наличие таких слов никак не говорит о некорректности выделения класса функторов. Если обратиться к семантике имен родства, то мы без труда обнаружим, что имеем дело с именами объектов, которые характеризуются по их отношению к другим объектам, отношение же — типичный функтор. Иначе говоря, семантика слова *тетя* описывается примерно так: *тетя X-а* = ‘Y такой, что Y приходится сестрой матери или отца X-а или женой дяди X-а’ (где ‘сестра’, ‘мать’, ‘отец’, ‘дядя’, ‘жена’ в свою очередь подлежат толкованию). Таким образом, хотя семантический объект, соответствующий содержанию слова *тетя*, не является функтором, он содержит функтор (функторы) типа ‘приходится (кто-л. кому-л. кем-л.)’.

Аналогичным образом семантика слов *строитель*, *пильщик* не сводится к функторам, но включает функторы: *строитель* = ‘X такой, что его специальным признаком является строить Y’, *пильщик* = ‘X такой, что X пилит Y’. То, что, в отличие от имен родства, слова типа *строитель*, *пильщик* не имеют обязательных синтаксических валентностей (ср.

неэллиптические предло-^{/58//59/}жения *Он — строитель, Он — пыльник*), несущественно с семантической точки зрения. Это уже собственно синтаксические или, возможно, лексико-синтаксические отличия. В этой же связи можно привести еще один пример. Если высказывание *Она — жена*, как упоминалось, некорректно вне контекста в силу своей эллиптичности, то о высказывании *Она замужем* этого сказать нельзя, оно не эллиплично. Между тем, разницы в семантических валентностях нет: как ‘быть женой’, так и ‘быть замужем’ с необходимостью предполагают соответственно ‘быть женой X-а’, ‘быть замужем за X-ом’⁹.

Выделенный указанным образом класс функторов неоднороден по своим валентностным свойствам. Он, в свою очередь, разбивается на два подкласса: элементы одного открывают места для выражений, которые сами имеют функторную природу, т. е. являются функторами с собственными местами; элементы другого не обладают такими валентностями.

Дальнейшая классификация функторов состоит в том, что среди всех элементов первого подкласса мы выделим такие, у которых валентность на функторные же выражения имеет иерархический ранг не ниже трех, т. е., иначе говоря, у которых первые две валентности не являются валентностями на функторные выражения.

Объединив этот подкласс со вторым из выделенных ранее подклассом функторов, мы получим предикаты. Оставшуюся же часть первого подкласса можно условиться назвать операторами. Примерами предикатов могут служить, например, значения ‘красный’, ‘дарить’, ‘совместный’, ‘поздравлять’. В последнем случае у функтора есть валентность на функторное же выражение (‘X поздравляет Y-а с P’, где P — функторное выражение), но это — третья валентность, а две первые занимают имена. Примерами операторов могут служить значения ‘начинать’, ‘необходимо’, ‘неверно’, ‘если, то’.

Владея понятием предиката с его валентностями, мы можем определить понятие пропозиции: пропозиция — это семантическая конструкция, которая образована предикатом с заполненными валентностями.

8.4. Уместно остановиться на отличиях такого — лингвистического — понимания пропозиции и предиката в сравнении с их логическими прототипами¹⁰. Прежде всего нужно оговорить, что с лингвистической

⁹ Говоря «нет разницы в семантических валентностях», мы не утверждаем отсутствия семантического различия вообще: оно есть, но не имеет отношения к обсуждаемому здесь вопросу.

¹⁰ О прототипичности логических понятий можно говорить лишь с определенной долей условности: при их возникновении языковое и логическое просто не различалось; когда же лингвистика и логика достаточно разошлись по своим целям и понятийному аппарату, логика пошла по пути уточнения и формализации традиционных концептов

точки зрения удобнее не проводить различия между пропозицией и пропозициональной формой, или пропозициональной функцией; в логике пропозицией называется лишь соответствующая конструкция, припредикатные места в которой заполнены конкретными именами, или терминами, когда же эти места заполнены переменными, то принято говорить о пропозициональной форме, или функции.

Дело в том, что пропозицией в логике признается лишь такая логическая форма, которая может быть истинной или ложной, а о пропозициональной форме наподобие ‘X — сту-^{/59//60/}дент’ этого сказать нельзя, пока мы не заменим переменную X на (референтно определенный) терм, например, ‘Иванов — студент’ (где под Ивановым имеется в виду конкретный, известный нам индивидуум).

Иррелевантность истинности/ложности для лингвистических (семантических) пропозиций имеет своим следствием то, что в таких пропозициях нет никакой информации сверх того, что данному предикату сопоставлены данные переменные или термы, которые далее, в согласии с традицией, мы будем именовать аргументами.

Валентности предиката — это качественно и количественно фиксированный набор, однозначно определяемый внутренними свойствами самого предиката. Зная предикат, мы знаем его валентности и, следовательно, тип заполненности его мест. К этому можно добавить, что, возможно, было бы целесообразно различать переменные и, скажем, полуперенменные при предикате. Пропозиция, составленная предикатом ‘быть студентом’ и его единственным аргументом, не имеет истинностного значения не только при употреблении «подлинной» переменной (‘X — студент’), но и при использовании любого терма, лишённого референции, т. е. обладающего денотатом, но не референтом (‘Иванов — студент’); такой терм и можно было бы считать полуперенменной. Разница между переменными и полуперенменными заключается в том, что употреблением последних мы эксплицитно сужаем область определения X; для примера ‘Иванов — студент’ область определения аргумента — все лица, носящие фамилию *Иванов*.

Из сказанного выше явствует, что, имея пропозицию, где предикат ‘дарить’ сопоставлен аргументам ‘Иван’, ‘книга’, ‘брат’, мы обладаем только информацией о том, что эти аргументы каким-то образом связаны отношением дарения. Традиционно это можно записать как ‘дарить’ (‘Иван’, ‘книга’, ‘брат’). Как именно реализуется данное отношение, и реализуется ли оно вообще, — об этом в самой пропозиции никакой информации нет. Соответственно, одна и та же пропозиция лежит в основе семантики высказываний *Иван дарит книгу брату*, *Иван не подарил книгу*

(что на соответствующих этапах развития логики было неизбежно связано с существенным ограничением объекта исследования), в лингвистике же термины «предикат», а отчасти и «пропозиция» приобрели нежелательную неоднозначность.

брату, Подарил ли Иван книгу брату?, Иван хочет подарить книгу брату, Иван может подарить книгу брату и т. д. и т. п. (ср. [Адамец 1978]). Если бы правилам русской грамматики не противоречило именно словосочетание *дарение книги Иваном брату*, то и о нем мы бы сказали, что его семантика построена на базе пропозиции 'дарить' ('Иван', 'книга', 'брат').

Аналогичным образом следует отметить и отличие в трактовке понятия предиката в лингвистике по сравнению с логикой. Для начала, впрочем, следует «отмежеваться» от многообразных способов употребления этого термина с достаточно неопределенной областью значения. Так, в языковедческих работах под предикатом часто имеют в виду глагол или другое слово с некоторыми глагольными свойствами (например, отглаголь- /60/ /61/ ное имя), сказуемое, группу сказуемого, рему. Какое-то влияние, возможно, оказывает и западноевропейская традиция (более близкая к словоупотреблению в логике), согласно которой предикат — это сказуемое или, чаще всего, группа сказуемого. Все эти употребления термина «предикат» мы считали бы нежелательными. Если мы хотим использовать термин «предикат» именно в качестве термина, с ним должно ассоциироваться одно значение, и таковое естественно трактовать как семантическое по своей природе.

В логике предикат от n переменных на множестве A — это «функция, определенная на A со значениями в множестве {истина, ложь}» [Словарь по кибернетике 1979: 421]. Такое понимание естественно согласуется с подходом к пропозиции в логике, о котором шла речь выше. Там же говорилось, что для лингвистики этот подход не будет продуктивным, поскольку лингвистику интересует не истинность/ложность, а правильность/неправильность высказываний, т. е. их соответствие/несоответствие правилам языка. Поэтому и предикат, а точнее, функтор, мы определили выше, вслед за названными авторами, по его отношению не к истинности/ложности, а фактически к смысловой полноте/неполноте: обязательность валентностей, положенная в основу определения, — это и есть, иными словами, наличие или отсутствие смысловой полноты, самодостаточности, что определяется смысловыми (семантическими) правилами данного языка.

8.5. Занимаясь вопросом о сущности предиката, мы встречаемся с положением, которое внешне предстает как в известной степени парадоксальное. С одной стороны, предикат представляет как бы всю пропозицию и, отсюда, ситуацию в свернутом виде, ибо, зная предикат, мы знаем его валентности, — следовательно и потенциальные аргументы (а применительно к ситуации — участников ситуации, см. ниже). Именно поэтому и говорят, что предикат «называет ситуацию»¹¹. С другой

¹¹ В логике определенную аналогию составляет тенденция к отождествлению предиката и пропозициональной формы (функции) [Черч 1960].

стороны, предикат выступает как «технический» элемент, как своего рода связка, ибо он отражает лишь взаимоотношение элементов, существующих независимо¹².

В действительности, однако, отмеченные разные «ипостаси» предиката хорошо согласуются друг с другом. Предикат — организующий центр семантики высказывания. Без предиката семантическая конструкция «рассыпается». Но сам предикат говорит лишь о том, что имеет место, каков тип ситуации и ее участников, но не о том, каковы реально эти последние. В то же время нередко набор участников во многом предопределяет предикат, в особенности применительно к конситуации (о понятии конситуации см. п. 17). Например, имея набор аргументов (участников ситуации) ‘извозчик’, ‘лошадь’, ‘кнут’, мы с достаточно большой долей уверенности предскажем предикат ‘погонять’ или ‘бить’; чем больше аргументов, тем легче восстанавливается предикат.

Следует обсудить также вопрос о том, единицу какой степе- /61//62/ ни «крупности» следует считать предикатом. Например, Ю. Д. Апресян толкует семантику глагола *догонять* следующим образом: X догонял Y-а = ‘(а) объекты X и Y перемещались в одном направлении, и X находился позади Y-а; (б) X перемещался быстрее Y-а, в результате чего расстояние между X-ом и Y-ом сокращалось’ [Апресян 1983: 323]. Что здесь является предикатом? Все функторные элементы, т. е. ‘перемещаться’, ‘находиться (позади)’, ‘быстрее’, ‘сокращаться’? По-видимому, сюда надо было бы добавить и ‘в одном направлении’, т. е. ‘перемещались, и перемещение было в одном направлении’, а также ‘в результате’, т. е. ‘и результатом перемещения было...’. Можно сразу же заметить, что из перечисленных функторов едва ли не большинство нельзя счесть предикатами, если следовать соглашениям, введенным выше: ‘быстрее’, ‘быть (происходить) в одном направлении’, ‘быть (иметь) результатом’ обладают валентностями на выражения функторной природы, причем только такими валентностями. Однако это не помеха для признания предикатом значения ‘догонять’: так, мы уже видели, что даже в значения-имена, в частности, в семантику имен родства, имен деятеля входят функторы, хотя первично именно противопоставление функторов и имен. Нам представляется, что именно такое решение будет корректным: предикатом является комплексное значение ‘догонять’, взятое в целом. Что же касается элементов его толкования, то они могут получить квалификацию в рамках различения предикатов, операторов и т. д. лишь постольку, поскольку в данном языке существуют отдельные глаголы, слова или показатели, чьим планом содержания они являются, ср., например, ‘перемещаться’ и глагол *перемещаться*. Противоположным примером может служить

¹² Можно вспомнить, что, согласно Ш. Балли, любой глагол является связкой или содержит в себе связку [Балли 1976].

семантический элемент ‘каузировать’, который входит в толкование и, следовательно, семантику очень большого числа слов, однако в русском языке отсутствует глагол или грамматический показатель, планом содержания которых было бы значение ‘каузировать’, поэтому относительно ‘каузировать’ нет смысла задаваться вопросом о предикатности/непредикатности.

8.6. Элементарные значения, входящие в семантику более сложных семантических образований — в нашем случае это предикаты, — называют, как известно, семами. Семями, как мы видели, могут быть и такие семантические элементы, которые и сами способны выступать в качестве предикатов, другие же семы лишены какой бы то ни было самостоятельности вне семантических комплексов. Предикат ‘догонять’ носит полисемный характер. Полисемный предикат есть не что иное, как синтагматическая конструкция сем (в то время как полисемное имя, если в него не входят функторные семантические элементы, — обычно парадигматическая конструкция сем). Моносемный предикат формально сводится к своей единственной семе. В пропозицию входят, естественно, предикаты, а не семы. /62//63/

Из сказанного явствует одновременно, что предикат, взятый со стороны своей внутренней структуры, т. е. представленный как толкование, есть пропозициональная функция (форма) или конъюнкция пропозициональных функций (форм). При таком аспекте рассмотрения различие пропозиции и пропозициональной функции (формы) становится уже существенным: предикат как толкование с необходимостью включает переменные, а из этого следует, что неререферентность элементов, заполняющих его валентности, носит принципиальный характер.

Тем самым мы приходим к взглядам, близким А. Черчу, который отождествлял понятия предиката и пропозициональной функции [Черч 1960]. Отличие состоит в том, что Черч не занимался внутренней структурой предикатов, поэтому для него всякий предикат выступал как пропозициональная функция. При семном разложении предикатов моносемный предикат, представленный в виде своего толкования, разворачивается в пропозициональную функцию, а полисемный в тех же условиях — в конъюнкцию пропозициональных функций.

Еще одно следствие заключается в том, что, при таком рассмотрении, семы, которым соответствуют пропозициональные функции в составе предиката, сами оказываются, как уже отмечалось, функторами или предикатами.

Итак, пропозиция, образованная на базе полисемного, или сложного, предиката, сама включает пропозиции (пропозициональные формы). Часть из них являются пресуппозициями, они не отрицаются, могут сохранять истинность, когда отрицается предикат в целом. Так, если в приведенное

выше толкование предиката ‘догнать’, как оно дано выше, ввести отрицание, то отрицание не затронет ту часть толкования, которая обозначена через (а): из *X не догонял Y-а* не следует, что ‘объекты X и Y не перемещались в одном направлении, и X не находился позади Y-а’. Эта часть толкования может сохранять истинность (хотя может оказаться и ложной: если объекты X и Y просто двигались в разных направлениях или же Y на самом деле находился впереди X-а или на одном уровне с ним; в случае ложности пресуппозиции высказывание становится аномальным, неуместным или же пресуппозиция эксплицитно отрицается в условиях противопоставления, опровержения, ср. *Иванов не догонял Петрова, они вообще ехали в разных направлениях! Иванов не догонял (не мог догонять, как мог догонять) Петрова, ведь Петров ехал позади Иванова!*).

8.7. Выделением предикатов и операторов возможная классификация функторов не исчерпывается. Опора на валентности позволяет сделать эту классификацию более подробной, положив в ее основание следующие признаки: (1) число открываемых мест, (2) соотношение мест, открываемых для функторных и именных термов; (3) ранжирование термов, занимающих места при функторах. В этой классификации [Касевич, Храковский 1983] будут различаться следующие типы функторов: /63//64/

I. одноместные — например, ‘возможно, что P’, или, иначе, ‘возможно’ (P), где P — функторное выражение, обычно пропозиция;

II. двухместные — (а) функторы, открывающие оба места для пропозиции, т. е. ‘P₁ предшествует P₂’, или, иначе, ‘предшествовать’ (P₁, P₂); (б) функторы, открывающие первое место для имени и второе для функторного выражения, например, ‘X хочет P’, или ‘хотеть’ (X, P); у нас нет примеров на предусмотренные классификацией функторы, открывающие первое место для функторного выражения и второе — для имени;

III. трехместные — (а) функторы, открывающие первые два места для имен и третье — для функторного выражения, например, ‘X благодарит Y-а за P’ или ‘благодарить’ (X, Y, P); (б) функторы, открывающие первое и третье места для имен и второе — для функторного выражения, например ‘X говорит P Y-у’, или ‘говорить’ (X, P, Y); примеров для остальных логически возможных типов трехместных функторов у нас нет;

IV. четырехместные — (а) функторы, открывающие первые три места для имен и четвертое — для функторного выражения, например, ‘X награждает Y-а Z-ом за P’; мы не можем предложить примеры для остальных логически возможных типов четырехместных функторов.

Как мы видели ранее, на этих же принципах основывается выделение предикатов, которые как класс не представлены в приведенной только что схеме: к предикатам, согласно предложенному, относятся все n-местные

функторы с исключительно именными валентностями, а также подкласс (а) трехместных функторов и четырехместные функторы подкласса (а). Проблемы классификации предикатов мы оставляем в стороне [Семантические типы предикатов 1982]. Возникает вопрос о принципах ранжирования прифункторных мест, коль скоро от типа ранжирования во многом зависит отнесение функтора к тому или иному классу и подклассу, в том числе и к важнейшему классу предикатов. Ответить на этот вопрос нелегко. По существу, определение местности функторов осуществляется интуитивно. То же относится к установлению иерархии их валентностей и, соответственно, мест.

Можно, однако, добавить некоторые соображения в пользу особой роли, которые имеют первые две валентности функтора, которые и сказываются, как мы видели, решающим образом на квалификации функтора как предикатного или непредикатного. Начнем с примера, взяв четырехместный функтор 'наградить'. Хотя в его окружение с необходимостью входит функторная переменная, или терм, указывающий на мотив награждения («ни за что не награждают»), эта валентность явно занимает периферийное положение по сравнению с первыми тремя и особенно первыми двумя. Это проявляется и в большей легкости опущения соответствующих слов при «поверхностном» выражении данного смысла, ср. высказывания *Иванова наградили, Иванов был награжден, Комитет ДОСААФ наградила /64/ /65/ Иванова именными часами, Комитет ДОСААФ наградила Иванова именными часами за спасение утопающего*. Даже первые два высказывания, где имеются соответствия лишь второй валентности, фактически не являются эллиптическими¹³. Аналогично с функторами говорения: по-видимому, прежде всего важно, кто сказал и что сказал, поэтому-то соответствующим валентностям и принадлежат ранги «один» и «два».

Се Синьи [Hsieh Hsin-I 1979] предположил, что одному уровню принадлежат связи между предикатом и его первыми двумя аргументами — субъектом и объектом, все же остальные аргументы принадлежат некоторым другим уровням и, как можно понять, они, по существу, сопоставлены другим функторам. Например, семантика предложения *Джон подарил автомобиль Полю для Мэри* может иметь представление, согласно Се Синьи, в виде разноуровневых бинарных отношений (мы упрощаем форму записи автора): 'дал' ('Джон', 'автомобиль') + О ('Полю', 'Джон') + Р ('Мэри', 'Джон'), где О — отношение дативности, а Р — отношение бенефактивности. В концепции Се Синьи также отчетливо видна тенденция установить иерархию между аргументами функтора,

¹³ В контекстах с использованием глагола *наградить* роль первой валентности обычно меньше ввиду известной «безличности» (неперсонифицированности) источника награждения. Возможно, здесь присутствует особая проблема.

причем такую, в которой первые два аргумента имели бы особый вес. Можно считать почти очевидным, что существует своего рода ступенчатое ослабление связей между функтором и рядом его аргументов, которое и выражается в иерархическом ранжировании последних. Может быть, и существуют способы объективировать силу связи аргументов с их функторами, разработав некоторые процедуры, возможно, психолингвистические по своей природе. Однако, насколько нам известно, этот вопрос никогда не ставился. Заметим, однако, что совпадение интуиции разных исследователей, — а оно типично для выяснения иерархии аргументов, — тоже убедительное свидетельство реальности и объективности иерархии, фигурирующей в работах по лингвистической семантике. К этому вопросу мы вернемся ниже (см. п. 18).

5. Выше было сказано, что пропозиция не включает никакой информации сверх того, что данному предикату сопоставлены данные аргументы. Уже из этого следует, что семантика даже простейшего высказывания типа *Иван дал брату книгу* никак не сводится к пропозиции. Чтобы превратить пропозицию в план содержания высказывания, нужно осуществить над ней ряд операций¹⁴. В качестве первой такой операции необходимо определить, в каком именно отношении стоит предикат к своим аргументам: реальности или ирреальности.

Здесь нам придется обратиться к развиваемому в логике понятию возможных миров [Хинтика 1980]. Не вдаваясь в обсуждение формальных сторон этого понятия, укажем, что возможный мир — это такой мир, относительно которого известно, что его существование в принципе не исключено, т. е. утверждения о нем не являются внутренне противоречивыми. Существует ли он, существовал или будет существовать — вопрос, в этом смысле, несущественный. Наш реальный мир — один из возможных миров. Возможное состояние нашего мира или любого его «фрагмента» в любой момент времени *T* — тоже один из возможных миров. Формально любое состояние любого мира, или, что то же самое, любой возможный мир, полностью определяется множеством пропозиций, истинных относительно этого мира.

Соответственно, когда мы говорим, что предикат стоит в реальном отношении к своим аргументам, или, иначе, что предикат связывает аргументы отношением реальности, это значит, что употребляется особый функтор реальности, который относит данную ситуацию к реальному миру, — в отличие от всех остальных миров, лишь потенциально возможных. Когда перед нами высказывания *Иван*

¹⁴ Говоря так, мы никоим образом не имеем в виду реальные процессы речевой деятельности, т. е. не хотим сказать, что говорящий начинает с пропозиции и продвигается от нее к полному представлению семантики высказывания. Речь здесь идет только о внутрисистемных отношениях, где естественно представление по принципу «от простого к сложному».

может дать брату книгу, Иван должен дать брату книгу, Иван собирается дать брату книгу, Иван хочет дать брату книгу, то это все — суждения о некоторых других возможных мирах, отличающихся от действительного, и говорящий полагает, что в каком-то из этих миров (которых в момент речи просто не существует, но важнее то, что они отличаются от мира, наличествующего в момент речи) может, с точки зрения говорящего, или должно произойти событие ‘Иван дает брату книгу’. В указанном смысле все это — ирреальные события, и логически (семантически) данное обстоятельство отражается использованием функтора ирреальности: ‘Иван может дать брату книгу’ включает пропозицию ‘давать’ (‘Иван’, ‘книга’, ‘брат’) плюс функтор ирреальности, который здесь реализуется как ‘может’.

9.1. Функтор, или оператор, ирреальности вместе с именным термом, т. е. ‘Иван может’, ‘Иван должен’ и т. д., образуют внутреннюю модальную рамку по отношению к пропозиции. Слово «рамка» отражает лишь то обстоятельство, что пропозиция «вставляется» в позицию, оставленную для нее в модальной рамке, ср. ‘Иван может...’ → ‘Иван может Р’, где Р, например, ‘Иван дает брату книгу’; в результате получаем: ‘может’ (‘Иван’, (‘давать’ (‘Иван’, ‘книга’, ‘брат’))). Определение рамки как модальной, вероятно, не требует специальных комментариев. Что же касается эпитета «внутренняя», то, во-первых, он призван отличить данную модальную рамку от другой — внешней (о ней пойдет речь ниже). Во-вторых, модальный оператор, формирующий эту рамку, как уже отмечалось, устанавливает отношения внутри пропозиции — между предикатом и его аргументами¹⁵.

Операторы ирреальности, по-видимому, исключают друг друга¹⁶. Остается открытым вопрос, существует ли конечный универсальный набор

¹⁵ Тип связи между предикатом и его аргументами — это, приблизительно, модальность *de re* классической логики: «Мне представляется, — пишет В. А. Смирнов, — что модальность *de re* — это особый способ приложения предиката к субъекту» [Смирнов В. А. 1981: 7]. Здесь также уместно вспомнить, что Г. Фреге разделял в высказывании мыслительное содержание и утверждение данного содержания (вводя для этого разграничения специальную формальную нотацию: для содержания высказывания — горизонтальную черту, а для утвердительного высказывания — ту же черту с присоединенной к ней слева вертикальной чертой). «Если — А есть описание некоторых обстоятельств, например, „Обстоятельство, что разные полюса притягиваются“, то — А есть утверждение „Разные полюса притягиваются“» [Бродский 1973: 32].

¹⁶ Нет полного запрета на сочетаемость модальных глаголов, но, кажется, это еще не говорит о сочетаемости модальных функторов. Дело в том, что в комбинациях модальных глаголов — надо заметить, не очень типичных в любом случае — один из глаголов имеет (или включает) каузативное значение. Например, в *хочу быть в состоянии*, т. е. ‘хочу мочь’, модальный глагол *хотеть* включает значение фактитивной каузации, в *можешь хотеть* глагол *мочь* имеет значение пермиссивной каузации.

таких операторов, которые в разных языках получают лишь разные материальные воплощения.

Следует отметить, что оператор реальности не есть значение утверждения: ведь утверждаются и значения возможности, необходимости и т. д., т. е. значение утверждения сочетается с /66/67/ ирреально-модальными значениями. В этом семантика утверждения вполне параллельна семантике отрицания, которая также совместима с семантикой как реальности, так и нереальности (ирреальности)¹⁷.

9.2. Значение ирреальности в модальной оппозиции реальность/ирреальность следует также отличать от семантики, выражаемой, например, формами русского сослагательного наклонения в их основной (первичной) функции. «Сослагательная» семантика также относится к сфере ирреальности, однако мы находим по крайней мере три основных различия между ирреальностями двух типов. Во-первых, ирреальность, выражаемую формами типа русского сослагательного наклонения, можно определить как «негативную»: семантика соответствующих предложений обычно включает отрицание, которое сопровождает эпистемический оператор, т. е. ‘известно, что...’, или пропозицию, т. е. ‘известно, что не Р’ или же ‘неизвестно, Р ли’, ср. *Если бы ему сказали, он бы пришел, Если бы он завтра пришел, мы бы ему все показали*. В отличие от этого ирреальность, чаще всего передаваемая модальными глаголами, выступает как «позитивная»: в этом случае акцент делается на потенциальности ситуации, которая мыслится как возможная, желательная и т. п. Существенно, что два вида ирреальности совместимы, например, *Архимед мог бы перевернуть весь мир, если бы ему дали точку опоры*. Во-вторых, «сослагательная» ирреальность не конкретизируется по типу (возможность, намерение и т. п.) и по временной отнесенности (настоящее, прошедшее, будущее). В-третьих, при использовании грамматических средств наподобие сослагательного наклонения обозначается связь двух ситуаций (и, стало быть, двух пропозиций): пример *Я сыграла бы теперь что-нибудь*, взятый вне контекста, интерпретируется следующим образом: ‘Я сыграла бы, если бы...’ (если бы надеялась, что меня будут слушать, если бы не было слишком поздно и т. п.)¹⁸.

¹⁷ В действительности, возможно, ситуация сложнее: в логике и философии обсуждается вопрос о том, не являются ли отрицательные высказывания утверждениями о ложности связи между субъектом и предикатом [Бродский 1973].

¹⁸ Первичное значение форм сослагательного наклонения мы отличаем от вторичных, когда эти формы выражают значение желания/намерения при /280/281/ подчеркнутой неактивности субъекта (ср. различие между *я хочу* и *я хотел бы*). Такую интерпретацию допускает, естественно, и приведенный пример. Особый случай, который мы здесь не рассматриваем, представлен семантикой восклицательных предложений с сослагательными формами глагола типа *Если бы вы знали, как я*

9.3. Внутренняя модальная рамка отражает то, что в традиции принято называть объективной модальностью. Наряду с последней, как известно, принято говорить о субъективной модальности. Если операторы внутренней модальной рамки, как утверждалось выше, играют роль своего рода связок, устанавливающих тип отношения между предикатом и его аргументами, то в случае субъективной модальности мы имеем дело с установлением типа отношений иного рода: между модальным субъектом — источником оценки — и пропозицией в целом. Оператор субъективной модальности с модальным субъектом формируют, соответственно, внешнюю модальную рамку. Модальный субъект чаще всего совпадает с говорящим.

Операторы, формирующие внешнюю модальную рамку, многообразны. Подобно операторам, лежащим в основе внутренней модальной рамки, они также двуместны. Различие заключается в следующем: прифункторный терм внешней модальной /67//68/ рамки — всегда модальный субъект; тот же терм внутренней модальной рамки может быть субъектом действия, состояния или же выполнять еще какую-нибудь другую семантическую роль (о семантических ролях см. п. 18). Прифункторный терм внутренней модальной рамки всегда кореферентен субъекту пропозиции, т. е. тождествен ему, для внешней модальной рамки такая кореферентность нехарактерна.

К операторам, служащим ядром внешней модальной рамки, относятся значения необходимости, обязательности, возможности (возможности как вероятности) и целый ряд других оценочных и эмотивно-оценочных значений. Модальные операторы, содержащиеся в высказываниях с семантикой ‘Необходимо, что Р’, ‘Возможно, что Р’, ‘Обязательно, что Р’, чаще квалифицируются как одноместные (с единственной валентностью на пропозицию), однако, по-видимому, следует считать, что налицо и валентность на некоторого модального субъекта, того, «с чьей точки зрения» Р является необходимым, возможным, обязательным и т. п. Это может быть общество в целом или определенная его часть, чьим «рупором» выступает говорящий, но в любом случае, как бы ни был обезличен модальный субъект, необходимость, возможность и т. п. — по самому своему существу оценочные категории и, стало быть, предполагают источник оценки, т. е. модального субъекта. (Этим модальные операторы отличаются от, например, аспектуальных, которые действительно являются одноместными — с единственной валентностью на пропозицию; см. об этом ниже).

Является ли внешняя модальная рамка обязательной? Безусловно необязательно ее вербальное выражение: скажем, предложение *Все уши*

несчастна!, Если бы только он не обманул!

— полное, оно не требует эксплицитно выраженной рамки типа *Я думаю, все ушли, Я боюсь, что все ушли, Необходимо, чтобы все ушли* и т. д. и т. п. Что же касается семантического представления высказываний, то можно считать, что отсутствие эксплицитно (вербально, интонационно) выраженной субъективной модальности — это знак нулевой (нейтральной) субъективной модальности. При таком подходе внешняя модальная рамка оказывается столь же обязательной, сколь и внутренняя.

10. Модальные операторы, как внешние, так и внутренние, являются универсальными: хотя, как говорилось, остается неясной универсальность их набора, средства выражения объективной и субъективной модальности должны быть в любом языке. Точно так же универсальны и операторы утверждения/отрицания. Помимо указанных, отмечается еще целый ряд операторов, которые вряд ли можно квалифицировать как универсальные.

10.1. Прежде всего это темпоральные операторы. Существует традиция считать отнесенность к тому или иному моменту времени обязательной чертой всех языков. Более того, имеется и концепция, согласно которой во временной отнесенности про-/68//69/ является признак предикативности, последняя же считается, как известно, тем, что отличает высказывание (предложение) от словосочетания либо наряду с (объективной) модальностью, либо две эти категории — предикативность и объективная модальность — объявляются в некотором смысле едиными. Так, авторы «Русской грамматики» пишут: «Значения времени и реальности/ирреальности слиты воедино; комплекс этих значений называется объективно-модальными значениями, или объективной модальностью» [Русская грамматика 1982, II: 86]. О предикативности там же читаем: «...Предикативность — категория, которая... соотносит сообщение с тем или иным временным планом действительности» [Русская грамматика 1982, II: 86]¹⁹. Таким образом, предикативность приравнивается объективной модальности, с одной стороны, и временной отнесенности — с другой.

С нашей точки зрения, любое отождествление указанных категорий неправомерно. Предикативность — в семантическом употреблении этого понятия — есть не что иное, как сопоставленность данного предиката его аргументам: предикативность есть там, где налицо пропозиция. Пропозиция имеет вневременной характер²⁰. Соответственно и предикативность никак не сводима к временным отношениям. Временные операторы — ‘Было, что P’, ‘Есть, что P’, ‘Будет, что P’ «наслаиваются» на пропозицию и, более того, на пропозицию, уже включенную во

¹⁹ Надо сказать, что такой подход известен со времен Аристотеля, который утверждал, что «отнесение к действительности осуществляется глагольным временем как указание на „есть“, „был“ или „будет“» [Бродский 1973: 22].

²⁰ О «вневременном» характере пропозиции см. также в монографии Дж. Лайонза [Lyons 1978].

внутреннюю модальную рамку. Добавление временных значений служит своего рода субкатегоризацией значений реальности или ирреальности²¹. Но это имеет место, во-первых, в тех языках, где существует грамматическая категория времени, а, во-вторых, и в этих последних высказывания и их составляющие могут выводиться из-под действия темпоральных операторов, не теряя при этом своей пропозициональной природы, т. е. предикативности: выше уже упоминались высказывания с глаголом в сослагательном наклонении, можно добавить номинализованные и субстантивированные обороты, например, *Студенты сдали (сдают, будут сдавать) экзамен* → *Сдача экзамена студентами*, номологические высказывания наподобие *Земля вращается вокруг своей оси* и ряд других «вневременных» или «всвременных» конструкций.

10.2. Другая разновидность операторов, «наслаивающихся» на пропозицию, — аспектуальные. В целом они также, вероятно, не принадлежат к универсальному семантическому языку, т. е. не подлежат обязательному выражению во всех языках. Однако часть из них, возможно, претендует на статус универсальности: это операторы фазовости. Хотя не всякий язык располагает начинательным видом в системе формоизменения, глагольными лексемами начинательного способа действия, в любом языке выражение значений ‘Р начинается’, ‘Р завершается (кончается)’ имеет тенденцию к грамматической специфичности, если не морфологической, то синтаксической²².

Семантика вида и времени будет более подробно освещена /69/170/ в главе «Морфологический компонент языка» (гл. III, пп. 20–23).

11. Чтобы превратить пропозицию в семантическую конструкцию, составляющую план содержания предложения (высказывания), ее необходимо — вместе с внутренней и внешней модальными рамками, другими операторами, о которых шла речь выше, — ввести в еще одну рамку: коммуникативную, или целевую. Эту рамку формируют три употребляемых альтернативно оператора: нарративности, или ассертивности (повествовательности, утвердительности), интеррогативности (вопросительности) и императивности (побудительности). Как можно видеть, мы склонны отождествлять повествовательность (нарративность) и утверждение (ассертивность): любое повествовательное высказывание самим фактом его произнесения что-то утверждает, — в частном случае, отсутствие связи между предикатом и его аргументами (внутреннее отрицание) или ложность

²¹ Ср.: «Время есть способ обозначения реальности, и конкретная реальность проявляется в определенной временной отнесенности. Предшествование, сопутствие и последование сообщаемого факта относительно факта сообщения представляют собой конкретные формы проявления реальности» [Володин, Храковский 1974: 50].

²² Фазовые глаголы нередко обладают синтаксическими ограничениями, сближающими их с модальными.

высказывания в целом (внешнее отрицание). Отсюда следует также, что отрицание не сочетается с любым из операторов, формирующих коммуникативную рамку.

Обязательный выбор между тремя коммуникативными (целевыми) операторами отражает три основных типа коммуникации, три основные установки при речевом общении: передача информации (повествование), запрос об информации (вопрос) и, наконец, использование речи, речевой информации в регулятивных целях, в целях управления, для чего специально предназначены повелительные высказывания²³.

Соответственно, мы склоняемся к тому, что значения повествовательности, вопросительности, побудительности (как прямого волеизъявления) являются элементарными, неанализируемыми, семантически «примитивными». Безусловно, вопрос, например, можно представить как побуждение к передаче информации («Сообщи мне...») или через деизидератум вопроса с участием эпистемического оператора, когда семантическим представлением специального вопроса является конструкция «Сделай так, что ((Ех) я знаю, что ...х...)» [Хинтиikka 1980]. Аналогично А. Вежбицка находит в семантике императивов, вопросов, вокативов модальную рамку «Я хочу...» [Wierzbicka 1969], т. е. полагает, что императивность и интеррогативность могут быть заданы через более простые значения, в частности нарративности и деизидеративности.

В связи с этим можно сказать, что в истоках любой деятельности, интегральным компонентом которой является деятельность речевая, лежит мотив, имеющий эмоционально-волевою природу [Леви-Стросс 1985]. Обращаясь с высказыванием к собеседнику, говорящий всегда имеет, соответственно, некоторые «деизидерата», т. е. желает в конечном счете побудить его к чему-либо — как минимум, к тому, чтобы он адекватно воспринял сообщение, чтобы в результате изменилось его «информационное состояние» (*Дождь идет* = «Я хочу, чтобы ты знал, что идет /70//71/ дождь»). Но все это, думается, никак не отменяет того факта, что в рамках речевой коммуникации существует передача информации как таковая, что есть специальные средства запрашивания информации и, кроме того, специальные средства использования речевой информации в целях управления. Психологи, говоря, что «человек вступает в коммуникацию, желая получить помощь, вызвать участие, дать информацию и т. п.» [Ушакова 1986: 137], в то же время отмечают: «По содержательно-формальным характеристикам речевых высказываний различают следующие их виды: информацию, вопрос, просьбу» [Ушакова

²³ Естественно, здесь имеются в виду лишь первичные, «исконные» функции соответствующих типов высказываний без учета иллокутивных факторов, которые могут вести к обмену функциями между повествовательными, вопросительными и повелительными высказываниями.

1986: 141] (под «просьбой» здесь, конечно, имеются в виду все разновидности императивных высказываний). Не случайно, разумеется, что как будто бы все языки выработали для разграничения и обеспечения этих основных «режимов» речевой деятельности особые грамматические средства.

Из сказанного выше явствует в целом также, что разграничение высказываний по их иллокутивной функции, с одной стороны, включает классификацию по типу коммуникативной (целевой) рамки, с другой же — существует параллельно: помимо значительно большей детальности, прагматическая классификация высказываний не связана жестко с грамматическим типом, а исходит из реальной функции данного высказывания в конкретном контексте, в конкретной ситуации.

12. Итак, резюмируя изложенное, перечислим те основные семантические операции, которые должны быть выполнены над пропозицией, чтобы перейти от последней к плану содержания предложения (высказывания).

Первая операция — использование внутренней модальной рамки, посредством которой фиксируется тип взаимоотношения предиката и его аргументов, что, в свою очередь, отражает, так сказать, объективное положение вещей для данного фрагмента действительности. На этом этапе связь предиката с его аргументами определяется как реальная или потенциальная (ирреальная), т. е. возможная, желаемая и т. п. Второй операцией выступает характеристика пропозиции вместе с ее внутренней модальной рамкой как актуальной или виртуальной (что формально обеспечивается выбором наклонения, для русского языка — изъявительного или сослагательного). Здесь реальность или потенциальность представляются как присущие либо действительной (актуальной) ситуации, либо некоторой другой, которая не является действительной, но которая возможна по крайней мере в принципе, обычно при выполнении определенного условия. Таким образом, данная семантическая операция показывает, какой «набор возможных (невозможных) вариантов» видит говорящий для отображаемой ситуации относительно других ситуаций. При использовании глагольных форм типа русского сослагательного наклонения происходит, таким образом, добавление «субъективного компонента» к отображению объективного положения вещей, представленному пропозицией /71/ /72/ и внутренней модальной рамкой. Остается открытым вопрос, отвечает ли данной операции особая модальная рамка: во-первых, здесь нет единственного оператора, но присутствуют по меньшей мере два — оператор ирреальности-виртуальности и оператор коннекторного типа [Ильин и др. 1977; Касевич, Храковский 1983], т. е. устанавливающий связь двух пропозиций; во-вторых, вряд ли эта операция универсальна, ибо есть

языки (например, бирманский), лишённые наклонений, аналогичных русскому сослагательному.

Третья операция — использование внешней модальной рамки, которая отражает оценку со стороны модального субъекта (в типичном случае — говорящего) содержания пропозиции вместе с «наслоившимися» значениями — результатом предыдущих операций. Здесь «субъективизация» семантики предложения достигает своего максимума.

Наконец, последняя операция (не считая использования временных, аспектуальных и, возможно, некоторых других операторов) — введение семантической конструкции, выступающей результатом всех предыдущих операций, в коммуникативную рамку, ориентированную уже на слушающего, на диалог, отражающую отношение говорящего к слушающему с точки зрения коммуникативных потребностей первого из них.

Семантические операции, очерченные здесь лишь в первом приближении, соотносятся отнюдь не механически, когда последующая прилагается к готовому результату, полученному действием предыдущей; они обнаруживают достаточно сложное взаимодействие. Например, при замене оператора реальности на оператор необходимости в семантической структуре высказывания *Защите диссертации предшествовало ее обсуждение* оператор необходимости непосредственно относится к оператору ‘предшествовать’. Однако одновременно он относится к первой из соединяемых оператором ‘предшествовать’ пропозиций (первой по временному порядку), т. е. ‘Необходимо, что Р’, где Р — пропозиция ‘обсуждать’ (Х, ‘диссертация’). Аналогично обстоит дело с предложением *Вероятно, защите диссертации предшествовало ее обсуждение*. В обоих случаях соединяемые оператором ‘предшествовать’ пропозиции лишены отдельных модальных рамок, причем для первой из пропозиций модальной рамкой служит «по совместительству» модальная рамка функтора ‘предшествовать’, а для второй модальная рамка, которая здесь оказывается значением реальности, «вычисляется», исходя из семантики оператора ‘предшествовать’ и его модальной рамки. В целом сложная проблема взаимодействия различных компонентов семантики высказывания еще ждет своего специального исследования.

КВАНТИФИКАЦИЯ СИТУАЦИЙ

13. До сих пор мы говорили о семантике высказываний, в типичном случае описывающих одну ситуацию каждое. Естественно, что в любом тексте такие высказывания вряд ли составляют большинство. В целом, вероятно, распространённое такое положение, когда в пределах высказывания отражается связь некоторых ситуаций. Один из видов связи — количественное соотношение идентичных или однотипных ситуаций.

Применительно к такому случаю мы и будем говорить о квантификации ситуаций.

Возьмем высказывание *Иван редко навещает мать*. Его общую семантическую структуру можно представить так: ‘редко’ (‘навещать’ (‘Иван’, ‘мать’)); ‘редко’ выступает как второпорядковый предикат.

Второпорядковые предикаты родственны операторам (непредикатным функторам) в том отношении, что они имеют обязательную валентность на пропозицию. Но, во-первых, валентность на пропозицию — единственная обязательная валентность второпорядкового предиката, так что он обнаруживает сходство лишь с операторами типа, например, ‘начинаться’, а, во-вторых, семантическую конструкцию с второпорядковым предикатом можно преобразовать в конъюнкцию из двух пропозиций: одна из них — та, которая подчинена второпорядковому предикату, а во второй в качестве термина выступает сама эта пропозиция при второпорядковом предикате, т. е. ‘редко’ (‘навещать’ (‘Иван’, ‘мать’)) → ‘навещать’ (‘Иван’, ‘мать’) и Р [есть] ‘редко’, где Р — ‘навещать’ (‘Иван’, ‘мать’). Для операторов такое преобразование невозможно.

Однако формальное представление структуры еще не показывает всех семантических свойств высказываний данного типа. Здесь одна и та же ситуация, которой отвечает приведенная выше пропозиция, представлена как воспроизводящаяся во времени. Иными словами, происходит своего рода мультипликация ситуаций. Кроме того, имплицитно присутствует значение нормы, как бы нулевой — на шкале оценки с точки зрения говорящего — частоты (в данном случае — посещений): в системе взглядов говорящего есть точка отсчета, согласно которой посещать (навещать) n раз в единицу времени T соответствует норме, а посещать с частотой $(n-m)$ раз характеризуется оценкой ‘редко’. Таким образом, употреблению лексемы *редко* можно дать приблизительно такое толкование: Р *редко* \cong ‘Р имеет место $(n-m)$ раз в единицу времени T , и говорящий считает, что нормой является n раз Р в единицу времени T ’. Если считать, что ‘мало’ есть достаточно универсальное выражение значения ‘меньше нормы’, то толкование может выглядеть иначе и проще: ‘Р имеет место n раз в единицу времени T , и говорящий считает, что это мало’.

Надо заметить, что антонимичный предикат ‘часто’, по-видимому, не является симметричным по отношению к ‘редко’, т. е. они не равноудалены по отношению к норме. ‘Часто’, скорее всего, — не ‘больше нормы’, а ‘больше или равно норме’, т. е. один из антонимов занимает семантическое пространство $/73/174/$ нормы ‘от нуля и больше’, а другой — ‘меньше нуля’ (если норма есть нуль). Такое положение типично для семантики оценки, где положительная оценка имеет тенденцию включать область нормы. Впрочем, нужно оговорить, что ‘выше (больше) нормы’

лишь до определенных пределов рассматривается как положительная оценка, с выходом же за некоторый предел (который может определяться и сугубо индивидуально) оценка меняет знак, превращаясь в отрицательную.

Как можно видеть, употребление предикатов ‘редко’, ‘часто’, хотя и имеет отношение к квантификации ситуаций, больше связано с семантикой оценки. Совмещение семантических областей характерно и для предикатов типа ‘обычно’ и антонимичного ему ‘необычно’, где одновременно представлены семантические области мультипликации ситуаций и узуальности. Можно сказать, что обычность/необычность, как и частость/нечастость (в смысле оценки) имплицитно мультиплицируют мультипликацию ситуаций, ибо об обычности/необычности, частости/нечастости имеет смысл говорить лишь применительно к воспроизводящимся ситуациям.

Предикаты ‘часто’/‘редко’, ‘обычно’/‘необычно’ особым образом связаны также с семантикой времени. Можно сказать *Иван часто навещает мать* и *[Раньше] Иван, часто навещал мать, Иван обычно навещает мать по пятницам*, и *[Раньше] Иван обычно навещал мать по пятницам*, *[Теперь] Иван будет часто навещать мать*, но не **[Теперь] Иван будет обычно навещать мать по пятницам*. Как видно из приведенных примеров, частота как оценка может относиться к любому времени, а узуальность — только к настоящему и прошедшему, что естественно, так как узус — это нечто сформировавшееся.

Здесь же можно отметить, что неупотребимы высказывания *Иван много раз навещает мать* (если это не настоящее историческое) и *Иван будет много раз навещать мать* или *Иван много раз навестит мать* (опять-таки, если не считать контекстов со смещением временных планов, ср. *Иван будет много раз навещать мать, пока не поймет, что прошлого не вернуть*). Хотя ‘много раз’ довольно близко к ‘часто’, эквивалентности нет, в частности, и потому, что ‘много раз’ предполагает конечное множество ситуаций, а это возможно лишь применительно к прошедшему времени: чтобы определить, много или мало X, здесь P, нужно иметь в своем распоряжении «для обозрения» все множество X, пусть даже не сосчитанное, но конечное.

14. Примеры показывают и некоторые другие аспекты семантики рассматриваемых второпорядковых предикатов. Один из них заключается в том, что сфера действия предиката ‘обычно’, в отличие от предиката ‘часто’, — не пропозиция в целом, а некоторый семантический компонент, в нашем высказывании выраженный обстоятельством *по пятницам*. Это явствует и из обязательности обстоятельства: высказывание *Иван /74/ /75/ обычно навещает мать* неполно, если нет обстоятельства или не подразумевается противопоставление, ср. *Иван обычно навещает мать, а Мария — отца, Иван обычно навещает мать, а не Мария, Иван обычно навещает мать, а Мария — нет, Иван обычно навещает мать, а не отца*. То же видно из употребления отрицания: *Иван обычно не посещает мать*

по пятницам не означает, что *Иван не посещает мать*, а говорит лишь о том, что это событие не имеет места по пятницам, приходясь на некоторые другие дни недели.

Данные факты показывают реальность «дробности» пропозиций, фактическое развертывание плана содержания на ряд элементарных ситуаций. Действительно, из изложенного выше явствует, что семантика высказывания *Иван обычно посещает мать по пятницам* не представима через одну пропозицию плюс второпорядковый предикат ‘обычно’, т. е. ‘обычно’ (‘посещать’ (‘Иван’, ‘мать’, ‘по пятницам’)). Вместо этого следует говорить о более сложной семантической структуре, которая, впрочем, есть результат упрощения отдельных пропозиций. В виде толкования это можно представить приблизительно так: ‘Иван, посещает мать, и как норма это имеет место по пятницам’. Поскольку, в соответствии с интуитивным пониманием семантики *обычно*, здесь речь идет именно о статистической норме (об абсолютном большинстве случаев), а не о взаимнооднозначном соотношении числа посещений и пятниц (что позволило бы формулировать ‘для всех пятниц верно, что P’), мы не даем формального представления того же значения за отсутствием необходимого аппарата.

Упомянутые выше варианты с противопоставлением, формально эквивалентные введению обстоятельства в том смысле, что они также ликвидируют неполноту высказывания, равным образом показывают и неэлементарность препозитивного строения плана содержания соответствующих высказываний, и подвижность предиката ‘обычно’. Так, высказыванию *Иван обычно навещает мать, а не Y*, соответствует примерно такое толкование: ‘X навещает мать, и X есть Иван, и соответствие $X = \text{Иван}$ есть норма, и соответствие $X = Y$, где $Y \neq \text{Иван}$, не есть норма’. Высказывание *Иван обычно навещает мать, а не Y-а* получает тогда следующее толкование: ‘Иван навещает X-а, и как норма X есть мать, как норма X не есть Y, где $Y \neq \text{мать}$ ’. Аналогично толкуются и другие из приведенных высказываний.

15. Мультипликацию ситуаций нередко усматривают и в высказываниях наподобие *По утрам он пьет кофе на кухне*. С этим следует согласиться, если только не считать, — что встречается, — сам глагол в форме несовершенного вида источником семантики мультипликативности. Несовершенный вид глагола — немаркированный член в видовой паре, он не препятствует выражению семантики мультипликативности (совместим с ней), но сам этой семантики не выражает. В вы-/75/76/ высказываниях типа приведенного выше мультиплицированность выражена с помощью обстоятельственного члена *по утрам*, который передает значение дистрибутивной множественности (см. ниже).

Вообще надо сказать, что представления о множественности, мультипликации действия (ср. [Dressler 1968; Храковский 1986]) нельзя считать вполне адекватными или, по крайней мере, удачно формулируемыми. Действие не поддается квантификации. Оно может иметь фазы, обладать признаками типа интенсивности, длительности и т. п., но не квантифицироваться как целое, ибо как раз целостностью не обладает. Квантифицируются только ситуации. Именно ситуации выступают неделимыми «квантами», относительно ситуаций разумно задавать вопросы «сколько?» или «которая (по счету)?».

Поэтому, мы не склонны при обсуждении данных проблем исходить из понятия «квант действия» [Храковский 1986], ибо ситуация, как сказано, и есть квант для описания действительности.

Таким же образом мы не считаем вполне приемлемым исходить при определении единичности/множественности ситуаций из лексикографического толкования глагола, когда множественностью признается воспроизведение любых «квантов действия». Так, полагают, что *трещать* передает «множественность действий», поскольку в толкование *X трещит* входит нечто вроде 'X издает или каузирует прерывистые резкие глухие звуки, следующие один за другим с короткими интервалами'. Однако при интерпретации семантики глаголов типа *трещать* нужно иметь в виду следующее. Членя ситуацию, как это сделано в толковании глагола *трещать*, мы получаем новые ситуации, вернее, не получаем набора таких же ситуаций, если каждый из вычлененных сегментов, отвечающих определенным временным отрезкам, не сохраняет свойства целостной исходной ситуации. Например, ситуацию, описываемую глаголом *шагать*, можно толковать, скажем, как 'перемещаться, находясь в вертикальном положении, попеременно отталкиваясь от поверхности ногами таким образом, что в каждый данный момент по крайней мере одна нога находится в контакте с поверхностью'. Однако один из компонентов этого толкования — 'отталкиваться ногой от поверхности' — составляет особую ситуацию, которая находится «внутри» ситуации 'шагать' (и может стать объектом внимания как таковая). Поэтому нельзя сказать, что 'шагать' — это мультипликация ситуаций 'отталкиваться [правой] ногой', 'отталкиваться [левой] ногой': это разные ситуации, а мультипликация — воспроизведение идентичных ситуаций.

Точно так же, если в семантике глагола *трещать* каждый из звуков, составляющих треск, сам треском не является (например, звук одного удара палкой по пруту ограды), то нельзя говорить о множественности в случае *трещать*, — это разные ситуации. Если же каждый такой звук сам по себе интерпретируется как треск (например, треск лопающегося льда), то мы просто имеем дело с другой семантикой, которой не

удовлетворяет приведенное толкование, и множественности опять-таки не возникает.

В русском языке, как известно, существуют пары глаголов, в которых, можно считать, формально выражено противопоставление единичности и множественности: *кашлянуть* — *кашлять*, *чихнуть* — *чихать*, *звякнуть* — *звякать* и т. п. Но и здесь в правых членах пар на самом деле нет квантификации, приводящей к множественности. ‘Кашлять’ не равно ‘кашлянуть’ + ‘кашлянуть’ + ... + ‘кашлянуть’, ср. ‘столы’ = ‘стол’ + ‘стол’ + ... + ‘стол’ (не менее двух). Ограничения на употребление *кашлять* и под. — обычные для глаголов несовершенного вида. В то же время в тех контекстах, где употребляются именно глаголы несовершенного вида, отсутствуют ограничения на сочетаемость с квантифицирующим определением (обстоятельством) *один раз*, например: *Он предупреждающе кашляет — всего один раз, просто для порядка, и только после этого входит.*

Следовательно, *кашлять* не связано необходимым образом с мультиплицированием ситуаций, семантика таких глаголов нейтральна по отношению к множественности, поэтому она сочетается с выражением множественности, сама по себе его не выражая и даже не включая.

В отличие от этого, глаголы с суффиксом *-ну-* действительно передают значение единичности, семантика этого суффикса — своего рода квантор единичности. При квантификации ситуаций, как мы видим, нет противопоставления единичности/множественности, как при квантификации объектов, которая обнаруживается в категории числа имен. Здесь, — в сфере глагола, роль скоро ситуацию называет чаще всего именно глагол, — противопоставляется «неопределенное число» — «единственному числу», причем направление производности обратное по сравнению с тем, которое мы наблюдаем на материале имен: образование *кашлянуть* от *кашлять* семантически являет собой демультипликацию, если последнюю понимать как выбор значения единичности из равновозможных — единичности и множественности.

То, что для русского языка релевантно выражение именно единичности ситуаций глагольными средствами, видно из употребления суффикса *-ну-* с глаголами, аналоги которых без *-ну-* никак нельзя представить в качестве результата семантического процесса мультипликации. Так, если ‘кашлять’ (по крайней мере, без учета того, что говорилось выше) еще и можно представить как мультипликацию ‘кашлянуть’, то, скажем, ‘плевать’ заведомо не равно ‘плюнуть’ + ‘плюнуть’ + ... + ‘плюнуть’, поскольку в этом действии вообще нет итерирования прерывистых актов.

Соответственно, мы не усматриваем выражения множественности, мультипликации ситуаций в высказываниях типа *Сегодня /177/178/ студент раздает долги, Больной кашлял ночью, Студент каждый месяц*

раздает долги, Больной кашляет по ночам [Храковский 1986] в русском языке. Точнее, значение мультипликации здесь возможно в контексте, где оно является продуктом взаимодействия глагольной грамматики, лексики, знания конситуации, но не выступает собственным для данных высказываний. Для части приведенных высказываний это видно уже из того, что они могут функционировать в контекстах, которые придают им значение единичности или количественной неопределенности, ср., например, *Больной ночью кашлял? Только один раз (только один раз кашлянул)* — хотя, разумеется, возможен и ответ *Да, всю ночь*. Дело именно в том, что *кашляет, кашлял* нейтральны, немаркированы по отношению к единичности/множественности соответствующих ситуаций, т. е. к их квантифицируемости. Как мы уже видели, семантику мультиплицированности в таких случаях следует отнести на счет обстоятельств типа *по ночам*.

Чрезвычайно важным здесь представляется следующее. Изучая грамматические и, шире, языковые значения, мы занимаемся десигнатами, а не денотатами и референтами знаков, сигнификативными, а не денотативными ситуациями. В таком высказывании, как *Маша все лето готовилась к поступлению в аспирантуру*, разумеется, отражено множество денотативных ситуаций: абсурдно было бы утверждать, что в любой момент отрезка времени, обозначенного как *лето*, имела место реальная ситуация ‘Маша готовится к поступлению в аспирантуру’. Однако в языке, языковыми средствами действия (или состояние) Маши представлены как ситуация, немаркированная с точки зрения единичности/множественности, неквантифицированная — хотя в реальной действительности здесь усматривается либо множество идентичных ситуаций, объединенных в рамках периода T (здесь — лета), либо одна ситуация, прерываемая некоторыми интервалами.

Таким образом, если оставаться в рамках обсуждавшегося выше материала и, кроме того, не учитывать тех случаев, где акцент делается на норме или узусе, то можно сказать, что в русском языке в сфере квантификации ситуаций есть два числа — единственное и неопределенное, обеспечиваемые грамматическими средствами: словообразовательным типом и видом глагола. Такие значения множественности, как дистрибутивная множественность (*Больной кашляет по ночам*), итеративная множественность (*Больной каждую ночь кашляет*) и ряд других [Храковский 1986] передаются лексическими средствами.

16. Однако в русском языке существуют и некоторые другие грамматические средства, как будто бы связанные с семантикой квантификации ситуаций. Во-первых, это словообразовательный тип глаголов с приставкой *по-*; «глаголы с префиксом *по-* обычно указывают на ограниченность действия незна-/78/79/чительным отрезком времени»

[Русская грамматика 1982, I: 598], например: *почитать*, *покурить*. Как трактовать высказывания с такими глаголами с точки зрения квантификации ситуаций? В «Русской грамматике» они квалифицируются как глаголы ограничительного способа действия [Русская грамматика 1982, I: 597]. Исходя из этой характеристики, следует признать, что семантика высказываний с *по-*глаголами не связана с областью квантификации: ситуация здесь одна, только она выступает как ограниченная во времени.

Возможно, однако, что, не имея прямого отношения к сфере квантификации, глаголы ограничительного способа действия указывают на связь ситуаций, хотя и не идентичных: как представляется, в абсолютном большинстве случаев употребление рассматриваемых приставочных глаголов означает, что по окончании называемой ими ситуации осуществляется переход к некоторой другой ситуации; ср. контексты, где это выражено эксплицитно: *Я покурю и приду*, *Он помолчал и продолжил*, *Иван поплевал на руки и взял топор*, *Пусть сам поработает, а потом будет судить* и т. п. (см. ниже, 17 и сл.).

Более непосредственное отношение к квантификации ситуаций имеют высказывания с префиксом *по-* в другом значении и префиксом *пере-* (в одном из его значений). Семантика первого из них трактуется как выражение «поочередного охвата действием нескольких объектов» [Русская грамматика 1982, I: 603]. Сходным образом толкуются и глаголы с префиксом *пере-*, оба типа приставочных глаголов относятся к распределительному (дистрибутивному) способу действия [Русская грамматика 1982, I: 603–604], ср. *поснимать*, *перебить* и т. п.

Согласно В. С. Храковскому, семантику этого типа следует трактовать так: множество однотипных ситуаций совершается в разные периоды времени, причем ситуации имеют не полностью тождественный набор участников [Храковский 1986]. Действительно, *Все подружки Маши повыходили замуж* \cong 'Все X такие, что X есть подруга Маши, вышли замуж, и X_1 вышла замуж в момент T_1 , X_2 — в момент T_2 , ..., X_n — в момент T_n '. Аналогично *Лиса передушила* \cong 'Лиса задушила курицу X_1 в момент T_1 , курицу X_2 — в момент T_2 , ..., курицу X_n — в момент T_n '.

Возможно, для значения данных словообразовательных типов и высказываний с их участием релевантно и то, что множество субъектов или объектов является замкнутым в некотором отношении, конечным, и ситуация распространяется на всех соответствующих участников без исключения, т. е. имеется значение исчерпанности множества. В любом случае здесь квантификация — указание на множественность ситуаций осложнена дополнительными значениями, из которых самым важным, по-видимому, является разновременность (и, возможно, исчерпанность).

Таким образом, ситуационного множественного числа «в чистом виде» в русском языке, скорее всего, все же нет. /79/80/

КОНСИТУАТИВНОСТЬ

17. В последнее время понятие конситуации достаточно широко используется в лингвистических работах. Когда говорят об определении значения тех или иных фрагментов текста, то различают значение, выводимое из грамматических и/или лексических признаков соответствующих языковых единиц, значение, которое дает знание сопутствующего текста, и значение, воспринимаемое благодаря знанию ситуации (внеязыковой). Заметим, что в последнем случае можно различать по крайней мере три типа. Во-первых, существуют «знания о мире», которые позволяют отобрать из множества потенциально возможных интерпретаций те, которые с этими знаниями согласуются. Например, сфера действия определения в сочетании *белокурые финки и китаянки* однозначно фиксируется на основании знаний о мире, согласно которым белокурых китаянок не бывает (человек, не знающий этого, может дать неверную интерпретацию: ‘белокурые финки и белокурые китаянки’).

Во-вторых, для адекватной семантической интерпретации может оказаться необходимым знание именно той ситуации, которая описывается данным высказыванием, или же ситуации общения, в которой она описывается. Например, лексическая омонимия *сплошь и рядом* разрешается именно на основе ситуативного знания; так, высказывание *Куда исчез ключ?*, произнесенное дома, на работе и т. п., конечно, однозначно понимается как относящееся к дверному ключу, хотя в принципе может исчезнуть и ключ-родник.

В-третьих, семантическая интерпретация может осуществляться на основании знания сопутствующей, чаще всего предшествующей ситуации. Например высказывание *Его нет (Где Иванов?)* может пониматься и как ‘еще нет’ и как ‘уже нет’, в зависимости от того, был ли Иванов в данном месте до момента речи. По существу, только применительно к данному типу использование термина «конситуация» оправдывает себя, ибо только здесь мы действительно имеем дело с сопутствующими (кон-)ситуациями.

Как можно видеть, знание сопутствующей ситуации дает возможность снимать неоднозначность и давать адекватную семантическую интерпретацию высказыванию и тексту. Иными словами, в этом случае мы, идя от знания ситуации, делаем заключение о семантике высказывания и текста (а из этого, в свою очередь, получаем знание о новой ситуации). Но возможен и в определенном смысле противоположный путь: семантика высказывания дает нам знание не только о ситуации, непосредственно ею описываемой, но и некоторых других, тем или иным образом сопутствующих. Представляется, что и применительно к этому случаю уместно использование понятия и термина «конситуация» и, соответственно, «конситуативность». Конситуативность

в этом смысле — соответствие одному высказыванию, не являющемуся сложным, «осложненным» и т. п. предложением, более одной ситуации, одна из которых эксплицитно описывается высказыванием, а другая (другие) с необходимостью предполагается (имплицитруется).

Таким образом, говоря о квантификации ситуаций, мы имели дело с двумя или более тождественными ситуациями, в то время как сейчас речь идет о связи между разными ситуациями. Сходство же заключается в том, что множеству ситуаций в обоих случаях отвечают высказывания, которые с грамматической точки зрения представляют собой элементарные синтаксические конструкции, простые предложения.

17.1. Очевидно, что к конситуативным относятся все высказывания с пресуппозитивной частью в их семантическом представлении: пресуппозиции отвечает особая ситуация. Например, Е. В. Падучева дает пример *В два часа Джон начал работать*, в семантическом представлении которого усматриваются пресуппозиция ‘В некоторый момент до двух часов Джон не работал’ и следствие ‘В некоторый момент после двух часов Джон работал’ [Падучева 1985: 61]. И пресуппозиции, и следствию отвечают самостоятельные ситуации, причем пресуппозитивная ситуация является предшествующей, а следствие — последующей во времени ситуацией (в данном случае несущественно, что одна из ситуаций есть отсутствие конкретной другой).

Заметим, что возникает вопрос: что же является ассертивной частью? Или семантика высказывания в этом случае сводится к пресуппозиции и следствию (не считая рамок, временных и аспектуальных операторов, отрицания, лексической семантики)? Если исходить из того, что ассертивной является поддающаяся отрицанию часть, то ассерция должна совпасть со следствием, так как *В два часа Джон не начал работать* значит ‘В некоторый момент до двух часов Джон не работал и в некоторый момент времени после двух часов Джон не работал’ [Падучева 1985: 61]. Правда, в толковании высказывания с отрицанием, как представляется, видно, что семантика высказывания не сводится к пресуппозиции и следствию: если бы такое сведение было действительным, то чем бы отличалось толкование высказывания *В два часа Джон не начал работать* от толкования *Джон не работал ни до двух часов, ни после?* Хотя денотативно ситуации двух высказываний, скорее всего, совпадают, сигнификативная разница между ними достаточно явственна, и различие должно отражаться в толковании.

Для отрицательного высказывания толкование будет более полным, если мы введем в него еще один компонент наподобие ‘Предполагалось, что с двух часов Джон будет работать’. Очевидно, это еще одна пресуппозиция. Действительно, вряд ли естественно (не аномально) высказывание *В два часа Джон не начал работать*, если ни Джон, ни кто-

либо другой не предполагали, что данное событие будет иметь место с 2-х часов (и, вероятно, далее). /81//82/

17.2. Но для обоих высказываний — утвердительного и отрицательного — полнота толкования будет достигнута тогда, когда мы эксплицитно введем связки — операторы коннекторного типа, которые устанавливают тип отношений между компонентами толкования. Обычно компоненты просто сопологаются, и связь между ними никак не оговаривается. Даже если молчаливо считается, что связь — всегда конъюнкция, это стоит оговаривать явным образом. В логике, в исчислении высказываний истинностное значение конъюнкции, дизъюнкции и других отношений между высказываниями (пропозициями) выводится по известным правилам из истинностных значений высказываний-компонентов, но не сводится к ним. Поэтому без правил вывода рассматривать «общее» значение формулы, состоящей минимум из двух компонентов, очевидным образом невозможно. Аналогично и в лингвистической семантике, когда толкование включает более чем одну пропозицию (считая не только собственно пропозиции, но также пресуппозиции, следствия и т. д.), следует отдельно учитывать связки между ними. Тогда ассерция будет относиться к связке, точнее, к типу связи между пропозициями, отражаемому связкой.

Представляется, что такой подход хорошо соответствует интуиции: когда мы говорим *X начал работать*, то имеем в виду, что во время T_1 *X* не работал, а во время T_2 работал; фаза указывает на качественный рубеж, поэтому простым соположением значений ‘*X* не работал’, ‘*X* работал’ семантика фазы не передается. Требуется связка, противопоставляющая качественно отрезки времени до и после некоторого момента. Вероятно, следовало бы ввести особую связку контрастивной конъюнкции наряду со связкой «обычной» конъюнкции.

Одной лишь конъюнкцией в любом случае не обойтись. Например, толкование предиката ‘ультиматум’ (точнее, ‘предъявлять ультиматум’) будет выглядеть примерно так: *X предъявляет ультиматум Y-у* \cong ‘*X* хочет каузировать *Y*-а сделать *P* и сообщает, что если *Y* не сделает *P*, то *X* причинит *Y*-у ущерб’. При любых модификациях этого толкования (которое, конечно, нельзя считать оптимальным) связка ‘если, то’ в нем останется (см. [Богуславский 1985: 16]), т. е. без эксплицитного введения связи следования развернуть предикат в толкование невозможно.

Связки — это синтаксис семантики. Коль скоро от связки зависит результирующее толкование семантически сложных высказываний и, более того, результирующее значение, — это, по существу, значение связки, синтаксис семантики оказывается семантизованным. Поэтому мы не можем согласиться с положением [Апресян 1980; 1983], согласно которому синтаксис в семантике асемантичен, а вся информация в толковании передается употреблением соответствующих семантических

единиц²⁴. Как всякий самостоятельный уровень, семантика обладает не только единицами, но и собственным синтаксисом. /82//83/

СТРУКТУРНАЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМАНТИКИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

18. Термы, входящие в состав пропозиции, формируют определенную структуру. Эта структура иерархична: прежде всего, термы обладают рангами — первым, вторым и т. д. Каковы основания, которые позволяют нам судить об этом и определять ранги термов?

Пропозиция и, шире, семантическое представление высказывания, — это языковой аналог неязыкового образования, фрейма, т. е. структуры, с помощью которой человек организует поступающую информацию. Фрейм, как мы видели («Введение», п. 6.3), — иерархическая структура, его терминалы можно представить как ответы на вопросы типа «что (кто) причина данного действия?» и т. п., причем эти вопросы неравноценны по своей релевантности для человека, отсюда и основной источник их ранжированности, иерархичности. Естественно, что при «оречевлении» информации языковое воплощение фрейма при всех необходимых модификациях должно удерживать его общую структуру.

Вместе с тем, у нас нет никаких средств обнаруживать непосредственно тип иерархии, присущий структурной организации семантики высказывания. Поэтому для выполнения данной задачи существуют, по-видимому, два пути (которые никоим образом не исключают друг друга, — напротив, предполагается использование обоих). Первый основан на чисто-интуитивном установлении иерархических «весов» термов пропозиции. Так, с интуицией любого носителя языка, любого лингвиста будет в согласии решение, согласно которому порядок термов в пропозиции ‘дарить’ (‘Иван’, ‘книги’, ‘брат’) отражает их иерархию: «самый старший» терм — первый и т. д. Как при всяком гипотетическом решении, опирающемся на интуицию, необходима проверка практикой, которая в данном случае заключается в изучении всех следствий из постулированного типа иерархии для описания языка.

Второй путь основывается на предположении о том, что языку в довольно высокой степени присуще свойство иконичности; подобно тому как, скажем, при зрительном восприятии формируемый человеком образ топологически воспроизводит внешнее пространство, так и на следующих

²⁴ Вероятно, расхождения с точкой зрения, отстаивающей отсутствие синтаксиса в семантике, не будет, если посчитать логико-семантические связки такими же «словами», как и все прочие употребляющиеся в толковании семантические элементы. Однако разница та же, что и между грамматикой и лексикой: их тоже в принципе можно не разграничивать, но мы утратим при этом некоторую важную информацию.

этапах переработки информации: основные соотношения сформировавшейся структуры «переносятся» не только в семантическое представление высказывания, но и в его синтаксическое представление. Синтаксическая же структура уже поддается — в определенной степени — наблюдению. Следовательно, в меру адекватности изложенного предположения, мы можем делать некоторые заключения о семантической структуре, основываясь на наблюдениях над структурой синтаксической.

Разумеется, здесь необходимы весьма существенные оговор-^{/83//84/}ки. Самая важная из них заключается в том, что семантическая структура изоморфна (частично) далеко не всякой синтаксической. Среди всех синтаксических структур, действительных для данного языка, всегда можно выделить такой их набор, в который входят наиболее простые, элементарные, не являющиеся результатом тех или иных преобразований, нейтральные (т. е. лишённые эмфазы) структуры. Именно последние могут служить источником гипотез о структурной организации семантики высказывания. Если вернуться к пропозиции ‘дарить’ (‘Иван’, ‘книги’, ‘брат’), то из синтаксической структуры *Иван дарит книги брату* можно извлечь достаточно «намеков» на иерархическое соотношение термов. Так, слово Иван позиционно и морфологически обнаруживает свое старшинство, аналогично обнаруживаются «веса» и двух других слов. Поскольку конструкция несомненно принадлежит к числу элементарных, ядерных, прототипических, морфосинтаксическая информация, скорее всего, релевантна для решения семантических вопросов. В данном случае это решение очевидным образом совпадает с тем, которое мы получаем путем непосредственного обращения к интуиции.

Другая оговорка относится к тому, что информация об иерархии термов внутри пропозиции не должна пониматься как установление самостоятельных единиц в абсолютном семантическом пространстве языка. Иерархия этого рода указывает лишь на отношения внутри каждой данной пропозиции.

Возможна ли и необходима ли некоторая абсолютная иерархия семантических единиц, выступающих в качестве термов пропозиции? Если да, то как ее можно установить? Здесь также может помочь обращение к синтаксису, к грамматике. Можно объединить в классы пропозиции по местности их предикатов, т. е. по числу входящих в них термов, а затем обратиться к рассмотрению синтаксических структур, отвечающих каждому классу. Далее можно выделить те термы, которые получают одинаковое морфосинтаксическое выражение. В результате мы получим те категории, которые традиционно выделяются в языкознании под именем «субъект», «объект», «адресат» и т. п. В соответствии с одной из существующих традиций мы будем называть их «семантические роли». Подчеркнем, что при обрисованном здесь подходе наборы семантических ролей в разных языках вовсе не обязательно будут тождественны. В

частности, для эргативных языков не будет выделено такой семантической единицы (семантической категории), как субъект, — вместо этого в семантической системе языка мы обнаружим, скажем, категории субъекта действия и субъекта состояния, не сводимые друг к другу.

19. Семантическая структура, которая устанавливается в результате ранжирования термов пропозиции и присваивания каждому из них квалификации «субъект», «объект» и т. п., направлена преимущественно вовне в том смысле, что призвана /84/85/ в первую очередь отразить устройство фрагмента действительности, который описывается высказыванием. Ее — неизбежная — субъективность носит главным образом «коллективный» характер: структурирование внешнего мира средствами языковой семантики осуществляется согласно закономерностям, присущим языку данного коллектива (народа, этноса). Но язык должен предоставлять говорящему и средства такой организации высказывания, которые отражали бы его индивидуальное видение, его точку зрения на то, что является отправным пунктом сообщения, чем он пополняет тезаурус, т. е. запас знаний, слушающего.

Поскольку структура, возникающая в результате использования таких средств, непосредственно связана с информационными взаимоотношениями между говорящим и слушающим, т. е. с процессом коммуникации, а не только отражения, ее уместно считать и называть коммуникативной.

19.1. Пожалуй, более известен другой термин: актуальное членение предложения. В настоящее время обзор истории вопроса, связанного с понятием актуального членения предложения (и близкими к нему), освещение всех высказанных в литературе точек зрения становится предприятием достаточно затруднительным. Поэтому нам придется отказаться от мысли представить все или даже основные концепции в данной области²⁵. Вместо этого мы предпримем попытку свести в некоторую систему понятия, относящиеся к данной сфере.

Возможно, начать надо с того, что этот термин, по крайней мере, русский аналог введенного В. Матезиусом соответствующего чешского термина, нельзя признать удачным. Хотя, разумеется, термин значит в точности то, что мы в него вкладываем, и ничего более, при употреблении терминосочетания его компоненты сохраняют по крайней мере свои коннотации. В каком же смысле можно понимать «актуальность» членения предложения в данном случае? Чаще всего полагают, что речь идет о таком членении предложения, которое актуально для данного контекста. Иначе говоря, считается, что предложение можно расчленить разными способами, но в конкретном контексте реализуется один из них. Следует только добавить, что имеется в виду не всякое членение предложения, а

²⁵ О концепциях, разрабатываемых в рамках наиболее известного варианта теории актуального членения — «пражского», см., например, [Firbas 1983; Hajičová 1983].

выделение в его составе темы и ремы; тема — это то, о чем говорится в предложении, а рема — то, что сообщается по поводу темы.

Приходится констатировать, что, вопреки пониманию актуального членения предложения Матезиусом и др., первая часть изложенного толкования — связанность с контекстом, — которая и оправдывает эпитет «актуальное», нередко не учитывается, и в определении, если оно вообще дается, остается только вторая часть, связанная с трактовкой понятий темы и ремы.

Но уже сами по себе представления о том, что предложения (высказывания) можно членить различным образом при сохранении их синтаксической структуры, по крайней мере нуждается в определенной корректировке. Прежде всего, здесь не различаются аспекты речевой деятельности — речепроизводство и речевосприятие. С точки зрения порождения речи, семантика предложения (высказывания) задается до выбора синтаксической структуры, а один из первых этапов семантического структурирования — вычленение темы сообщения (см. об этом гл. V). Так что с этой точки зрения нет никаких оснований утверждать, что «готовый» синтаксис модифицируется применительно к коммуникативно-семантическим задачам, определяемым контекстом.

В плане восприятия речи предложение не существует вне своего контекста, а в данном контексте предложение, — если в нем нет неумышленной или умышленной неоднозначности, — может члениться, как правило, одним-единственным образом.

В чем же тогда смысл утверждений о «лабильности» структуры предложения при подходе к нему с точки зрения актуального членения? Эти утверждения отражают не аспекты речевой деятельности, а позицию лингвиста, анализирующего текст, и, скорее, даже не текст, а изолированное предложение, «помещенное» в текст. Действительно, такое предложение, особенно если оно записано, лишено просодических характеристик, может трактоваться по-разному, т. е. в нем по-разному могут выделяться тема и рема в зависимости от того, в рамках какого потенциального текста (контекста) мы его себе представим. Синтаксическая структура предложения при этом не меняется, что и создает впечатление об актуальном членении как о чем-то «надстраиваемом» над синтаксической структурой.

О том, вполне ли справедливы представления о неизменности синтаксической структуры при изменении актуального членения, будет сказано ниже. Сейчас же попытаемся выяснить, можно ли применить кратко и схематически изложенную концепцию к описанию системы языка и речевой деятельности (а не к тому, как «обращается» лингвист со своим материалом, как видит его).

19.2. Начать можно с того, что традиционные определения темы и ремы — «то, о чем говорится» и «то, что говорится» — полностью

воспроизводят классическое, восходящее к Аристотелю определение субъекта и предиката суждения в логике²⁶ (во всяком случае, в классической логике). Уже из этого следует, во-первых, что если мы используем при описании семантики категории субъекта и предиката и, наряду с этим, понятия темы и ремы, то нужно отчетливо понимать и оговаривать различие между ними или же эксплицитно признать их эквивалентность; во-вторых, если не сводимость, то уже сама по себе несомненная близость, однопорядковость темы и субъекта, ремы и предиката ясно указывают на семантический характер категорий актуального членения. Из последнего, в свою очередь, вытекает, что выражение «актуальное членение предложения» по крайней мере неточно и в этом отношении, ибо членению подвергается не предложение как таковое, а его семантическое представление.

Но и последняя формулировка скорее всего не вполне корректна. Дело даже не в том, что едва ли уместно говорить о членении — операции линейной по своему смыслу — применительно к семантическому представлению, для которого более свойственна нелинейность. Просто в тех реальных случаях, для которых и возникает необходимость в понятии типа актуального членения, мы на самом деле ничего не членим, причем, вероятно, не только как носители языка, но и как лингвисты.

19.3. Вспомним еще раз о соотношении понятий «тема» и «субъект», «рема» и «предикат». Мы склоняемся к тому, что нет ни необходимости, ни даже возможности различать эти понятия: большая ясность будет достигнута, если мы эксплицитно отождествим их для одной из реально существующих трактовок субъекта и предиката. Как уже отмечалось, в логике существует и по сей день аристотелевское понимание субъекта и предиката. Важнейшая особенность этого понимания заключается именно в том, что здесь семантика любого высказывания, «равная» одному суждению, представима как включающая два, и только два, компонента — субъект и предикат. Применительно к семантике, возможно, акцент следует делать на вычленении (выделении) темы: тема как предмет сообщения противопоставляется «всему остальному», а «все остальное», в свою очередь, может быть суждением²⁷. Коль скоро внетематическая часть семантического представления высказывания сама может выступать в виде суждения (пропозиции), то она, соответственно, будет в этом последнем случае обнаруживать собственную внутреннюю структуру — свой субъект и предикат. Субъект внетематической части или же какой-то другой ее компонент обязательно связан с первоначально

²⁶ Для ремы даже термин используется тот, который Аристотель употреблял для предиката (глагола) и от которого «произошло» русское *сказуемое*.

²⁷ По существу, только в этом — применительно к толкованию категории ремы — мы видим реальное расхождение между традиционными логическими и отстаиваемыми здесь семантическими представлениями.

выделяемым субъектом-темой, или метасубъектом, высказывания (например, как часть и целое, обладатель и обладаемое), а может и просто дублировать его.

19.3.1. Прежде чем перейти к несколько более детальному изложению настоящей трактовки коммуникативной организации семантики высказывания, обсуждению следствий, вытекающих из нее для семантики и синтаксиса, приведем некоторые простые примеры. В предложении *Тетя подарила Маше бусы*, рассматриваемом в контексте, где предыдущее предложение — скажем, *На день рождения Маши пришли все родственники*, темой-субъектом выступает ‘тетя’, а ремой-предикатом — ‘подарила Маше бусы’. В предложении *Эти бусы подарены Маше тетей* из контекста наподобие *Маша очень любит свои янтарные бусы* тема-субъект — ‘эти бусы’, а рема, сама являющаяся суждением, — ‘тетя подарила Маше эти бусы’. Тема здесь дублирует компонент внетематической (рематической) части — ‘эти бусы’. /87/88/

В бирманском предложении *тахкан³ га¹ чано² доу¹ пхэй² пхэй² нэ¹ мэй² мэй² доу¹ эй⁴ ча¹ ба² дэ²* ‘В одной из комнат спят наши папа и мама’, букв. ‘Одна комната [показатель слова-темы] наши папа и мама спят’ формально помеченная специальным показателем тема — ‘одна комната’, а рема, т. е. внетематическая часть, — ‘наши папа и мама спят [в этой комнате]’. Рема сама выступает суждением, в нем есть компонент, здесь показанный в квадратных скобках, чтобы отметить его «поверхностную» невыраженность, который дублирует тему (точнее, вероятно, кореферентен теме).

Приведенные примеры, вполне обычные, думается, уже отчасти показывают направление дальнейшего анализа интересующих нас понятий. Семантическая сущность того, что называют актуальным членением предложения, заключается прежде всего в обособлении темы сообщения. Это действительно и для порождения, и для восприятия речи; говорящий как бы делает заявку ‘Я буду говорить об X’, или ‘X является темой моего сообщения’, а слушающий аналогичным образом в тексте определяет, на какую тему, по поводу чего делает сообщение говорящий. Это отдельная семантическая операция и для говорящего в процессе речепроизводства, и для слушающего в процессе речевосприятия, и можно считать, что ей тоже соответствует самостоятельное суждение, самостоятельная пропозиция с одноместным предикатом-константой ‘...есть тема’, ‘...является темой’.

19.3.2. При такой трактовке мы делаем еще один «шаг в сторону» по отношению к традиционной аристотелевской дихотомии субъект/предикат. Всякое высказывание оказывается в этом случае включающим в свой состав два суждения, из которых первое имеет константный предикат. Тогда фигурировавшее выше высказывание *Тетя подарила Маше бусы* в качестве своего семантического представления тоже будет иметь два суждения: ‘Тетя есть тема сообщения’ и ‘Тетя подарила Маше бусы’. По-

видимому, семантическое различие с точки зрения актуального членения между разными высказываниями при обрисованном подходе будет заключаться в том, с чем во внетематической части связана тема — субъект суждения при предикате-константе ‘является темой’. Для высказывания *Тетя подарила Маше бусы* наблюдается соответствие ‘субъект₁’ = ‘субъект₂’, в то время как для высказывания *Эти бусы подарены Маше тетей*, для приводившегося выше бирманского высказывания субъект-тема соответствует несубъектному компоненту внетематического суждения. На том, с компонентом какого типа в составе внетематического суждения связана тема, может основываться типология высказываний с точки зрения актуального членения.

Наконец, надо сказать, что если в разных языках, как отмечалось выше, может быть вместо одного субъекта несколько не совпадающих семантических категорий наподобие «субъекта /88/89/ действия», «субъекта состояния» и т. п., субъект-тема — компонент семантики любого языка. В зависимости от того, какими другими «субъектоподобными» единицами располагает данный язык, субъект-тема либо совпадает с единственным существующим в языке субъектом, отличаясь от него лишь в конкретных конструкциях — синтагматически, либо входит в своего рода «систему субъектов» языка на правах ее особого члена.

19.3.3. Хотя актуальное членение (коммуникативная организация), как видно из изложенного, имеет семантическую природу, это не значит, что здесь нет точек соприкосновения с синтаксисом. Мы остановимся сейчас лишь на тех аспектах синтаксиса, которые с необходимостью должны рассматриваться сквозь призму семантики.

Начнем с того, что не вполне точно традиционное представление, согласно которому различия в актуальном членении предложения в типичном случае не затрагивают синтаксическую структуру, оставляя ее неизменной. Наиболее простая ситуация — изменение позиции того или иного члена высказывания, например, вынесение его вперед, очень часто делает инвертированный компонент представителем темы. Поскольку линейная структура — несомненный признак синтаксического строения, инверсия, связанная с тематизацией, очевидным образом небезразлична для синтаксической структуры. Хорошо известны и тесные отношения, связывающие сдвиг в актуальном членении с активно-пассивными преобразованиями конструкций, что уже выходит за пределы линейного синтаксиса (см. об этом также гл. III, п. 26.1.2).

Самым же существенным образом сказывается на синтаксической структуре изменение актуального членения, пример которого представлен выше бирманским высказыванием (см. п. 19.3.1). Специфичность такого высказывания заключается в том, что слово, отвечающее теме — слово-тема, — здесь вообще не входит в его синтаксическую структуру. В самом деле, если оперировать традиционными членами предложения, то в

качестве какого члена можно трактовать слово *такхан*³ ‘одна комната’ в нашем примере? Его нельзя квалифицировать как обособленное, инвертированное обстоятельство места, потому что оно не имеет и не способно в данном случае иметь синтаксическое оформление, которое указывало бы на обстоятельство места. Не может это слово служить и подлежащим, так как подлежащее требует семантического согласования со сказуемым, здесь же сказуемое — *эй⁴ ча¹ ба² дэ²* ‘спят’, семантически и формально согласующееся с подлежащим (группой подлежащего) *чано² доу¹ пхэй² пхэй² нэ¹ мэй² мэй² доу¹* ‘наши папа и мама’. Следовательно, обособленный член *такхан*³ ‘одна комната’ в сопровождении показателя слова-темы *га¹* не входит в синтаксическую структуру предложения. Постулированная выше двупропозиitivность любого высказывания (наличие двух суждений в его семантической структуре) находит в данном случае свое «поверхностное» выражение: синтаксически высказывания этого типа состоят из двух самостоятельных частей.

Во многих других языках, в том числе в русском, такие высказывания, особенно в разговорном языке, тоже возможны и, более того, довольно широко распространены, например, *Медведи — они такие милые*. Разница с бирманским примером заключается в том, что, во-первых, тема при ее обособлении, которое выводит соответствующее слово за пределы синтаксической структуры предложения, обязательно дублируется в составе «основной» части высказывания местоимением; во-вторых, такое местоимение чаще всего соответствует субъекту (внетематического компонента), т. е., иначе говоря, между темой и связанным с ней компонентом внетематической части типично соотношение ‘субъект₁’ = ‘субъект₂’. Однако в принципе возможны и другие соотношения. Например, наше бирманское высказывание в русской разговорной речи вполне может быть передано так: *Одна́ комната — в ней наши папа и мама спят*. Обязательным, как видим, является лишь воспроизведение темы местоимением в «основной» части высказывания, которая в этом смысле не терпит эллиптичности, нормативной для бирманского языка (точнее, в бирманском языке отсутствие местоименного дублирования вообще не расценивается как эллипсис).

Надо сказать, что более или менее обязательное воспроизведение темы местоимением известно во многих языках. Так, в индонезийском языке существует многократно описанная (см. особенно [Прокофьев 1973]) конструкция типа *Orang itu namanja Amir* ‘Этого человека зовут Амир’, букв. ‘Этот человек — имя-его Амир’. В конструкциях этого вида слово-тема практически обязательно дублируется местоименной энклитикой, *-nja* в приведенном примере. Споры идут обычно относительно грамматической квалификации конструкций: считать их синтаксически простыми или сложными, где роль сказуемого выполняет предложение, в нашем случае *namanja Amir* ‘его имя — Амир’ [Прокофьев 1973]. Для

описания подобных явлений — вынесения в препозицию некоторого члена предложения с одновременным обособлением и тематизацией употребляется и особый термин — пролеписис, используемый, в частности, авторами-иранистами [Боголюбов 1965]²⁸.

С нашей точки зрения, адекватная трактовка этого и сходных явлений должна исходить из, во-первых, одновременного рассмотрения двух планов — семантического и синтаксического в их соотнесенности, а, во-вторых, из эксплицитного признания собственно синтаксической специфики высказываний, которая заключается в выведении слова-темы из рамок синтаксической структуры предложения. Тем самым семантический процесс тематизации, который состоит в обособлении темы путем придания соответствующему элементу собственного предиката ‘является темой’, здесь проявляется и в синтаксическом обособлении, т. е. невхождении слова-темы в синтаксическую структуру предложения²⁹.

В свете развиваемых здесь представлений можно, думается, описать непротиворечиво и семантику высказываний, в которых, согласно довольно распространенным взглядам, отсутствует тема. Например, таковыми признают высказывания с постпозицией подлежащего наподобие *стучит дятел, горит восток зарею новой*, а иногда и бесподлежащие неопределенно-личные высказывания типа *продают помидоры* [Николаева 1982; Русская грамматика 1982, II]. Одним из доказательств атематичности высказываний считают то, что они не отвечают на вопросы *кто стучит? что горит зарею новой? что продают?* соответственно, а, скорее, на вопрос *что происходит?* Иными словами, высказывания такого типа описывают как бы нерасчлененную, глобальную ситуацию [Русская грамматика 1982, II: 195–196].

Если сохранять аристотелевское определение темы как «того, о чем говорится», то признание атематических высказываний имеет довольно странный результат: допускаются тем самым высказывания, в которых либо говорится «ни о чем», либо «неизвестно о чем». В то же время не только «по букве», но и «по духу» определения кажется очевидным, что, скажем,

²⁸ Этот термин употребляют и в несколько ином смысле: применительно к «предвосхищающим» (= пролептическим) элементам главным образом местоименного характера, т. е. катафорическим; иначе говоря, в последнем случае местоимение и кореферентный ему член позиционно меняются местами.

²⁹ Возможно, сходным образом следовало бы трактовать и русские конструкции типа *Талант — это редкость*: считать в приведенном примере *талант* словом-темой, не входящим в синтаксическую структуру высказывания, а *это* — первым актантом (подлежащим) при нулевой связке. В противном случае приходится утверждать, как это делает академическая грамматика, что в русском языке имеются связки *это, это есть, это и есть* и т. п., [Русская грамматика 1982, II: 284], что вряд ли выглядит убедительно. Заметим, что дублирующее тему местоимение может и не выступать традиционным подлежащим, особенно в разговорном языке, ср. *Талант — его еще разглядеть надо*.

в высказывании *стучит дятел* говорится о дятле [Касевич 1984b]. Однако верно и утверждение о том, что высказывание этого типа отвечает на вопрос *что происходит?*, и здесь можно действительно усмотреть указание на акцентирование ситуации *en bloc* без вычленения ее составляющих.

Можно представить себе два варианта решения вопроса (и оба они основаны на положениях, сформулированных выше). Первый состоит в том, что в качестве темы мы признаем не выраженный в высказывании «неопределенный локализатор» типа ‘здесь’; чаще всего он указывает на локализацию речевого акта. Действительно, когда некто говорит *стучит дятел*, то он фактически описывает — с данной точки зрения — ситуацию в том месте, где он находится, реально или мысленно, или как-то «отсчитывающуюся» от этого места: *Здесь (там, недалеко от меня, вдалеке) стучит дятел*. Соответственно темой будет ‘здесь’ и т. п., а ремой — ‘стучит дятел’.

При втором варианте решения мы можем исходить из того, что, как мы видели, при переходе от семантики к синтаксису может происходить, и чаще всего происходит, своего рода «втягивание» [Касевич 1984b] синтаксического соответствия темы в общую структуру высказывания, когда имеет место его совмещение с кореферентным ему компонентом ремы, т. е. ‘Иванов есть тема : моего сообщения]’ + ‘Я могу положиться на Иванова’ → *На Иванова я могу положиться*. Не исключено, что «втягивание» может иметь своим результатом включение субъекта-темы в состав предиката-ремы, ведь последний в любом случае есть предикат как функтор плюс несубъектные термы. В «атематических» высказываниях предикат-рема, при выборе данной /91//92/ трактовки, включает («втягивает» в себя) и субъектный терм.

Вероятно, предпочтительнее первый из обрисованных вариантов решения. Если мы не готовы расстаться с принятым определением темы, то едва ли допустимо в принципе говорить об атематических высказываниях.

Роль и функционирование темы и ремы в процессах речевой деятельности будут освещены в главе V. /92//93/

Глава II

СИНТАКСИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЯЗЫКА

О ГЛУБИННОМ СИНТАКСИСЕ

1. В пределах синтаксического компонента языка нередко различают два субкомпонента — глубинно-синтаксический и поверхностно-синтаксический. Глубинный синтаксис — это субкомпонент, который описывает все связи между словами высказывания таким образом, чтобы высказывание могло получить единственную семантическую интерпретацию — настолько, насколько это зависит от самих связей; иначе говоря, неоднозначность глубинно-синтаксического представления высказывания может иметь своим источником лишь неоднозначность участвующих в нем лексем.

Естественным путем достижения «синтаксической» однозначности является сведение высказывания к структуре из элементарных предикативных конструкций. Подробнее об этом понятии будет говориться ниже. Сейчас лишь отметим, что элементарность конструкций заключается в том, что в каждой из них имеется ровно одна лексема предикатной семантики с зависящими от нее словами. Иначе говоря, каждой пропозиции семантического представления сопоставляется самостоятельная синтаксическая конструкция.

Данное требование носит принципиальный характер; именно несоблюдение этого требования вызывает, с нашей точки зрения, разногласия относительно того, как следует объяснять неоднозначность некоторых высказываний. Так, например, утверждается, что высказывание *Мальчик не болел 5 дней* имеет два осмысления: (а) ‘Мальчик был здоров в течение 5 дней’ и (б) ‘Мальчик болел менее 5 дней’. С трактовкой можно согласиться, если отвлечься от того, что разные осмысления нормально связаны с разным просодическим оформлением (второе из них предполагает просодическое выделение глагола)¹. Предлагаются два способа отражения указанной неоднозначности: либо конкретно учитывать вхождение/невхождение обстоятельственной составляющей в сферу действия отрицания, т. е. давать структуру ‘...не ← болел → день...’ для первого значения и ‘...не ← [болел → день...]’ — для второго, либо же вообще, в принципе учитывать в глубинно-синтаксическом представле-

¹ Можно также заметить, что второй из указанных трактовок более естественно соответствовало бы высказывание *Мальчик не болел [и] 5-ти дней*.

/93//94, нии не только зависимости, но и объединение лексем в рамках некоторых составляющих (см. об этом [Апресян 1980: 97–98]).

Представляется, что различие в семантической интерпретации приведенного высказывания удобнее всего выразить именно за счет максимального «дробления» синтаксиса, которое отвечало бы тому «дроблению» семантики, о котором говорилось в предыдущей главе (п. 14). В нашем примере сведение высказывания к набору последовательно элементарных конструкций с указанием связей между ними будет выглядеть так: ‘Мальчик болел’ + ‘Это было (длилось) 5 дней’. Тогда разница в значениях будет точно описываться тем, к какой из элементарных конструкций относится отрицание, ср. (а) ‘Мальчик не болел’ + ‘Это было (длилось) 5 дней’, где ‘это’ относится к конструкции, включающей отрицание, и (б) ‘Мальчик болел’ + ‘Это не было (не длилось) 5 дней’. В глубинном синтаксисе именно таким элементарным семантическим конструкциям будут сопоставлены элементарные же синтаксические конструкции. Глубинный синтаксис при указанном подходе — первый этап в «подыскивании» языковых средств выражения для в основе своей сформировавшихся семантических структур.

Из изложенного явствует одновременно, что в глубинном синтаксисе должно широко использоваться «вложение» одних конструкций в другие: ‘это’ во второй из представленных выше конструкций соответствует конструкциям ‘Мальчик болел’, ‘Мальчик не болел’, заменяет эти конструкции в составе данной, т. е. налицо «вложение» одной конструкции в другую. «Вложение», или «вставление» конструкций — одна из наиболее распространенных синтаксических трансформаций, которые тем более необходимы, чем значительнее выражена «дробность» конструкций глубинного синтаксиса и чем больше структурных различий между глубинно-синтаксическим и поверхностно-синтаксическим представлениями предложения (высказывания). Эти вопросы будут обсуждаться в особом разделе настоящей главы (п. 10.3).

ПРОБЛЕМА ЕДИНИЦ СИНТАКСИСА

2. Главное отличие поверхностно-синтаксического субкомпонента от глубинно-синтаксического заключается в том, что он оперирует единицами, от которых уже не требуется соотношения с семантическими структурами, близкого к взаимно-однозначному.

Любой самостоятельный компонент (субкомпонент) языка — относительно замкнутая система, т. е. набор элементов, связанных определенными отношениями, и правил их функционирования. Что же выступает в качестве базовых элементов, единиц поверхностного синтаксиса? (В дальнейшем изложении мы будем опускать определение, говоря просто о «синтаксисе».)

Для ответа нужно задать обычный «вспомогательный» воп-^{/94//95/}рос: для чего существует синтаксис как особый компонент языка, каковы те функции, которые могут выполняться синтаксисом и только им? В общих чертах именно и только синтаксис должен дать такую грамматическую форму, с помощью которой можно передать сообщение. Последняя задача может быть выполнена исключительно в ы с к а з ы в а н и е м .

2.1. Вместе с тем высказывание довольно трудно счесть единицей. Оно слишком вариабельно, неопределенно. Ведь высказывание, согласно определению, данному уже дескриптивистами, — это любой обращенный к собеседнику отрезок речи (текста), отделенный с двух сторон молчанием или сменой собеседников (ср. также [Бахтин 1987]); и то и другое в определении можно толковать как потенциальные молчание и смену собеседников. Поэтому целесообразно ввести два ограничения на природу высказывания как единицы: с одной стороны, нас должно интересовать в данной связи высказывание минимальное, с другой — неэллиптическое. Ограничения связаны друг с другом: неэллиптичность означает, что высказывание может существовать без опоры на контекст, автономно, а минимальность — что высказывание невозможно более сократить, упростить без того, чтобы оно стало эллиптическим (ср. понятие конфигурации у А. А. Холодовича [Холодович 1979]). Структурный тип, или структурную схему, минимального неэллиптического высказывания будем в дальнейшем называть предикативной элементарной синтаксической конструкцией, или — в отсутствие источника недоразумений — просто синтаксической конструкцией; о синтаксической конструкции будем говорить и тогда, когда структурная схема заполнена реальными словоформами. Определение «предикативная» здесь надо понимать в синтаксическом, а не семантическом смысле, хотя связь с семантикой несомненна; подробнее об этом будет сказано ниже.

2.2. К выделению и определению понятия «синтаксическая конструкция» можно подойти и по-другому. Но, прежде чем показать это, следует сказать несколько слов о соотношении понятий «высказывание», «синтаксическая конструкция» и «предложение». В литературе не раз указывалось на то, что в реальной речевой деятельности человек оперирует не предложениями — традиционным объектом лингвистического описания, а именно высказываниями [Бахтин 1987]. Иногда даже считают, что предложение «выдуманно» лингвистами, реально же такой единицы не существует.

Разумеется, многое, даже главное, зависит от того, какое содержание мы вкладываем в понятия «высказывание», «предложение». С нашей точки зрения, сомневаться в реальности предложения как особой единицы нет оснований. Под предложением уместно понимать неэллиптическое высказывание, рассматриваемое безотносительно к речевому (и

неречевому) контексту. Таким образом, предложение не связано с признаком минимальности (см. выше), но только лишь с признаком неэллиптичности. Из чего следует, что — при данном подходе — эллиптических предложений, которые обычно рассматриваются традиционным синтаксисом, быть не может. Люди действительно общаются высказываниями, которые могут материально совпадать с предложениями, но чрезвычайно часто, притом нередко обязательно, базируются на эллиптических производных от предложений. Например, нормальный нейтральный ответ на вопрос *Ты успел пообедать?* — *Да* или *Да, успел*, но никак не полный, неэллиптированный вариант *Да, я успел пообедать* (при всей его грамматической правильности).

Кроме того, высказывание релятивизировано относительно говорящего и слушающего, коммуникативного акта, речевого и неречевого контекста, а предложение — нет. Только высказывание имеет иллокутивную силу (иллокутивный эффект — также и перлокутивный), но не предложение, которое существует в речевом и ситуативном «вакууме».

Итак, синтаксические конструкции, наполняясь лексически, при необходимости трансформируясь, сочетаясь, дают предложения, а последние, релятивизируясь относительно коммуникативного акта и его участников, контекста, часто эллиптируясь, — разнообразные высказывания. Таким представляется соотношение указанных категорий синтаксиса.

2.3. Уже было сказано, что возможен и другой подход к выделению и определению синтаксической конструкции: не от текста, а от лексем. Конструкцию можно рассматривать как реализацию синтаксических валентностей соответствующих лексем. Валентность — это внутренняя способность слова вступать в те или иные сочетания. Будем различать обязательные и факультативные валентности. Обязательная валентность — это «требование» слова употребить вместе с ним какое-то другое слово, иначе данный фрагмент текста будет синтаксически неполным, эллиптическим, ущербным (как видим, и здесь мы не можем обойтись без понятия эллиптичности). Например, слово *деревянный* имеет обязательную валентность на слова типа *стол*, *стул*, *дом*. Слово *стол* (или *стул*, им. п.), в свою очередь, обладает обязательной валентностью на слова наподобие *сломался*, *находится* и т. п. *Находится* требует, например, *в комнате*. В то же время валентность слова *стол* на слово *деревянный* следует считать факультативной. Слово *рукой*, далее, характеризуется обязательной валентностью на, скажем, *ударил*, которое, «со своей стороны», требует слов типа *Иван* и *Петра* и допускает сочетание со словом *сильно*, на которое имеет, таким образом, факультативную валентность.

2.3.1. Как можно видеть, валентности отражают правила сочетаемости/несочетаемости слов, когда с использованием этих слов строятся высказывания. Валентности могут принадлежать слову в целом,

т. е. слову в любой его форме (иначе — слову как лексеме), но могут характеризовать и отдельные формы слова (словоформы). Например, *ударен* сочетается со словами /96//97/ *Иваном* или *рукой* (но не с обоими вместе), а *ударил* — с *Иван* и *рукой* — валентности разных форм одного и того же слова *ударить* совпадают не во всем.

Подчеркнем, что здесь идет речь о синтаксических, а не семантических валентностях. Само собой разумеется, что правила сочетаемости/несочетаемости слов во многом определяются именно их значением, семантикой. Однако существуют и собственно синтаксические закономерности, проявляющиеся и в сочетаемостных потенциях слов, т. е. в их синтаксических валентностях. Например, глагол *петь* в форме актива естественным образом сочетается, например, с *Иван* и *песню*: *Иван поет песню*. В этом случае семантические и синтаксические валентности согласуются. Однако если мы возьмем глагол *подпевать*, то легко обнаружим рассогласование семантических валентностей предиката ‘подпевать’ и синтаксических — глагола *подпевать*: хотя подпевающий безусловно поет, т. е. значение ‘петь’ входит в значение ‘подпевать’, невозможно употребить при глаголе *подпевать* слово *песню*, т. е. высказывание **Иван подпевает песню* неверно: в нем нарушены синтаксические валентности, синтаксически правильно — *Иван подпевает Петру* [Кузьменков 1984].

Разницу между семантическими и синтаксическими валентностями можно показать и путем сравнения слов разных языков. Например, глагол *грабить* русского языка толкуется как ‘отнимать силой что-н. у кого-н., разоряя’ [Ожегов 1960], а английский глагол *rob* — как ‘силой или незаконным путем присваивать чужое имущество’ [Апресян и др. 1979: 361]. Из приведенных толкований должно следовать, что валентности соответствующих предикатов (семантические валентности самих слов) совпадают. Но сочетаемость слов не совпадает: при русском глаголе можно указать лишь кто — кого (что), а при английском — также употребить имя с предлогом *of*, показывающее, что именно было отобрано у объекта ограбления. На русский язык соответствующие высказывания поэтому не поддаются переводу с сохранением синтаксической структуры, а иногда и лексического состава, например, буквальный перевод высказывания *They robbed the mail-van of a hundred mail-bags* — ‘Они ограбили почтовый вагон на сто мешков (от ста мешков) почты’ невозможен, приемлемый вариант — ‘Они ограбили почтовый вагон, унеся сто мешков с почтой’ [Апресян и др. 1979: 361].

Наличие тех или иных валентностей, как мы видели, есть следствие условий, которые необходимы, чтобы распространить данную словоформу до высказывания. В этом смысле валентности имен, глаголов или, скажем, предлогов однотипны, равноправны, хотя в случае глаголов или предлогов селективные ограничения выражены гораздо более определенно: так, для

глагола в финитной форме известно число и тип (класс, форма) тех имен, которые должны быть при нем употреблены, в то время как способ использования и, следовательно, валентно-/97//98/сти имен более многообразны и неопределенны. Тем не менее, с точки зрения образования высказываний не только глагол требует употребления имени, но и наоборот. Способ вхождения в высказывание как основа для выяснения свойств слов естествен, ибо слова существуют не сами по себе, а для образования высказываний.

2.3.2. Реализация той или иной валентности устанавливает непосредственную синтаксическую связь между словами, которые, как сказано, образуют конструкцию. Среди всех типов конструкций выделяются полные. Последние определяются как такие, которые способны функционировать как высказывания вне контекста.

2.3.3. Полные конструкции являются, иначе, предикативными. Понятие предикативности здесь употребляется в синтаксическом смысле, его не следует путать с «одноименным» семантическим. С синтаксической точки зрения предикативность есть формальное свойство, обеспечивающее контекстно-свободную самостоятельность высказывания. Например, сочетание *встреча гостей* с семантической точки зрения обладает предикатным характером, поскольку его значение включает предикат, пропозициональную форму 'X встречает гостей' (или, менее вероятно, 'Гости встречают X-а'). Однако с синтаксической точки зрения конструкция не является полной, и, отсюда, предикативной: высказывание *Встреча гостей* требует опоры на контекст, например, *Что в этом мероприятии самое сложное? — Встреча гостей* (для внеконтекстной реализации требуется распространение типа *В мероприятии Р самое сложное — встреча гостей*).

Среди полных, т. е. предикативных конструкций выделяются минимальные, или элементарные: это такие предикативные конструкции, которые не поддаются редукции (устранению из них каких бы то ни было слов) без утраты свойства предикативности. Например, *Иван подарил Петру интересную книгу* является предикативной конструкцией, но не элементарной, так как из нее можно устранить слово *интересную*, а конструкция останется предикативной.

Итак, идя «от лексемы», мы пришли к тому же определению элементарной синтаксической конструкции, что и выше, когда шли «от текста».

2.4. Элементарная синтаксическая конструкция — основная единица синтаксиса. Синтаксическое и, шире, грамматическое «ядро» языка — это система синтаксических конструкций.

В фонологии, выделив инвентарь фонем, мы получаем еще не систему, но лишь набор соответствующих единиц. Чтобы превратить этот набор в систему, необходимо установить дифференциальные признаки,

характеризующие каждую фонему и структурирующие самую систему фонем [Касевич 1983]. Так же и в синтаксисе: перечень конструкций еще не составляет системы. Системные характеристики будут выяснены тогда, когда кон-/98//99/струкции получат представление в терминах некоторых функциональных признаков. По-видимому, таковыми должны выступать признаки, связанные с внутренним устройством конструкций.

Дело в том, что элементарные синтаксические конструкции не являются элементарными с точки зрения внутренней структуры: как правило (а, может быть, и всегда, см. ниже) конструкции обладают определенной внутренней структурой. Какие же единицы выступают членами структурной организации конструкции?

3. В лингвистике есть разные подходы к представлению структуры конструкции. В отечественном языкознании, как известно, в качестве единицы синтаксиса принято использовать член предложения. Синтаксическую конструкцию можно представить соответственно в терминах членов предложения, выделив в ее составе традиционные подлежащее, сказуемое, дополнение и т. д. Правда, потребуется определение члена предложения: конструкция состоит из словоформ, а взаимно однозначного соответствия между словоформами и членами предложения заведомо не получится. Можно считать, однако, что это самостоятельная проблема, которая состоит в том, что нужны критерии для разграничения одного и двух (или более) членов предложения, когда мы рассматриваем последовательности двух (или более) словоформ в составе конструкции. Иначе говоря, можно в принципе условиться, что в общем случае член предложения — это слово (словоформа) в составе конструкции [Вардуль 1978: 63], но иногда член предложения может состоять из двух и более слов.

Даже согласившись со «смягченными» требованиями к определению члена предложения как такового, мы остаемся перед необходимостью иметь определения конкретных членов предложения — подлежащего, сказуемого, дополнений и т. д. Не разбирая специально существующие в литературе попытки дать такие определения (ср., например, [Кибрик 1979; Кинэн 1982; Члены предложения... 1972]), отметим лишь общие недостатки большинства из них.

3.1. Прежде всего, нет должной ясности в самом статусе членов предложения, а отсюда и в том, какими должны быть критерии их определения. Мы имеем в виду, что, с одной стороны, члены предложения как будто бы мыслятся обычно в качестве языковых единиц-знаков, которые соответственно имеют план выражения и план содержания. С другой стороны, в реальных лингвистических описаниях, как правило, нет ситуации, которая состояла бы в том, что член предложения X определяется со стороны формы по признакам m_1, m_2, \dots, m_n и сообщается, что со стороны содержания он характеризуется через признаки n_1, n_2, \dots, n_n .

Вместо этого члены предложения различаются и идентифицируются по самым разным признакам: одни — по морфологическим, т. е. по типу используемой словоформы, другие — по синтаксической (позиция, трансформ- /99//100/мируемость и т. п.), третьи — по частеречной характеристике, четвертые — по подклассу слов (одушевленные/неодушевленные имена и т. п.), пятые — по значению, причем все признаки могут «сосуществовать» в разных комбинациях и по-разному распределенные в рамках грамматики одного и того же языка. Например, прямое дополнение чаще всего выделяется по формальным признакам: падежу (винительный и некоторые другие, в зависимости от типа языка), позиции (обычно ближайшая к глаголу-сказуемому по сравнению с расположением прочих дополнений), трансформируемости в подлежащее пассивной конструкции и т. п. Существуют и содержательные характеристики прямого дополнения, чаще всего более или менее расплывчатые. Однако многие другие типы дополнений выделяются фактически только или преимущественно на семантических основаниях. Например, чем отличается *идет с другом* от *идет с палкой*, *убит врагом* от *убит ножом*? Это — разные дополнения. Однако по форме они совпадают, а различаются за счет одушевленности/неодушевленности существительных (причем в данном случае различие в подклассе не имеет «поверхностного», формального выражения). Правда, можно сказать, что дополнения различаются трансформационно, и это действительно так, ср.: *Иван идет с другом* → *Иван идет и друг идет*, но *Иван идет с палкой* → **Иван идет и палка идет*; *Иван убит врагом* → *Враг убил Ивана*, но *Иван убит ножом* → *Х убил Ивана ножом*. Однако в тексте, естественно, нет трансформаций, и если предполагать (как это обычно и делается), что мы понимаем текст, используя анализ по членам предложения (бессознательный или сознательный — в случае недостаточного владения неродным языком), то разная трансформируемость не может приниматься в качестве критерия. Если все же считать различие в трансформациях основанием для разграничения членов предложения, то нужно ясно оговорить, что в пределах одного языка разные члены предложения могут быть противопоставлены по существенно разным признакам. Иначе говоря, при таком подходе получается, что члены предложения фактически не составляют однородной системы и неодинаково функционируют в тексте.

Но и разная трансформируемость, вместе с различием в подклассе, как в предыдущих примерах, или без него, не всегда налицо, чтобы служить основанием для разграничения членов предложения. Например, в *страдать тиком* и *выглядеть молодцом* существительные выполняют, вероятно, функции разных членов предложения, но разница определяется, по существу, семантикой и типом глагола.

Вообще говоря, отмечаются две тенденции в определении членов предложения. Одна состоит в том, что упор делается на формальные (во флективных и агглютинативных языках — морфологические) признаки, и в одну категорию объединяются синтаксические словоупотребления с одинаковой формой, но /100//101/ существенно разными значениями, вряд ли сводимыми друг к другу. Например, в качестве инструментального дополнения, выраженного именем в орудном падеже, в монгольском языке признаются словоформы со значением инструмента, материала, субъекта каузированной ситуации, предиката [Кузьменков 1984: 20]. Другая тенденция — прямо противоположная: член предложения выделяется на основании общности передаваемого содержания, хотя формы соответствующих слов могут быть самыми разными. Примером могут служить решения, принимаемые некоторыми авторами, которые трактуют как подлежащее, скажем, *воды́ в нет воды*, по аналогии с той же функцией, выражаемой номинативом в коррелятивной конструкции *есть вода*.

Если обратиться к «главным» членам предложения — подлежащему и сказуемому, то их признаки, формальные и содержательные, настолько разнообразны даже в пределах одного языка, что трудно говорить о возможности сколько-нибудь точного их определения. Подлежащее обычно важно как отправная точка в смысловой интерпретации предложения; это хорошо знакомо преподавателям иностранных языков: «найти подлежащее» — зачастую первая операция, которую рекомендуют учащемуся. Однако это связано с тем, что подлежащее очень часто выражает тему; естественно, поняв, что является предметом сообщения, легче анализировать предложение.

3.2. Описание синтаксической конструкции в терминах членов предложения выполняет свою функцию, если оно позволяет получить комплексную информацию о форме и содержании, причем информация о форме не сводится к, например, морфологии (иначе члены предложения просто не нужны), а является фиксированием самостоятельных признаков на уровне синтаксиса, информация же о содержании, в свою очередь, вполне определенно идентифицирует роль слова (слов) в формировании семантики предложения. По-видимому, теория членов предложения в ее существующих вариантах не удовлетворяет этим требованиям. Как это нередко бывает в лингвистике, присвоение каждому слову в составе предложения «этикетки», типа «подлежащее», «прямое дополнение» и т. п. становится самоцелью, хотя в действительности для семантической интерпретации высказывания, равно как и для его построения, не нужно знать, где подлежащее, а где — дополнение и т. п.: необходимо знать, каково соотношение между формой и содержанием.

Если традиционные члены предложения не представляют собой системы категорий, которая бы отражала существенный фрагмент соотношения формы и содержания, их адекватность и полезность для

лингвистики становятся сомнительными. Можно задать вопрос: какую информацию мы утратим, если «вычеркнем» члены предложения из записи структуры синтаксической конструкции? Вполне понятно, что, ликвидировав члены предложения как особую категорию, мы никак не можем упразднить синтаксические отношения в составе конструкции. Иначе говоря: синтаксическая конструкция в любом случае обладает определенной структурой, которая связывает некоторые единицы, и речь сейчас идет о том, что же представляют собой эти единицы.

4. Хорошо известны два способа представлять синтаксическую структуру, при которых отношения — это либо подчинение, зависимость (грамматика зависимостей), либо компонентность (грамматика непосредственно составляющих), а единицы характеризуются через морфологию, т. е. по их морфологическим признакам, а также по принадлежности к классу (части речи) и подклассу. При принятии любого из этих двух способов мы фактически не пользуемся специальными синтаксическими единицами (во всяком случае, если не считать непосредственно составляющую особой единицей).

Не приписывая единицам, входящим в структуру синтаксической конструкции, какого-либо специального статуса, ограничиваясь указанием на их класс и подкласс (существительное, глагол, переходный глагол, артикль и т. п.), мы, по существу, упраздняем не только разные члены предложения (особые синтаксические единицы), но и разные синтаксические отношения. Традиционные члены предложения называют не только единицы в составе конструкции (предложения), но одновременно и синтаксические отношения. Если мы говорим, например, что *заставить принять решение* — это сказуемое [Долинина 1969], то тем самым и устанавливаем тот факт, что три слова составляют один член предложения, и определяем синтаксическое отношение последнего к другим членам предложения и предложению в целом. Если же нет разных членов предложения, то остаются морфологически охарактеризованные слова, связанные недифференцированными отношениями².

Такой способ представления синтаксической структуры, где в качестве единиц фигурируют «просто слова», имеет и еще одно важное следствие: ликвидируется парадигматическая иерархия элементов синтаксических структур, т. е. синтаксических единиц «младшего» ранга (по отношению к самим синтаксическим конструкциям). Действительно, при описании синтаксиса в терминах членов предложения мы оперируем

² Ср.: «В примерах, которые будут приводиться на протяжении всей книги, имена поверхностно-синтаксических отношений не будут играть никакой роли, и мы будем позволять себе их опускать, оставляя неименованные стрелки» [Богуславский 1985: 10].

номенклатурой, которой свойственна парадигматическая иерархия, и эта иерархия универсальна, т. е. не зависит от того, в какую конструкцию входит член предложения. Подлежащее в любом предложении иерархически «старше» прямого дополнения, прямое дополнение «старше» косвенного и т. д., и это соотношение действительно для данного языка (а названные — для всех языков) в целом, а не для конкретной конструкции. Синтагматическая иерархия членов предложения, т. е. их иерархия в рамках конструкции, не обладает самостоятельностью, специфичностью, она задается парадигматической иерархией.

Когда же синтаксическая структура предстает как отношение между морфологически охарактеризованными словами, /102//103/ требуются отдельные основания для установления иерархии между элементами структуры, причем такая иерархия будет чисто синтагматической, она будет действительна лишь для данной конструкции.

5. Попытаемся предварительно суммировать изложенное выше и столь же предварительно сформулировать некоторую позитивную программу.

Ввиду неясности понятия члена предложения, серьезных трудностей с определением конкретных членов предложения от этой категории при всей ее традиционности, привычности, возможно, лучше отказаться. Вместе с тем, «морфологизация» синтаксиса, представление синтаксической структуры как цепочки словоформ, связанных недифференцированными отношениями, также нежелательны. Компромиссный вариант концепции может дать следующий подход.

5.1. То, что синтаксическая структура иерархична, по-видимому, очевидно. Иерархичность предполагает отношение типа управления, уровневого, когда изменение состояния управляющего элемента или его замена влечет за собой изменение или замену управляемого; иначе, это отношение зависимости. Для иерархических отношений типично (хотя и не абсолютно обязательно) наличие вершины — такого элемента, который не является управляемым, зависимым от какого бы то ни было другого элемента в составе той же структуры. В большинстве современных синтаксических теорий, имеющих в основе понятие иерархичности, зависимости, такой вершиной синтаксической конструкции признается глагол (так называемые вербоцентрические концепции). Можно привести два основных свидетельства центральной, структурообразующей роли глагола в рамках синтаксической конструкции: (1) любая конструкция легче всего сворачивается до глагола (глагола-сказуемого в рамках традиционной теории членов предложения); сворачивание, эллиптирование тем «безболезненнее», чем легче осуществить обратную процедуру — развертывание, а последнюю процедуру очевидным образом проще реализовать на базе глагола, поскольку глагол с большей определенностью предсказывает свое окружение, чем имя, обладая

обязательными валентностями; (2) когда одна синтаксическая конструкция входит в состав другой (при образовании сложных, объемлющих или «осложненных» предложений), то вхождение осуществляется прежде всего «через» финитный глагол: чтобы ввести таким образом конструкцию, нужно преобразовать глагол — номинализовать его или субстантивировать, остальные же изменения, если они есть, выступают вторичными, производными; например, *Мальчик читает книгу* → *Я вижу мальчика, читающего книгу* → *Чтение книги [мальчиком] радует учителя*. Оба свидетельства говорят о том, что именно глагол в наибольшей степени может представлять всю конструкцию, что глагол является ее ядром (ср. [Холодович 1979]). /103//104/

5.2. Хорошо известно также, и это уже упоминалось выше, что глагол предсказывает за счет присущих ему валентностей свое окружение, т. е. слова, употребляющиеся с ним в составе конструкции. Два вопроса в этой связи представляются особенно важными. Первый уже затрагивался, и здесь мы его сформулируем так: действительно ли элементы синтаксической структуры — всегда и только отдельные слова (словоформы)? Если нет, т. е. если в качестве таких элементов могут выступать и сочетания, группы слов, то как определить, с одним или более элементами мы имеем дело? (В грамматике членов предложения этот вопрос формулируется «один или два члена предложения?».)

Как представляется, здесь необходимо допустить два подуровня в составе синтаксической структуры [Долинина 1969]: на одном каждая самостоятельная словоформа выступает в качестве особого элемента структуры, однако при этом мы не имеем информации о том, входит ли этот элемент в структуру конструкции непосредственно или же опосредованно, т. е. в составе более крупных (сложных) единиц другого, более высокого подуровня. В рамках этого последнего можно определить «моносинтаксичность», или, точнее, «моносинтаксемность» (см. ниже) единицы следующим образом. Если: (1) элементы a_1 и a_2 не способны обладать собственными синтаксическими связями вне сочетания A , равного $a_1 + a_2$, или (2) в сочетании $a_1 + a_2$ ни a_1 невозможно без a_2 , ни наоборот, т. е. ни один из элементов не поддается эллиптированию, или (3) в сочетании $a_1 + a_2$ зависимый элемент может быть эллиптирован, а опущение главного либо невозможно, либо сохраняет грамматическую правильность (с поправкой на согласование), но дает высказывание, несинонимичное исходному, то в этих случаях A , равное $a_1 + a_2$, есть одна синтаксическая единица.

Приведем примеры. Одной синтаксической единицей выступают все аналитические формы, например, глагольные, в силу пункта (1). На основании пункта (2) единичными синтаксическими элементами следует признать сочетания из существительных с артиклями. Пункт (3) говорит, в частности, о том, что одной синтаксической единицей выступают

сочетания модальных глаголов с полнозначными: как правило, полнозначный глагол поддается эллиптированию, а опущение модального дает грамматически правильное предложение (может понадобиться только заменить инфинитив на личную форму глагола), но несинонимичное исходному.

В отличие от этого, сочетание каузативных глаголов с полнозначными чаще всего будут двумя синтаксическими единицами уже потому, что каждый из глаголов обладает собственными синтаксическими связями, например, *Мать заставляет дочь учить уроки*. Сочетание связки с присвязочным членом также будет трактоваться в качестве двух синтаксических единиц: либо эллиптирование возможно по отношению к обоим членам /104//105/ сочетания, и опущение связки дает предложение, синонимичное исходному, как в русском языке в настоящем времени³, либо связку опустить невозможно, как в английском, немецком, французском языках, а в русском — при использовании прошедшего или будущего времени. Двумя синтаксическими единицами будут считаться и сочетания семантически опустошенных глаголов с существительными типа *принимать помощь, оказывать помощь, выносить решение*. Несмотря на их известную семантическую цельность (что и заставляет многих считать такие последовательности единичными членами предложения), составляющие сочетаний обладают определенной синтаксической самостоятельностью: они формируют синтаксические связи «порознь» (ср. *срочно оказать необходимую помощь*), «порознь» же могут участвовать в трансформациях (ср. *помощь была оказана*⁴).

Условимся обладающие самостоятельными связями словоформы в составе конструкции называть синтаксическими элементами, а единицы более высокого подуровня, материально равные синтаксическим элементам или состоящие из двух и более синтаксических элементов при соблюдении, условий (1–3), — синтаксемами⁵.

При обрисованном подходе синтаксема могут обладать внутренней структурой; так, в синтаксемах, включающих предлоги или послелого, последние выступают главными, а имена — зависимыми синтаксическими

³ Изложение здесь носит нестрогий характер: на самом деле опущение стилистически маркированной связки *есть* — это ее замена на стилистически немаркированную нулевую связку.

⁴ Если считать в рамках традиционной теории членов предложения, что *оказывать помощь* — один член предложения, сказуемое, то окажется, что в пассивной конструкции либо не сохраняются границы сказуемого — часть ска-/281//282/зуемого превращается в подлежащее (*Помощь была оказана*), либо подлежащего нет и быть не может, что неоправданно сблизило бы такие предложения с пассивными безличными.

⁵ Термин «синтаксема» употребляется в разных значениях в рамках различных синтаксических концепций [Алпатов 1979; Вардуль 1978; Золотова 1982; Мухин 1980], что мы не будем здесь анализировать.

элементами; таковы же связи между вспомогательными и полнозначными глаголами, артиклями и существительными.

5.3. Глагол-ядро в составе синтаксической конструкции также выступает в качестве (ядерной) синтаксемы. Все остальные синтаксемы зависят либо непосредственно от ядра, либо друг от друга. Используя уже достаточно привычные понятия, можно договориться о принятии следующей номенклатуры: синтаксемы, которые зависят непосредственно от ядра-глагола и при этом отражают его обязательные валентности, являются (синтаксическими) актантами⁶. Если, выйдя за рамки элементарной конструкции, учесть также и факультативные валентности, то можно добавить еще одну категорию синтаксем — сирконстанты. Последние также зависят непосредственно от глагола, но заполняют его факультативные валентности. Наконец, — опять-таки учитывая и неэлементарные конструкции, — выделяются синтаксемы-определения, которые зависят от актантов, сирконстантов или друг от друга. Оставляем в стороне вопрос о том, существуют ли синтаксемы, которые зависят от конструкции (предложения) в целом.

Ядро, актанта, сирконстанты, определения — четыре уровня иерархии синтаксической структуры. Внутри каждого такого уровня имеется своя иерархия. Наиболее известна иерархия актантов: выделяют первый актанта, второй и т. д. Нам не известны специальные процедуры и критерии, с помощью которых /105//106/ определяется ранг актантов. По существу, основанием служит интуиция: чем более «ущербным» по своему составу воспринимается конструкция при опущении данного актанта, тем более высокий ранг ему приписывается [Касевич 1977: 95]. Так, из двух предложений (точнее, высказываний) *Иван подарил Петру* и *Иван подарил книгу* первое ощущается более неполным, «ущербным», поэтому иерархический ранг *Петру* в *Иван подарил Петру* ниже, чем ранг *книгу*. Показательно, что разные исследователи, несмотря на отсутствие строгих критериев, почти всегда соглашались относительно распределения иерархических рангов актантов в конкретных случаях.

5.4. Элементарные синтаксические структуры (конструкции) отличаются количеством и качеством своих актантов. Под качеством актантов имеются в виду их признаки: форма, позиция и т. п. Но внутри конструкции каждого типа — своя иерархия актантов. Первый актанта одной конструкции может не иметь никакого отношения к первому актанта другой. В этом одно из коренных отличий данного подхода от того, что принят в грамматике членов предложения. Например, в

⁶ Факультативная (взятая в скобки) часть термина используется ввиду того, что существуют, как известно, и семантические актанта. Мы, однако, не пользуемся во избежание потенциальных недоразумений этим последним термином, предпочитая в целом синонимический ему логический термин «аргумент».

конструкции типа *В доме нет воды* первым актантом выступает *воды*, а вторым — *в доме*, в конструкции *Петя любит Машу* первый актант *Петя*, а второй — *Машу*, в конструкции *Корову убило молнией* первый актант — *корову*, а второй — *молнией*. В терминах членов предложения *воды*, *Петя*, *корову* — разные члены предложения (если не учитывать точку зрения, считающую *воды* подлежащим, подобно слову *Петя*). С точки зрения подхода, который дифференцирует актанты только по их рангу внутри данной конструкции, вопрос о том, одинаковы ли эти синтаксемы, просто некорректен: синтаксема — категория синтагматическая, все приведенные синтаксемы выступают первыми актантами в рамках своих конструкций, и первый актант одной может не иметь ничего общего по своим свойствам с первым актантом другой.

Важное следствие заключается в том, что с категориями «первый актант», «второй актант» и т. д. не связываются какие-либо постоянные семантические признаки. Можно лишь утверждать, что в конструкции данного типа первому актанту в типичном случае свойственны определенные семантические признаки. Как уже говорилось в гл. I (п. 4), семантизация при таком подходе осуществима прежде всего по отношению к конструкции в целом как особой единице, хотя и в этом случае выделяется лишь область допустимых значений, или семантическая предназначенность конструкции. При разном лексическом наполнении меняется не только «конкретное» значение конструкции, т. е. отнесенность к той или иной ситуации, но и синтаксическое, т. е. тип выражаемых отношений. /106//107/

О СЕМАНТИЗОВАННОСТИ СИНТАКСЕМ

6. Вместе с тем полное отрицание каких бы то ни было собственных семантических характеристик, которые принадлежали бы актантам разных типов, кажется интуитивно не вполне удовлетворительным. Чтобы попытаться внести хотя бы предварительную ясность в этот вопрос (чрезвычайно непростой), нам придется вкратце рассмотреть основные точки зрения на функциональную роль актантов и, шире, синтаксических компонентов высказывания (синтаксем).

Существуют, вообще говоря, два основных подхода к трактовке роли, функции синтаксических компонентов высказывания (которые в существующей литературе чаще всего традиционно подаются как члены предложения): семантический и грамматический. Каждый из них имеет свои разновидности.

6.1. Первая разновидность семантического подхода может быть охарактеризована как семантико-морфологическая; она имеет смысл преимущественно применительно к флективным языкам. Семантико-морфологическая концепция переносит проблему в сферу морфологии:

коль скоро члены предложения выражаются в типичном случае именами в соответствующих падежах, т. е. членами морфологических именных парадигм, то, считается, необходимо определить семантику этих словоформ. Тогда функция данного члена предложения будет сведена к передаче семантики, которая заложена в падежной форме, служащей для его выражения. Не во всех исследованиях семантики падежных форм, среди которых наиболее известна работа Р. Якобсона [Якобсон 1985], поиск семантических признаков падежей связывается с потребностями синтаксиса, но объективно такая связь несомненно усматривается.

Мы не имеем возможности сколько-нибудь детально анализировать соответствующие концепции. Обратим внимание лишь на некоторые обстоятельства, представляющиеся существенными. Постулирование семантических признаков падежей фактически исходит из того, что в падежной системе отражена своего рода каталогизация (и, конечно, систематизация) различных типовых отношений, в которые вступают референты членов предложения. Здесь сразу же надо заметить, что речь может идти только о таких отношениях, которые являют собой способ включения референта имени в ситуацию, а не о самих отношениях между референтами. Дело в том, что отношение между референтами выражается предикатом, который нормально передается глаголом, а отнюдь не падежной формой. (Поэтому, кстати, традиционное понятие «субъектно-объектные отношения» едва ли корректно: такое отношение есть не что иное, как предикат, выраженный глаголом, хотя традиционное понятие призвано отразить тип связи между глаголом и его актантами, а не тип предиката.) С учетом сделанной оговорки семантика падежной формы может, по-видимому, включать суще-^{/107//108/}ственно разнородные признаки: указание на семантическую роль объекта (пациенса), инструмента и т. п., с одной стороны, и, с другой, некоторые дополнительные характеристики, например, полноту/неполноту включения в ситуацию, определенность/неопределенность объекта и т. п., ср. *съесть хлеб* и *съесть хлеба*. Кажется естественным, что ведущими должны выступать признаки первого типа (субъектность, объектность, орудность и т. п.) в силу их очевидной релевантности и, возможно, универсальности. Однако оказывается, что именно они в существующих описаниях отходят на задний план. Материал показывает, что это не случайно. Действительно, трудно установить взаимно-однозначное отношение между семантическими ролями и падежами в таком языке, как русский. Например, что общего с этой точки зрения в семантике винительного падежа высказываний наподобие *Иван шел всю ночь, Иван любил день и ненавидел ночь, Иван на ночь не пьет кофе, Ивану в ночь на работу?* Но ведь если падежи существуют для того, чтобы передавать семантические роли, то результат, когда их основными семантическими

характеристиками оказываются какие-то другие, не относящиеся к ролям (плюс сама по себе пестрота функций), выглядит «подозрительным».

Нужно также упомянуть, что, как нам уже приходилось писать [Касевич 1977: 86–89], концепции Якобсона и его последователей не учитывают существенного различия между разными падежами, а также типами их употребления: адвербиальные и синтаксические падежи, адвербиальное и синтаксическое употребление падежей [Курилович 1960]. Так, примеры *всю ночь*, *на ночь*, *в ночь* показывают адвербиальное употребление винительного падежа, когда синтаксически необязательное присоединение словоформ и словосочетаний именно в силу этой необязательности и, следовательно, непредсказуемости несет определенную семантику. В то же время пример *ненавидел ночь* демонстрирует синтаксическое употребление винительного падежа, когда данная словоформа в соответствующей позиции обязательна, предсказуема и в этом смысле не несет информации, кроме лексической.

Вероятно, можно было бы сказать, что при синтаксическом употреблении семантика падежной формы подвергается нейтрализации. Однако кажется странным, что именно в позиции нейтрализации выступает то значение (если вообще усматривать в данной позиции какое-то значение), которое естественно было бы считать основным. К тому же мы сомневаемся в корректности понимания нейтрализации, которое видит последнюю там, где существует единственная возможность заполнения позиции: реально винительный падеж не перестает отличаться от всех прочих и в тех позициях, где его употребление однозначно диктуется типом синтаксической конструкции.

Наконец, нельзя не заметить, что хотя установление семантических характеристик падежей внешне параллельно выведе-^{/108//109/}нию дифференциальных признаков фонем, параллель не выдержана: опорой обнаружения и фонем и их дифференциальных признаков служат чередования, в то время как падежи оказываются как бы заданными извне, специальная же процедура их выделения, определения их признаков фактически отсутствует.

6.2. Вторая разновидность семантического подхода к толкованию функции актантов может быть названа семантико-синтаксической; семантику здесь (как и в гл. I) мы понимаем максимально широко, т. е. включая прагматику, в том числе референциальные аспекты, а также коммуникативную организацию высказывания. Семантико-синтаксический подход имеет целый ряд подтипов, из которых кратко рассмотрим лишь некоторые.

6.2.1. Хорошо известна позиция Н. Хомского в рамках так называемой Стандартной Теории (упоминаем эту позицию с известной долей условности: она не является собственно семантической). Хомский вводит и определяет понятия, родственные традиционным подлежащему и

(прямому) дополнению, которые понимаются как составляющие синтаксической структуры, автоматически появляющиеся в силу действия стандартных правил подстановки: подлежащее — левая именная составляющая, выделяющаяся в качестве первого шага порождения предложения (точнее, его структурной характеристики), прямое дополнение — правая именная составляющая, входящая в структуру как результат следующего шага — подстановки V и NP вместо VP [Хомский 1965].

В сущности, такие представления не добавляют ничего нового к традиционным взглядам, которые, как уже говорилось, оставляют понятия членов предложения без рабочих дефиниций, поэтому можно признать, пожалуй, логичным вывод представителей реляционной грамматики [Джонсон 1982; Перлмуттер, Постал 1982; *Studies in Relational Grammar* 1983], которые, отталкиваясь от постулатов Хомского, объявили категории типа «подлежащее», «дополнение» синтаксическими примитивами, эксплицитно отказавшись от их определения. Однако, хотя решительное «снятие» проблемы лучше, чем недостаточно обоснованные претензии на ее окончательное решение, считать такую позицию оптимальной все же трудно.

6.2.2. Следует, конечно, упомянуть и довольно широко распространенные представления, согласно которым первый актант (обычно — традиционное подлежащее) семантически характеризуется как тема или субъект. Однако в главе I мы уже писали, что тема — самостоятельная семантическая категория, которая может иметь или не иметь собственных унифицированных средств выражения, но последние отнюдь не тождественны маркерам первого актанта; достаточно вспомнить *-ва* для выражения темы и *-га* для передачи I актанта в японском языке, аналогичные показатели *-(н)ын* и *-и/-га* в корейском и т. п. Утверждения относительно субъектной семантики I актанта еще более сомнительны, против них говорит уже учет пассивных конструкций.

6.2.3. Существует, как известно, интенциональная трактовка подлежащего. Как показывает термин, она исходит из наличия у предиката интенции, т. е. избирательной направленности на одного из участников ситуации. Эта трактовка, пожалуй, наиболее интересна в варианте, где интенциональность понимается как фокусировка: один из аргументов (участников ситуации) избирается в качестве своего рода точки отсчета, или фокуса, относительно которой (которого) определяются роли прочих участников ситуации [Лейкина 1978]⁷. Предполагается, что именно первому актанту (точнее, традиционному подлежащему) семантически

⁷ Б. М. Лейкина предлагает такую аналогию: в семье ее члены могут определяться по отношению к главе семьи, который и фигурирует в качестве фокуса, или точки отсчета, когда остальные получают статус жены, дочери, сына, зятя и т. п.

соответствует фокус. Хотя «фокусировка — аспект коммуникативного членения, или коммуникативной организации сложных речевых единиц (и их языковых типов), специфичный для предложения, противопоставляющий один член предложения (подлежащее) другим его членам» [Лейкина 1978: 136], фокус не тождествен теме.

Однако при отсутствии достаточно эксплицитных определений двух категорий — тема и фокус — трудно говорить об их убедительном «разведении». Б. М. Лейкина иллюстрирует различия между темой и фокусом следующим примером, где T_{\pm} означает ‘является (не является) темой’, Φ_{\pm} — ‘является (не является) фокусом’; все комбинации значений везде относятся к участнику соответствующих ситуаций, обозначенному именем *Маша*: *Маша старше Оли* ($T_{+}\Phi_{+}$); *Оля младше Маши* ($T_{-}\Phi_{-}$); *Старше Оли Маша* ($T_{-}\Phi_{+}$); *Младше Маши Оля* ($T_{+}\Phi_{-}$) [Лейкина 1978: 134]. Но как раз трактовка примеров и показывает, что в условиях оперирования несколько размытыми категориями возможна разная интерпретация. Создается впечатление, что Φ_{+} механически приписывается всем случаям, где лексема *Маша* выступает традиционным подлежащим, а Φ_{-} — тем вариантам, где она подлежащим не является. Но если в основу кладется некоторое семантическое отношение, которое трактует фокус как точку отсчета, то, видимо, интерпретация должна быть другой. Действительно, говоря *Маша старше Оли*, мы выбираем возраст Оли как точку отсчета, относительно которой оценивается возраст Маши; следовательно, для имени *Маша* должен фиксироваться признак Φ_{-} , а не Φ_{+} . По тем же причинам в варианте *Оля младше Маши* для Маши ожидалось бы видеть Φ_{+} , а встречаем Φ_{-} . Возможно, мы сталкиваемся здесь с исследовательской психологией, заставляющей нас заранее видеть некую семантическую общность в традиционном подлежащем, которую еще только требуется обнаружить и доказать.

6.2.4. Наконец, лишь бегло упомянем подход, который, впрочем, многими авторами считается наиболее обещающим (нам тоже придется еще вспомнить его при подведении итогов предпринятого обсуждения): мы имеем в виду своего рода много-/110//111/факторный анализ, впервые предложенный Э. Кинэнном для определения подлежащего [Кинэн 1982], когда выделяется достаточно широкий набор признаков, свойственных подлежащему, и все «претенденты» на эту роль ранжируются по степени «подлежащности», т. е. по полноте свойственного им набора признаков. В число последних входят синтаксические, семантические, прагматические (в особенности референциальные); в частности, для подлежащего характерны данность (в рамках противопоставления данного новому), конкретно-референтность, независимая референтность, т. е. подлежащее соответствует участнику ситуации, введение которого не зависит от введения других участников, ср. понятие фокуса у Б. М. Лейкиной, прагматического пика у Р. Ван Валина и У. Фоли [Ван Валин, Фоли 1982]

и ряд других, и т. д. и т. п. Дж. Борг и Б. Комри предложили распространить этот подход на определение прямого дополнения, утверждая, что «понятие диффузности грамматического отношения, введенное Кинэнном для [определения] подлежащих, равным образом применимо и для прямых дополнений» [Bossong 1986: 123].

6.2.5. Выше рассматривались подходы к истолкованию функции актантов, которые иногда называют характеризующими: имеется в виду, что использование слова в функции данного актанта влечет за собой приобретение им определенных семантических свойств, которые и характеризуют данное слово. Такой трактовке противопоставляется дифференцирующая, согласно которой важно не снабдить каждый актант некоторой абсолютной характеристикой — существенно лишь различить их, противопоставить за счет тех или иных формальных средств [Mallinson, Blake 1981]. К числу доказательств относят, в частности, достаточно распространенную тенденцию при употреблении двух актантов маркировать лишь один из них, чем достигается именно экономное различение компонентов синтаксической конструкции.

Концепция дифференцирования кажется в целом реалистичней характеризующих подходов уже потому, что она оставляет попытки определить семантический инвариант подлежащего, прямого дополнения и т. д., чему материал, как отчасти показано выше, сопротивляется. Вместе с тем и данная разновидность семантического подхода к интерпретации актантов вряд ли даст в наше распоряжение полностью удовлетворительный концептуальный аппарат для описания синтаксической структуры предложения. Возникает естественный вопрос: что именно различают формальные средства, маркирующие актанты? Коль скоро мы имеем дело с семантическим подходом, ответ, очевидно, заключается в том, что дифференцируются семантические роли, передаваемые актантами. Из этого следует, что: (а) должен быть фиксированный набор семантических ролей, подлежащих различению; (б) зная тип синтаксической конструкции, мы должны быть в состоянии определить семантическую роль каждого актанта по способу его вхождения в конструкцию. /111//112/

Иначе говоря, отличие от характеризующих концепций заключается в том, что если, согласно последним, морфолого-синтаксический «облик» актанта определяет его семантическую роль вне зависимости от формальных свойств других актантов конструкции, то концепция дифференцирования ставит семантическую характеристику данного актанта в зависимость от свойств его «партнеров». Например, не утверждается, что имя в именительном падеже, занимающее первую позицию, передает семантику агенса, — вместо этого говорится, что такое имя имеет агентивную интерпретацию, если второй актант представлен именем в винительном падеже. Если же второй актант — имя в

творительном падеже, то (в случае пассивной формы глагола) имя в номинативе передает семантику объекта (пациенса).

7. Нетрудно видеть, что в изложенной редакции концепция дифференцирования, по существу, от рассмотрения актантов переходит к анализу синтаксических конструкций и тем самым сближается с грамматическим подходом. Наиболее простой его вариант уже фигурировал выше; воспроизведем его здесь, несколько заострив формулировки: оформление актантов не имеет каких бы то ни было семантических импликаций, это не более чем техника их формального сопряжения с ядром; соответственно, все попытки семантической интерпретации актантов должны быть оставлены как бесперспективные.

7.1. Данный вариант грамматического подхода, вообще говоря, имеет основания более глубокие, чем сама по себе трудность обнаружения инвариантных семантических признаков формально сходных актантов в разных контекстах. Если считать, что основная единица синтаксиса — это именно (предикативная) конструкция, то устанавливается прямое соотношение: пропозиция в семантике — предикативная конструкция в синтаксисе; при этом одной пропозиции обычно может быть сопоставлено некоторое множество синтаксических конструкций. Отсюда и следует, что существенно лишь соответствие данной синтаксической конструкции той или иной пропозиции (ситуации), а формальное варьирование конструкции, «игра словоформами» семантически иррелевантны. Это своего рода свободное варьирование на уровне поверхностного синтаксиса плюс средство установления внутритекстовых связей. С точки зрения отнесенности к пропозиции (ситуации), скажем, *Ивана лихорадит* и *У Ивана лихорадка*, *Иван строит дом* и *Дом строится Иваном* как будто бы ничем не отличаются, во всяком случае, если не выходить за рамки традиции (в частности, не выделять особой пропозиции с предикатом-константой 'быть темой'; см. гл. I, п. 19.3.1).

Лингвистическая литература фактически не дает удовлетворительного семантического объяснения различий в приведенных примерах (и в огромном числе других; о соотношении с этой точки зрения активных и пассивных конструкций см. в [/112//113/](#) гл. III). В то же время никто, кажется, еще не доказал ни, с одной стороны, функциональной иррелевантности такого рода синтаксической синонимии (если это синонимия), ни, с другой, ее исключительной ориентированности на обеспечение включения высказывания в контекст.

7.2. По-видимому, ситуация сложнее, и ее мог бы отразить адекватнее другой вариант грамматического подхода, который, сохраняя свою грамматическую направленность, учитывает и семантические аспекты проблемы. Вкратце этот подход можно изложить следующим образом. Начнем еще раз с утверждения о том, что центральной единицей синтаксиса уместно считать элементарную синтаксическую конструкцию,

в рамках которой актанты находятся в отношении чисто синтагматической иерархии, действительной лишь для данной конструкции. Элементарных синтаксических конструкций в каждом языке немного, их число сравнимо с числом, скажем, фонем; каждой конструкции сопоставлена пропозиция-ситуация как целое.

Из существования такого закрепленного соотношения синтаксических и семантических конструкций и следует, возможно, первая часть ответа на вопрос о функциональной роли актантов. Человек осмысляет действительность в терминах некоторых когнитивных построений, фреймов, существенным свойством которых является их целостность. Однако в то же время квант действительности, смоделированный посредством фрейма, не выступает внутренне однородным образованием. Для него характерна своя структура. Наличие структурированности как семантического, так и синтаксического представлений высказывания, и их относительно жесткая закрепленность друг за другом и создают предпосылки для приобретения синтаксическими актантами функциональной — семанто-прагматической — интерпретации (охарактеризованности).

Таким образом, истоки семантизованности актантов — в существовании прототипических конструкций, т. е. элементарных синтаксических конструкций, члены которых обнаруживают непосредственное соотношение с элементами конструкций семантических. У актантов, отсюда, действительно появляются прототипические же семантические соответствия, в полной мере действительные лишь для элементарных конструкций. Они безусловно зависят от типа языка, на чем мы сейчас не можем останавливаться, ограничившись замечанием, что, например, первый актант может обладать характеристиками темы, агенса или субъекта (т. е. агенса и носителя признака недифференцированно), равно как и всеми тремя одновременно.

Здесь, как можно видеть, полностью оправдывается тот подход, который выше фигурировал как характеризующий.

Вторая часть ответа на вопрос о функциональной роли актантов состоит в том, что при переходе от прототипических конструкций ко всем прочим, т. е. от элементарных к производ-^{113/114}ным, актанты, сохраняя свой формальный облик, могут утрачивать фиксированное соответствие определенным семантическим категориям. Здесь и возникает трудность в определении их функциональной роли. Последняя — в производных конструкциях — предстает как функция от взаимодействия прототипической роли и эффекта трансформации конструкции как целого. Вполне понятно, что в условиях производных конструкций уже не приходится говорить о каких-либо постоянных соотношениях между актантами и семантическими ролями: актанты могут получить

интерпретацию только в контексте всей конструкции, т. е. каждый из них — в противоположность другим, одновременно входящим в конструкцию.

Иначе говоря, для производных конструкций более адекватной оказывается концепция дифференцирования. Одновременно можно видеть, почему возникают разные степени «подлежащности» и т. п., о которых говорит Э. Кинэн и его последователи (см. п. 6.2.4).

Возможна определенная аналогия: обмен ролями между актантами в какой-то степени напоминает обмен иллокутивными функциями между высказываниями; в последнем случае тоже существует грамматически детерминированная первичная прагматическая предназначенность плюс некоторый «веер» возможностей употребления с иными иллокуциями (ср. [Падучева 1985]).

Наконец, разные языки различаются по стабильности актантных характеристик. Как мы видели, главная причина варьирования последних — трансформации, которые нарушают первичное соответствие между синтаксисом и семантикой. Но трансформационный субкомпонент синтаксического компонента в разных языках развит в неодинаковой степени. Если трансформации в языке используются относительно меньше, то это и приводит, соответственно, к менее выраженным «ножницам» между семантическим и синтаксическим представлениями, а отсюда и к большей стабильности актантных характеристик. В итоге синтаксис языков с относительно менее развитым трансформационным субкомпонентом оказывается в известном смысле более семантизованным.

В качестве иллюстрации можно сослаться на материал целого ряда языков Юго-Восточной Азии, Западной Африки, Америки. Так, во многих из них отсутствуют залоговые преобразования, что уже существенно сужает семантический диапазон актантов. Приименные показатели (там, где они существуют), порядок слов чаще всего более или менее однозначно определяют семантическую роль актантов. Первый из них соответствует теме или субъекту, второй — объекту (пациенсу) [Еловков, Касевич 1979; Ревзин 1964].

В эргативных языках семантический диапазон актантов также специфичен и относительно уже по сравнению с языками номинативного строя. В них типично положение, когда первый актант переходного глагола, оформленный показателем эргатива, передает семантику агенса, при этом функция темы для /114//115/ него в целом нетипична. Первый актант непереходного глагола и второй — переходного, маркированные показателем абсолютива, семантически характеризуются как субъект состояния, носитель признака (куда входит и значение, — если правомерно говорить о таких соответствиях, — которое в других языках реализуется как значение пациенса); для этих актантов весьма типична тематическая интерпретация [Mallinson, Blake 1981].

7.3. Ставя вопрос несколько шире, можно сказать, что человеческому познанию в целом свойственно взаимодействие иконичности и интерпретации. Когнитивные структуры — фреймы воспроизводят структуры отражаемой действительности; но уже на этом этапе отражение выступает не как фотографическое, пассивное: активность познающего субъекта, в частности, выражается и в использовании стереотипных фреймов, что приводит к определенной реинтерпретации воспринимаемого объекта действительности. Переход от довербального перцепта к языковой семантической структуре — еще один шаг в сторону схематизации, реинтерпретации информации. В прототипических синтаксических конструкциях иконичность — уже по отношению к семантической структуре — сохраняется; одновременно продолжается процесс схематизации и реинтерпретации в ходе отражения действительности. Производные структуры — продукт действия собственно-языковых, внутрисистемных правил, где соотношение синтаксиса и семантики еще более сложное и в наименьшей степени характеризующееся иконичностью.

8. К изложенным выше принципам интерпретации синтаксической структуры и ее компонентов нужно добавить два своего рода комментария.

Первый заключается в том, что, как уже упоминалось выше, для элементарной синтаксической структуры вполне обычно положение, когда она имеет более одного способа семантизации. Та или иная семантизация реализуется в зависимости от класса слова, занимающего соответствующую позицию, вхождения/невхождения сирконстантов и т. д. и т. п.

Приведем простой пример. Русская конструкция, состоящая из ядра-связки, имени в именительном падеже в препозиции к связке и такого же имени в постпозиции к связке, может передавать отношения включения объекта в класс или класса в класс, ср. *Иванов — студент, Банкиры — капиталисты*. Если при первом (присвязочном) или втором актанте есть определение того или иного типа или если второй актант выражен именем собственным, указательным или личным местоимением, то добавляется возможность передачи еще одного отношения (еще один тип семантизации) — отождествление двух объектов или классов, например, *Попов — изобретатель радио, Этот человек — Иванов, Это — Иванов, Я — Иванов, Рабочие, перевыполняющие нормы, — ударники*.

Из неединственности семантической интерпретации, однако, не следует, что теряет силу тезис о приобретении семантизо-^{/115//116/}ванности актантами в прототипических конструкциях. Так, в выше приводившихся примерах множественность интерпретаций не меняет того факта, что второй актант везде характеризуется как субъект, а первый — как предикат ('быть студентом' и т. п.).

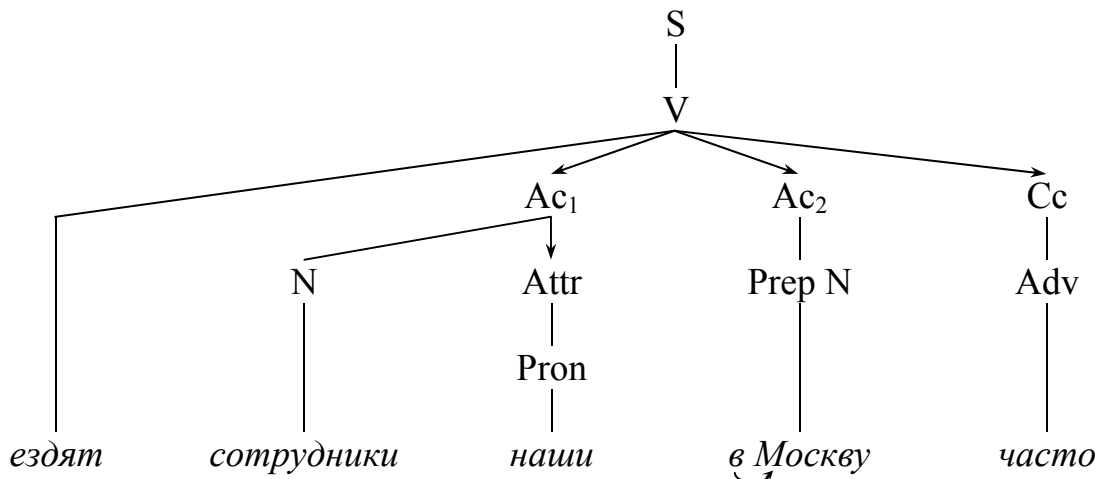
Второй комментарий состоит в следующем. Согласно предположению, высказывавшемуся в предыдущей главе, набор семантических ролей данного языка может выводиться из того, какова семантика актантов, получающих специальное формальное выражение в элементарных синтаксических конструкциях (гл. I, п. 18). В настоящей главе мы говорим, что семантизованность актантов определяется их соответствием тем или иным ролям семантической структуры. Нет ли здесь порочного круга?

С нашей точки зрения, нет. Дело в том, что в первом случае мы приходим к заключению о семантике на основании эмпирических данных, поставляемых в наше распоряжение синтаксисом и морфологией. Ведь ясно, что семантика в принципе ненаблюдаема и может изучаться лишь по некоторым «внешним проявлениям», по совпадению с реалиями текста предсказаний семантического характера. Иначе говоря, здесь речь идет о направлении лингвистического анализа. Во втором же случае имеются в виду механизм, внутрисистемные отношения, в силу которых устанавливаются в самом языке взаимосвязи между семантикой и синтаксисом, а не способ, исследовательский прием, который эти отношения раскрывал бы.

9. Несколько слов следует сказать об основных формальных следствиях, вытекающих из принятого подхода для представления структуры синтаксической конструкции. Напомним, что принципиальные характеристики такого представления заключаются в следующем: признается двухуровневость структуры в том смысле, что последняя предстает как упорядоченное множество синтаксем, связанных отношениями зависимости; сами же синтаксемы также могут обладать внутренней структурой; и синтаксемы, и входящие в них синтаксические элементы охарактеризованы линейно (позиционно) и, в широком смысле, морфологически — через класс, подкласс, форму; синтаксемы в элементарных конструкциях распределены между двумя уровнями иерархии (ядро и актанты), а в неэлементарных — между четырьмя (ядро, актанты, сирконстанты, определения); внутри актантов, сирконстантов, определений существует (в рамках данной конструкции) собственная иерархия.

Перечисленные свойства делают обладающую ими синтаксическую структуру в известном смысле компромиссной, «гибридной» по отношению к грамматике зависимостей, грамматике Теньера (являющейся частным случаем грамматики зависимостей в широком смысле) и грамматике непосредственно составляющих [Долинина 1969; Касевич 1977]. Чтобы это показать, рассмотрим конкретный пример: представим синтаксическую структуру предложения *Наши сотруд-^{/116//117/}ники часто ездят в Москву*. Структура данного предложения показана на схеме 1.

Схема 1



Символы, использованные для построения структуры предложения, интерпретируются так: S — «предложение», V — «глагол», Ac — «актант», Сс — «сирконстант», Adv — «наручие», Attr — «определение», N — «имя», Prep — «предлог», Pron — «местоимение»; черта, соединяющая вышерасположенный символ с нижерасположенным, означает «представлен в качестве...», а стрелка — «управляет» (или: «элемент, в символ которого стрелка входит, синтаксически зависит от элемента, из символа которого стрелка исходит»); если из символа, соединенного чертой с вышележащим символом, исходит стрелка (стрелки), то это читается «представлен в качестве X, который управляет Y (Y₁, Y₂, ...)».

В нашем примере предложение представлено глагольным ядром, которое управляет двумя актантами, первым и вторым, и сирконстантом, сам же глагол представлен словоформой *ездят*. Первый актант управляет определением (иначе: от первого актанта зависит определение)⁸, при этом сам актант представлен в качестве существительного — словоформы *сотрудники*, а определение — местоименной словоформой *наши*. Второй актант — сложная синтаксема, состоящая из предлога с существительным, причем предлог, по общему правилу, управляет существительным.

Как можно видеть, в схеме, построенной на основании изложенного выше, совмещены и требования грамматики зависимостей в узком смысле, т. е. показаны синтаксические связи /117//118/ между всеми словоформами в составе предложения (конструкции), и грамматики Теньера, или функционального синтаксиса, т. е. учтены неэлементарные синтаксические единицы (в принятом здесь словоупотреблении — неэлементарные синтаксемы), обладающие как целое синтаксическими связями, и, в известном смысле, грамматики непосредственно составляющих путем

⁸ Термин «управление» здесь употреблен в широком смысле — как синоним термина «зависимость».

указания на компонентный состав сложных синтаксических образований (см. об этом также в гл. V). Мы думаем, что соединение принципов разных синтаксических моделей не есть эклектизм — это, скорее, отражение релевантности всех моделей, их синтез: каждая из них отвечает какому-то, существенному аспекту синтаксической структуры, а также аспекту речевой деятельности (см. гл. V), именно поэтому желательно их совмещение постольку, поскольку они не противоречат друг другу. В то же время исключительная ориентация на одну из моделей ведет, как представляется, к игнорированию важных сторон синтаксиса.

ТРАНСФОРМАЦИИ

10. Понятие трансформации как синтаксического преобразования используется не всеми направлениями лингвистики и там, где используется, получает различные толкования. Мы будем понимать под (синтаксической) трансформацией любое преобразование, операцию, которые превращают элементарную синтаксическую конструкцию в неэлементарную — производную, или же одну производную в другую.

Мы не будем специально обсуждать саму по себе проблему релевантности трансформаций для языка и лингвистической теории. Заметим лишь, что когда предлагают, скажем, вместо правила трансформирования актива в пассив включать в словарь сведения о возможности обеих конструкций с участием данного переходного глагола (см., например, [Smith, Wilson 1980: 121]), то тем самым утрачивается важная информация о данных конструкциях, об их своего рода внеконтекстной немаркированности/маркированности. Замена трансформаций правилами в реляционной грамматике [Джонсон 1982] носит в значительной степени терминологический характер.

Иногда трансформации понимают как исследовательский прием, позволяющий различать единицы, конструкции, которые иначе предстают неразличимыми. Например, по поводу мнения В. М. Солнцева о том, что в русском языке нет грамматических отличий между конструкциями типа *птица летит* к *камень летит* [Солнцев 1977], Т. В. Булыгина справедливо замечает, что первая допускает распространение инфинитивным оборотом или придаточным цели, например, *Летят перелетные птицы ушедшее лето искать*, а вторая — нет, ср. **Летит камень ушибить человека* [Булыгина 1980: 339]. Булыгина обсуждает эти примеры в другом контексте, но, поскольку распространение можно считать раз-
/118//119/новидностью трансформации (см. ниже), они иллюстрируют тезис о различимости на основании трансформируемости/нетрансформируемости.

Данное понимание трансформаций не может вызвать возражений, если при этом лингвист не становится на привычную (для многих) таксономическую почву, когда задачей языковедческого анализа считается

классификация языкового материала, и трансформируемость/нетрансформируемость выступает как один из признаков классификации. В действительности речь должна идти об установлении таких свойств конструкций, которые определяют их функционирование, что и отражается лингвистическим описанием. В данном случае синтаксические, трансформационные различия между конструкциями отражают семантические особенности русского глагола *лететь*, который употребляется для обозначения как контролируемых, так и неконтролируемых ситуаций (ср. аналогично *плыть* и некоторые др.), однако их противопоставление не утрачивается полностью, а проявляется в указанном отношении к возможностям распространения.

Трансформации можно классифицировать с разных точек зрения, выделяя, в частности, (а) трансформации распространения, свертывания, вставления, замещения, перемещения; (б) трансформации обуславливающие, обусловленные и самостоятельные; (в) трансформации обязательные и факультативные. В нижеследующем изложении мы основное внимание уделим первой из возможных классификаций, в ходе обсуждения прибегая, впрочем, и к упомянутым двум другим.

10.1. Трансформации распространения — это правила перехода от элементарных конструкций к производным и дальнейшего усложнения последних. Сюда относится, прежде всего, введение сирконстантов и разного рода определений. Распространение может затрагивать как конструкцию в целом, так и один из узлов синтаксической структуры. Так, замена одиночного именного актанта группой существительного обычно не сказывается на структуре предложения в целом: правила замены действуют «внутри» данного синтаксического узла вне зависимости от его роли в синтаксической структуре предложения (см., например, [Мазо 1978]).

Вероятно, к трансформациям распространения можно отнести и введение отрицаний, каузативных, фазовых и некоторых других слов. Но это — особый вид трансформации распространения. Дело в том, что добавление сирконстантов и определений не перестраивает структуру, поскольку эти элементы занимают низшие уровни синтаксической иерархии, каузативные же, фазовые слова выступают как синтаксически вершинные. Поэтому введение, скажем, каузативного глагола приводит к понижению в ранге глагола-ядра исходной конструкции, в то время как добавление сирконстанта или определения, естественно, не имеет аналогичного эффекта. [/119//120/](#)

10.2. Трансформации свертывания отнюдь не симметричны по отношению к трансформациям распространения. Их можно разделить на два подвида, которые, вообще говоря, мало связаны друг с другом. Один представлен случаями, когда опущение того или иного элемента синтаксической структуры является основной и единственной операцией,

т. е. когда это самостоятельная трансформация, второй — когда опущение выполняет роль вспомогательной операции, зависимой от некоторой другой, т. е. когда мы имеем дело с обусловленной трансформацией. Особенность самостоятельного свертывания заключается в том, что оно представлено почти исключительно при образовании эллиптических высказываний, т. е. здесь мы имеем дело с правилами эллипсиса: если трансформации применяются к элементарным конструкциям, которые по определению включают необходимое и достаточное число синтаксем, то устранение любой из них автоматически приводит к синтаксической неполноте, к эллиптичности. Языки различаются правилами эллиптичности. Так, в славянских языках, в тибето-бирманских первый актант легко опускается, а в китайском, романских, германских, каршских это невозможно или затруднено.

Что касается опущения тех или иных элементов при упрощении неэлементарных конструкций, то для этого в абсолютном большинстве случаев не требуется специальных правил, так как устраняемость таких синтаксем принадлежит к их структурным свойствам. Здесь, главным образом, может возникать необходимость в правилах невозможности свертывания, как это имеет место при неустранимости определений, относящихся к именам со значением неотчуждаемой принадлежности, например, *У Ивана было озадаченное выражение лица* → **У Ивана было выражение лица*.

Обусловленное свертывание представлено там, где опущение элемента закономерно — обязательно или факультативно — вызывается какой-либо другой трансформацией. Например, при релятивизации конструкции, т. е. превращении ее в определительную, во многих языках не сохраняется тот элемент конструкции, который становится определяемым (ни в его исходном виде, ни в виде местоименной замены), ср. *I am reading the book* → *the book I am reading*: в релятивной конструкции *I am reading* второй актант *the book*, ставший определяемым (в составе некоторой другой конструкции), закономерно опускается (при возможности его замены посредством *that* или *which*, ср. *the book that (which) I am reading*, ср. также ниже).

Обусловленное свертывание возникает в силу совпадения кореферентных элементов взаимодействующих конструкций: *I am reading the book + I like the book* → *I like the book I am reading* (так называемая Equi-NP Deletion Transformation).

10.3. Трансформации вставления характеризуются следующим: вставляется — предварительно трансформированная или в исходном виде — предикативная конструкция, которая /120//121/ при этом занимает позицию одного из актантов или сирконстантов конструкции-«реципиента». Как можно видеть, отличие от трансформации распространения состоит в том, что вставляется всегда предикативная

конструкция (а не слова или конструкции непредикативные), причем занимать она может и позиции актантов, а не только сирконстантов, как при распространении.

Трансформации вставления включают грамматические правила и операции, которые ведут к образованию, с одной стороны, оборотов типа причастных и деепричастных (если последние восстанавливаемы в самостоятельные предложения, см. ниже), с другой — придаточных и членных предложений.

Если при вставлении вводимая конструкция сохраняет — с точностью до замены анафорическим местоимением или опущения некоторых элементов — свою структуру, форму ядра и при этом не используется синтаксическая техника, не применяемая для введения в ту же позицию синтаксем-слов, то результат — членное предложение. Оговорка относительно опущения или замены вызвана тем, что, как уже упоминалось, при релятивизации типичны опущение или замена того члена исходной конструкции, который кореферентен определяемому в конструкции-реципиенте. В качестве примера можно привести японское предложение *Ватаси-га хон-о кайта* ‘Я написал книгу’, которое вставляется без изменения, лишь с обусловленной трансформацией опущения, в предложение *Корэ-ва хон дэсу* ‘Это — книга’, в результате получаем *Корэ-ва ватаси-га кайта хон дэсу* ‘Это — книга, которую я написал’.

Поскольку членные предложения могут занимать позиции актантов, их устранение приводит к эллиптичности, например, бирм. $тu^2$ $лэйи^2$ $пйо^3$ $тu^2$ $коу^2$ $чано^2$ $тu^1$ $тu^2$ ‘Я знаю, что он лжет’. Предложение $тu^2$ $лэйи^2$ $пйо^3$ $тu^2$ ‘Он лжет’, не изменяя состава, а также формы глагольного ядра, заполняет обязательную валентность глагола $тu^1$ ‘знать’; при опущении предикатного актанта конструкция $чано^2$ $тu^1$ $тu^2$ ‘Я знаю’, естественно, становится эллиптической.

Если сохраняются признаки, перечисленные выше для членных предложений, кроме неиспользования особой синтаксической техники, то трансформация вставления вводит придаточное предложение. Ср. рус. *Я знаю, что он лжет*: придаточное *он лжет* полностью сохраняет исходную структуру, форму ядра, но способ введения — использование подчинительного союза *что*, а не падежной формы, как было бы при заполнении той же позиции актантом-словом. «Главное» предложение такого типа без придаточного столь же эллиптически, сколь и предложение без членного, как в предыдущем случае. Поэтому традиционное понятие «главное предложение» вряд ли оправдывает себя: конструкции наподобие *я знаю* не могут считаться не только главными, но и вообще предложениями в силу своей принципиальной эллиптичности. [/121//122/](#)

А. М. Пешковский отмечал противоречивость, с его точки зрения, понятия сложного предложения, имея в виду, что предложение не может

состоять из предложений [Пешковский 1936]. Действительно, слово не состоит из слов, морфема не может включать в свой состав морфем и т. д. и т. п. Трансформационный подход в известной степени снимает эту логическую трудность. Важнейший конститутивный признак предложения, как утверждалось ранее, — его самостоятельность. Предложение включается непосредственно в текст (или, быть может, в сверхфразовое единство, абзац), но не в другое предложение. Поэтому традиционные придаточные и членные, строго говоря, не предложения, а трансформы предложений. Они появляются в результате применения к исходным предложениям трансформации вставления, которой могут предшествовать соответствующие обусловленные трансформации.

Если трансформации вставления должно предшествовать изменение формы ядра-глагола — превращение последней в нефинитную — или же субстантивация глагола, то результат трансформации — предикативный оборот: такой трансформ, который может быть восстановлен в предикативную конструкцию за счет изменения формы глагола или десубстантивации имени (при необходимости с автоматическим последующим изменением формы или синтаксического оформления актантов).

10.4. Основной (или даже единственный) вид трансформации замещения — это обусловленная замена неместоименной синтаксемы местоименной, которая сопровождает трансформации вставления или релятивизации. При релятивизации местоименное замещение может быть двойным: хотя в большинстве языков релятивизация требует опущения в составе определительной конструкции синтаксемы, которая воспроизводится в виде местоименного союза или союзного слова (*я читаю книгу* → *книга, которую я читаю*); в иврите, арабском, в каренских языках, в некоторых французских диалектах эта синтаксема не опускается, а заменяется местоимением, например, *L'homme que je l'ai vu était ton frère* букв. 'Человек, которого я увидел его, был твоим братом' [Smith, Wilson 1980: 28].

Едва ли следует принимать традиционный генеративистский анализ, согласно которому предложение типа *John washes himself* производится в силу применения операции местоименного замещения из предложения с кореферентными идентичными актантами *John washes John*. Предложения последнего типа сродни «абстрактным фонемам» в фонологии некоторых направлений [Касевич 1983] — они никогда не встречаются в тексте, а потому их трудно признать в качестве элементарных конструкций: естественнее считать, что существует запрет на употребление идентичных кореферентных актантов в соответствующих конструкциях (кроме, быть может, некоторых эмфатических контекстов, ср. *9-го января царь убил царя* в значении 'убил самого себя, совершил политическое самоубийство'). [/122//123/](#)

10.5. Трансформации перемещения — правила, которые фиксируют возможности изменения порядка слов, синтагм, трансформов предложений по отношению друг к другу и/или к той единице, в состав которой они входят. Эти трансформации могут быть обусловленными (ср. изменение позиции глагола в немецких придаточных предложениях) или же самостоятельными. Перемещение как самостоятельная трансформация может быть более или менее нейтральным по отношению к семантике, но может, как известно, использоваться в целях эмпазы, топикализации и пр. В качестве примера трансформации перемещения, относительно нейтральной по воздействию на семантику, можно привести изменение позиции так называемого плавающего квантора, ср. *All the children might have played with their friends* → *The children all might have played with their friends* → *The children might all have played with their friends* → *The children might have all played with their friends* [Smith, Wilson 1980: 90].

11. Выше трансформации рассматривались главным образом с точки зрения их формальных различий. Другой подход, который здесь не находит специального отражения в силу ограниченности объема, — это разграничение трансформаций с функциональной точки зрения, когда говорят о трансформациях релятивизации, топикализации, подъема и понижения (повышения/понижения ранга синтаксемы в результате трансформации) и т. д. и т. п. (см., например, [Creider 1979]). При этом возникает широко дискутировавшийся в литературе вопрос о том, какие трансформации сохраняют значение, а какие — нет (или даже о том, следует ли считать трансформациями операции, приводящие к семантическим сдвигам). От обсуждения этого вопроса мы также вынуждены отказаться. Заметим лишь, что операции, абсолютно нейтральные по отношению к семантике, вряд ли могут быть сколько-нибудь распространенными или даже вообще возможными (даже если мы имеем дело с вставлением одной элементарной конструкции в другую). По существу, здесь ситуация та же, что с синонимией в лексикологии: как сомнительно существование абсолютных синонимов-слов, так и абсолютная синонимия синтаксических конструкций возможна, скорее всего, лишь «с точностью до прагматики», но, как уже говорилось, граница между семантикой и прагматикой не всегда определима. /123//124/

Глава III

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЯЗЫКА

ФОРМА И ПАРАДИГМА

1. Традиционное общее языкознание создавалось, как известно, преимущественно на материале флективных языков, отсюда особое внимание к морфологии. В описаниях конкретных языков морфология и до сих пор занимает нередко доминирующее положение, иногда в ущерб синтаксису. В какой-то степени этот традиционный подход сохраняется и в настоящей работе. Причина, однако, заключается лишь в том, что морфология на сегодня изучена лучше, чем синтаксис.

Определяя в принципе статус морфологии, ее место в системе языка и речевой деятельности, нужно обратиться прежде всего к границе между морфологией и синтаксисом, а также об отношении морфологии к семантике (о разграничении морфологии и словообразования см. в гл. IV, п. 7).

1.1. К области морфологии целесообразно относить парадигматику форм слова. Если мы знаем морфологию некоторого языка, то нам известно, сколько и каких форм может образовывать слово каждого класса и подкласса в этом языке.

При этом, вообще говоря, неважно, синтетические это формы или аналитические. Распространенное понимание морфологии как грамматики слова иногда имеет своим результатом выведение аналитических форм за пределы морфологии, вынесение их в синтаксис. Неправомерность таких решений усматривают в том, что одна и та же парадигма, как парадигма времени в русском, английском и целом ряде других языков, включает на равных основаниях синтетические и аналитические формы. Однако даже в тех случаях, когда все формы парадигмы являются аналитическими, это еще не может служить основанием, окончательным доводом против их морфологичности.

Как представляется, критерий для разграничения словоформы, рассматриваемой в морфологии, и сочетания служебного слова со знаменательным — предмет синтаксиса, должен быть иным. Морфология, как и остальные компоненты языка, обладает относительной автономией. В частности (и в особенности) автономность морфологии проявляется в том, что каж-^{124/125}дая парадигма словоформ имеет как бы самостоятельную ценность: она закрепляет формальные потенции слова данного класса (подкласса), показывает, «на что способно» слово в сфере

формообразования. Что же касается функций словоформы — члена парадигмы, равно как и парадигмы в целом, то это вопрос особый. Типична ситуация, когда одна и та же словоформа может использоваться с существенно разными функциями. Отсюда довольно распространенные чисто формальные обозначения словоформ по образующим их аффиксам, ср. «*ing*'овую форму» в английском, «*te*-форму», «*di*-форму» в индонезийском, «*a*-форму» в бирманском и даже «эловую форму» в русском (форму на *-л*).

Полифункциональность членов парадигмы слова носит, таким образом, принципиальный характер. Если бы каждой форме соответствовала ровно одна функция, эти формы принадлежали бы к тем сферам языка, — вероятно, прежде всего к синтаксису, — где соответствующие функции реализуются; в противном случае возникло бы ненужное дублирование. Однако, коль скоро существует два самостоятельных аспекта: место формы в парадигме и ее функции, первое не предопределяет однозначно второе и наоборот, — получает свое обоснование традиционная точка зрения, выделяющая морфологию в самостоятельный компонент, отличный от других и прежде всего от синтаксиса.

Соответственно, одним из критериев того, входит ли данная форма, — безразлично, синтетическая или аналитическая, — в некоторую парадигму, должна быть именно ее полифункциональность в противоположность монофункциональности.

Другой критерий связан с учетом сочетаемости разных показателей. Существование форм, входящих в одну парадигму, предполагает несочетаемость их показателей. Не должны сочетаться и аналитические показатели, если они образуют формы одной и той же парадигмы. Если при данном слове употребимы два служебных слова (или более), то либо они характеризуют слово как входящее в две разные парадигмы одновременно (подобно тому, как происходит кумуляция граммем в одном флективном аффиксе), либо же один показатель формирует аналитическую форму, а другой не принадлежит к морфологическим парадигмообразующим показателям, относясь к сфере синтаксиса.

Суммировать критерии, о которых шла речь выше, можно следующим образом. Если в языке существуют синтетические формы слов, то это само по себе достаточное основание для выделения особых парадигм, в рамках которых эти формы противопоставлены друг другу; такие парадигмы принадлежат морфологии. Если существуют и синтетические, и аналитические формы, которые исключают друг друга, то этот факт — факт противопоставленности, взаимоисключенности — говорит об одноплановом характере синтетических и аналитических образований, о том, что последние являются именно формами, входящими в ту же парадигму. В том же случае, когда служебные слова

обнаруживают противопоставленность со знаменательными, они не образуют аналитических форм, а составляют со знаменательными словами особые синтагмы, закономерности формирования которых принадлежат синтаксису. Например, в русском языке предлоги исключают друг друга. Однако если мы составим ряды предлогов, сочетающихся с той или иной словоформой, то обнаружим, что ряды будут на более или менее равных основаниях включать и наречия, ср.: *у дома, от дома, из дома, из-за дома, вблизи дома, поверх дома* и т. п. Ввиду взаимоисключенности предлогов можно было бы говорить о парадигме, но, как мы видим, парадигма включила бы наречия (сочетания существительных с наречиями), что явно противоречит замкнутой природе морфологической парадигмы.

Если, наконец, в языке нет показателей, формирующих синтетические формы, а представлены только служебные слова, то служебные слова, не сочетающиеся друг с другом и/или обладающие полифункциональностью, должны расцениваться как маркеры аналитических форм — членов соответствующих парадигм.

1.2. Непрост вопрос о семантике в морфологии. Традиционный подход заключается в том, что исследователь пытается либо установить инвариантное значение каждой морфологической оппозиции, лежащей в основе парадигмы (а также инвариантное значение каждого члена парадигмы), либо очертить поле с центром — основным, первичным значением оппозиции и конкретными форм — и периферией — производными, вторичными значениями. Этот подход, о котором еще пойдет речь ниже, в принципе не вызывает возражений. Однако им не исчерпывается вся проблематика морфологической семантики.

Важной представляется существенная неоднородность морфологических форм с точки зрения их значений. Эта неоднородность становится очевидной, если мы рассматриваем формы не только в составе парадигм, но и в процессах порождения и восприятия высказываний. На уровне семантики фиксируются все значения, подлежащие выражению посредством данного высказывания. Но некоторым из этих значений непосредственно отвечают специальные морфологические формы, которые именно для передачи данных значений и существуют в системе языка. Например, временная отнесенность ситуации находит свое выражение в выборе соответствующей формы глагола. Это значит, что информация о времени, содержащаяся в семантическом представлении высказывания, «переписывается» без изменения на всех этапах его преобразования: на пути от смысла к тексту. И только на уровне морфологии временная компонента значения находит свое выражение формально-грамматическими средствами. Иными словами, уровни /126//127/ семантики и морфологии оказываются соединенными прямыми, связями.

Другую картину мы видим, исследуя формы типа падежных. Здесь в семантическом представлении высказывания имеются структуры,

организованные применительно к распределению ролей, которые выполняются теми или иными участниками ситуации в рамках данного сценария. Ролевая структура трансформируется в предикатно-аргументную с ее иерархией аргументов и т. д. При этом не обнаруживается простых и однозначных соответствий, когда то ли данной семантической роли, то ли данному аргументу отвечал бы конкретный падеж. Конкретные падежи выбираются тогда, когда фиксируется синтаксическая структура (конструкция), в которой в зависимости от типа глагола актанты и сирконстанты должны получить конкретное морфологическое выражение. Разным семантическим элементам могут соответствовать одинаковые падежи и наоборот.

Из этого, конечно, не следует, что, скажем, временные формы глагола однозначны, а падежные формы существительных многозначны. Как хорошо известно, временные формы также обладают сплошь и рядом определенным «веером» значений, а не каким-то одним-единственным. Дело в том, что временные и им подобные формы соотносятся с семантическим уровнем непосредственно даже и в том случае, когда по тем или иным причинам для выражения, скажем, семантики будущего времени используется форма настоящего (*Завтра я еду в Киев*): нет промежуточных перекодировок семантического и грамматического характера, которые определяли бы этот выбор. В отличие от этого, падежные и сходные с ними формы связаны с семантическим уровнем опосредованно: выбор падежной формы детерминирован не семантикой как таковой, а ближайшим синтаксическим представлением, так что морфологическая запись в этом случае отделена от семантической набором перекодировок, подчас достаточно большим. Таким образом, многозначность форм типа временных и падежных может иметь разные истоки.

МОРФЕМА

2. Перейдем к вопросу о единицах морфологии; попутно будет обсуждаться и проблема границ между морфологией и словообразованием. Согласно общепринятому пониманию, мельчайшей значимой единицей морфологии является морфема. Несмотря на их относительную ясность и длительную традицию теоретической экспликации, придется специально остановиться на обоих аспектах определения морфемы: ее значимости и минимальности.

2.1. В лингвистической литературе достаточно распространены представления об асемантических морфемах, что входит в явное противоречие с определением морфемы как значимой /127//128/ единицы. Говоря о возможности существования асемантических морфем, одни авторы не отказывают соответствующим единицам — интерфиксам и

некоторым другим — в значении, но утверждают, что это «структурное» значение или же такое значение, которое является функцией. Мы уже писали [Касевич 1986b] о сомнительности положений о структурном значении и о приравнивании значения функции: определить понятие «структурное значение» едва ли возможно, а допущение функциональности, тождественной семантической, означает расслоение общего класса морфем на две чуждых друг другу категории — имеющих и значение, и функции и обладающих только функциями.

Уместно обсудить конкретный материал, когорый, быть может, представляет особые трудности для интерпретации. В бирманском языке имеется префикс *a-*, который в целом ряде случаев функционирует таким образом, что его наличие или отсутствие определяется лишь степенью связанности обслуживаемой им единицы именного класса. Например, *чхэйн* означает ‘время’ в связанных словосочетаниях типа *нэй² тхвэ⁴ чхэйн²* ‘время восхода солнца’, букв. ‘солнце-выходить-время’, и с точно тем же значением слово *ачхэйн²* употребляется в свободных сочетаниях, ср. *нэй² тхвэ⁴ то³ ачхэйн² хнай⁴* ‘во время, когда всходит солнце’. Аналогично *айвэ⁴* ‘лист’ используется в разного рода свободных сочетаниях, но уже при присоединении правостороннего определения, с которым образуется связанное словосочетание, префикс *a-* может опускаться: *йвэ⁴ хаун³* ‘старая (палая) листва’ (*хаун³* ‘быть старым’).

В бирманистике чаще всего считают, что префикс *a-*, обнаруживающий описанные выше свойства, образует слова от морфем, именно в этом заключается его функция. Что же касается значения, то последнее как будто бы отсутствует.

Однако более внимательный взгляд на имеющийся материал позволяет, как кажется, найти основания для утверждения о семантизованности бирманского префикса *a-*. Прежде всего необходимо принять во внимание, что в бирманском, как и в других моносиллабических языках, базовой единицей языка является слогоморфема. Подобно морфеме, последняя обладает значительно более неопределенной семантикой, нежели слово (ср. семантику корневых морфем русского языка, где не разграничены значения предметности, процессуальности, признаковости, как в *красн-* из *красный*, *краснеть*, *краснота*¹). Слова, употребляемые с префиксом *a-*, образуют к тому же,

¹ Вообще говоря, это утверждение не совсем точно: корень *красн-* несет всегда семантику признака, т. е. признаковость входит в лексическое значение морфемы. Что же касается предметности и т. д., то это грамматические значения, которые привносятся формальными свойствами соответствующих слов. Иначе говоря, *краснота* означает ‘то, что проявляется как признак «красный»’, где ‘то, что проявляется как...’ — предметность — выражено грамматически, формой слова, а ‘признак «красный»’ — лексически, корнем. Аналогично и с другими дериватами. *Краснеть* означает ‘приобретать признак «красный»’, где

по-видимому, особый подкласс имен, которые при употреблении в составе высказывания нуждаются в тех или иных детерминативах, определениях уточняющего, раскрывающего характера; это такие слова, как *айвэ*² ‘возраст’, ‘размер’, *атэ*⁴ ‘возраст’, ‘жизнь’, ‘дыхание’, *апин*² ‘растение’, *ати*³ ‘плод’, *амйи*⁴ ‘корень’, *акхэ*⁴ ‘ветка’ и т. д. и т. п. Когда определений нет или же они носят развернутый характер, т. е. лексически и грамматически обособлены, то префикс *a-* присутствует; когда же есть определение, то префикс обычно опускается.

Таким образом, возникают основания утверждать, что префикс *a-* играет роль своего рода внутрисловного определенного артикля. А из этого следует, что значение *a-* не сводится к его функции: налицо и то и другое, как у любой морфемы. Если бы не удалось обнаружить какого бы то ни было значения, у элемента *a-*, ему пришлось бы отказать в статусе морфемы — понадобилось бы предпринимать дополнительное исследование для определения его статуса.

Точно так же, как мы уже писали [Касевич 1986b], тематические гласные русского языка следует признать морфемами, поскольку им можно приписать значение, которое заключается в процессуальности: данные элементы образуют основы глаголов и, следовательно, участвуют в формировании семантики процессуальности, свойственной глаголам, уже по наличию тематической гласной можно диагностировать глагол или образованное от него слово. Таким образом, тематические гласные тоже обладают и функцией — они служат основообразующими аффиксами, и значением — участвуют в формировании средств, служащих для выражения процессуальности. Именно и только в силу последнего — наличия семантизованности — тематические гласные должны быть сочтены морфемами, в данном случае особыми аффиксами.

В отличие от этого, интерфиксы, с нашей точки зрения, не являются морфемами: они полностью лишены значения. Более того: им вряд ли можно приписать какую-либо функцию, уместнее трактовать эти элементы как морфонологически выделяющиеся компоненты морфем — субморфы (подробнее см. [Касевич 1986b: 83–95]).

Субморфы в составе экспонентов морфем выделяются именно своей «морфонологической активностью»: за счет варьирования субморфов, их опущения или наращивания могут возникать алломорфы соответствующих морфем. Но этого никак не достаточно, чтобы наделять субморфы морфемным статусом, к чему склонялся, например, А. И. Исаченко,

‘приобретать...’ передается формально-грамматически, а ‘признак «красный»’ — лексически, корнем. Вместе с тем, положение о большей неопределенности семантики морфемы в сравнении с семантикой слова остается в силе: скажем, признаковость в *красный* выражена дважды — корнем, как конкретный признак, и формально, как абстрактная грамматическая категория, отсюда окончательность семантической характеристики в *красный* в отличие от *красн-*. См. об этом также гл. IV, п. 2.4.3.

который в одной из своих последних работ писал: «...В современной лингвистике этот термин («морфема». — В. К.) нуждается в серьезном пересмотре. Дело в том, что в языке имеют место операции (присоединения и усечения элементов), в которых участвуют морфологические единицы, не обладающие самостоятельным ‘значением’. Современная лингвистика нуждается в новой теории морфологических единиц» [Исаченко 1972: 101]. В той же работе автор утверждает, в частности, что «в слове *Суворов* необходимо выделить относительно самостоятельный элемент {ov}({suvor + ov}), даже если это как будто идет вразрез с так называемым „словообразовательным анализом“, основанным на весьма сомнительных критериях („Имеет ли отрезок *Сувор-* самостоятельное значение?“)» [Исаченко 1972: 97]. [/129//130/](#)

Однако вопрос о значении вовсе не представляется «поверхностным и тривиальным» [Исаченко 1972: 97]. К тому же ответ на вопрос «Имеет ли отрезок *Сувор-* самостоятельное значение?», вообще говоря, не представляет трудности (если отвлечься от теоретического аспекта проблемы, связанного со спецификой семантики собственных имен вообще). Если Исаченко имеет в виду возможность усечения *Суворов* до *сувор-* (ср. индивидуальное *суворочка*), то значение последнего в точности то же, что и полного варианта *Суворов*, каким бы ни было это последнее. Аналогично, когда Исаченко задает риторический вопрос о том, каково же значение *том-* в *томич* и т. п. [Исаченко 1972: 98], ответ тоже будет состоять в утверждении: значение *том-* полностью тождественно значению *Томск*.

Сама возможность вопроса о значении усеченных вариантов, точнее, возможность сомнения в их семантизованности, объясняется, по всей видимости, двумя убеждениями, которые можно признать наивными: первое — в полном изоморфизме формы и содержания (раз изменился экспонент, что-то должно обязательно произойти и со значением), второе — в распространении заключения о значении усеченного варианта на семантику материально совпадающего с ним сегмента в составе варианта полного.

Второе поясним подробнее. Хотя Исаченко не излагает хода своего рассуждения явным образом, оно, надо думать, таково: если допустить, что *сувор-*, *том-* обладают значением, то придется согласиться с тем, что *-ов*, *-ск* также значимы, хотя с синхронной точки зрения это очевидным образом неверно. Поэтому лучше принять, что не только *-ов*, *-ск* не имеют значения, но равно незначимы и *сувор-*, *том-* — причем в любых сочетаниях. Тогда все эти элементы всегда будут морфемами, хотя они всегда лишены значения.

Ошибочность этого рассуждения, быть может, особенно очевидна в свете материала сложносокращенных слов. Так, если мы представим морфемное членение слова *зарплата*, то оно будет иметь вид *за-р-плат-а*.

Из того, что в данном случае выделяется морфема *-р-*, никак не следует, что она же должна выделяться в корне слова *работа* — мы имеем дело с двумя вариантами, полным и сокращенным, одного и того же корня. Корень, вопреки «школьному» определению, нельзя рассматривать «как общую часть родственных слов». Корень, как и вообще любая морфема, может иметь переменный фонологический состав своего экспонента. Ни обусловленное варьирование экспонента, ни его свободное варьирование, ни сокращение не затрагивают семантики. Все варианты корня (любой морфемы) сохраняют свою семантику; источник «присоединения» семантики — присоединение других морфем и, естественно, замена на другую морфему, но никак не фонологическое (морфонологическое) варьирование.

Таким образом, традиционное определение морфемы не-
/130//131/ переменного должно сохранять в своем составе указание на значимость, семантизованность этой единицы.

2.2. Одновременно из сказанного выше следует, что признак минимальности морфемы неотделим от признака значимости: статусом морфемы наделяется минимальный сегмент, обладающий значением в данном употреблении, обычно в составе данной словоформы. Именно поэтому *том-* есть морфема в *томич*, но никак не в *Томск*, где лишь весь сегмент в целом — *томск* — выступает как морфема, корень (если считать, что с синхронической точки зрения *Томск* уже не восходит к *Томь*).

2.2.1. Известно, что определения морфемы не всегда достаточно, чтобы однозначно выделить эту единицу в любом конкретном случае: необходимы специальные формальные критерии. Ограничимся тем, что воспроизведем перечень этих критериев, как они сформулированы в предыдущей монографии [Касевич 1986b: 89] на основании работ наших предшественников [Гринберг 1963; Квантитативная типология... 1982; Кубрякова 1974]:

(1) если сегмент способен употребляться в качестве самостоятельного высказывания, то он является морфемой (содержит по крайней мере одну морфему), ср. *рук-* из *рукомойник* (*рук* — род. п., мн. ч. — может служить высказыванием);

(2) если сегмент входит в квадрат Гринберга, или пропорцию, то он является морфемой или содержит морфему, например, *трав-а* : *трав-ник* = *страж-а* : *страж-ник*; обязательное условие: все вхождения рассматриваемого сегмента должны сохранять семантическое тождество;

(3) если сегмент единожды выделен с помощью критериев (1) или (2), то он выделяется и во всех других сочетаниях, где употреблен с тем же значением, например, *-ин-* в *буженина* не вычленяется ни посредством критерия (1), ни посредством критерия (2), но эта же морфема поддается изолированию методом пропорции в других словах, ср. *олень-Ø* : *олень-ин-а*

= *ба-ран-Ø* : *баран-ин-а*, и есть все основания считать, что ее значение в *буженина* — то же;

(4) сегмент, оставшийся после выделения морфемы (морфем) с помощью критериев (1–3), является морфемой или содержит морфему, что принято называть принципом остаточной выделимости; например, после того, как определен морфемный статус *-ин-* и *-а* в *буженина*, *бужен-* на основании указанного принципа также признается морфемой;

(5) если с помощью критериев (1–4) вычленяется сегмент, которому невозможно приписать какое бы то ни было значение, то сегментация считается недействительной и сегмент включается в состав экспонента одной из соседних морфем. Можно привести уже фигурировавший выше пример, снабдив его более подробным комментарием в плане морфемного анализа. В (идиолектном) слове *суворочка* морфема *-а* выделяется тривиально, сегмент *-очк-* вычленяется постольку, поскольку, /131//132/ используемый в том же значении, обнаружим по пропорциям типа *дур-а* : *дур-очк-а* = *кур-а* : *кур-очк-а*. Если после этого мы решим, согласно с критерием (3), посчитать морфемой *сувор-* в *Суворов*, то мы должны будем, на основании критерия (4), приписать морфемный статус и сегменту *-ов*. Однако по крайней мере с точки зрения синхронного состояния языка у сегмента *-ов* в *Суворов* невозможно обнаружить какое бы то ни было значение, поэтому членение *Сувор-ов* объявляется недействительным — слово *Суворов* содержит лишь одну (ненулевую) морфему.

Формулировка всех критериев, как можно видеть, содержит оговорку типа «является морфемой или содержит морфему». Необходимость оговорки объясняется тем, что выделяемый критериями сегмент не всегда одноморфемен. Иначе говоря, критерии говорят о том, что данная единица — не менее морфемы, хотя она может быть и более последней. В таком случае следует применять разные из перечисленных критерии или один и тот же несколько раз, пока не обнаружится невозможность дальнейшей сегментации. Так, методом квадрата (пропорции) одновременно членятся на морфемы исчерпывающим образом четыре двуморфемные единицы, в результате выделяются четыре морфемы. Если же входящие в пропорцию единицы реально содержат более двух морфем каждая, то на каждую «лишнюю» морфему требуется дополнительная пропорция или использование другого из перечисленных критериев. Например, приведенная выше пропорция *дура* : *дурочка* — *кура* : *курочка* позволяет выделить сегменты *дур-*, *кур-*, *-а* и *-очка*. Чтобы обнаружить двуморфемность *-очка*, нужно составить еще один квадрат, скажем, *дурочк-а* : *дурочк-и* = *курочк-а* : *курочк-и* (или просто признать тождественность *-а* из *-очка* и *-а* из *дура*, *кура*).

2.2.2. Выше мы везде говорим о вычленении морфем, хотя точнее было бы говорить о морфах. Но мы не считаем эту неточность

существенной. Вероятно, она будет таковой, если под морфемой понимать класс минимальных значащих единиц, тождественных в плане содержания и связанных закономерными соотношениями, «переходами» в плане выражения, а под (алло)морфами — члены этого класса. Но такое — экстенциональное — толкование морфемы не кажется нам наиболее адекватным. Уместнее трактовать морфему, подобно фонеме, слову, в качестве абстрактного элемента, абстрактной единицы, представленной в каждом употреблении своими конкретными вариантами. А из этого следует, что в каждом употреблении такого варианта мы тоже имеем дело с морфемой, только в ее конкретном проявлении. В системе же, как мы уже писали [Касевич 1986b], морфема представляет дважды: (1) как объект, характеризуемый набором дифференциальных признаков, относящихся к ее форме, значению, функциям, что объединяет все варианты морфемы в противоположность другим морфемам, и /132//133/ (2) как основной, словарный вариант, иногда как структура таких вариантов [Касевич 1986b: 11 и др.]. Системе же принадлежат и правила перехода от словарных вариантов к текстovým.

2.2.3. Стоит особо оговорить важный, с нашей точки зрения, принцип линейности морфемы. В фонологии одно время была сильна тенденция представлять в качестве фонем любые фонологические явления; отсюда такие понятия, как «супрасегментная фонема», «фонема стыка» и т. п., особенно распространенные в дескриптивной лингвистике. Аналогичным образом и в морфологии заметно стремление считать морфемами все, что можно отнести к минимальным средствам передачи тех или иных значений, особенно грамматических. Так, признаются, экспонентами особых морфем — симульфиксов (см., например, [Маслов 1975]) — дифференциальные признаки, если на счет замены дифференциального признака окажется возможным отнести изменение значения, как, например, в румынском /lup/ ‘волк’ — /lup’/ ‘волки’ и т. п.

Представляется, однако, что сосюровский постулат о линейности знака полностью сохраняет свое значение. Морфема — знак, ее экспонент всегда носит линейный характер; на морфемы исчерпывающим образом, т. е. без остатка и однозначно, должен делиться любой отрезок текста, любая языковая единица. Этому условию явно противоречит признание дифференциального признака экспонентом морфемы.

В более широком плане обсуждаемая проблема видится следующим образом. Знак характеризуется не только наличием экспонента в плане выражения и значения, означаемого — в плане содержания. Не менее важны для знака синтактика и прагматика. Синтактика в ее наиболее широком понимании, восходящем к Ч. Моррису, — это «формальное отношение знаков друг к другу» [Моррис 1983: 42]. Коль скоро речь идет об отношении знаков, в нем — в таком отношении — должны участвовать не менее двух разных знаков. Тождественность или нетождественность

(разность) двух знаков не абсолютны, а относительны, они определяются ракурсом рассмотрения; так, две словоформы — разные знаки с точки зрения грамматики, но один и тот же (одна лексема) с точки зрения словаря, лексики. Возможен, впрочем, и несколько иной подход: в словоформе реально обнаружимы два знака: один лексический и один грамматический. Тогда в отношении двух словоформ той же лексемы участвуют три знака, поскольку сохраняется лексический знак, а один грамматический заменяется на другой.

Таким образом, при образовании словоформ с помощью аффикса или служебного слова отношение затрагивает три элементарных знака и заключается, как сказано, в замене одного из них на другой. С какой же ситуацией сталкиваемся мы в случаях типа рум. /lup/ ‘волк’ — /lup’/ ‘волки’ или, скажем, англ. *foot* ‘нога’ — *feet* ‘ноги’? Сколько знаков в таких случаях представлено и как они соотносятся друг с другом? Здесь, /133//134/ по-видимому, по два, а не по три знака, как в рус. *волк* — *волки* или англ. *leg* — *legs*. Средством передачи грамматического значения выступает не замена или прибавление специального знака, а модификация исходного, или операция над знаком, или, еще иначе, его трансформация.

В теориях логического синтаксиса, логических исчислений обычно различают формационные и трансформационные правила. Первые служат для образования из символов алфавита правильно построенных высказываний, или формул, вторые перечисляют все операции, позволяющие производить из одних высказываний (формул) другие путем преобразования формул определенным образом². И формационные и трансформационные правила относятся к синтактике в ее широком понимании. По крайней мере в естественных языках могут существовать трансформационные правила и другого рода, которые преобразуют не выражения, состоящие из знаков, а сам знак, получая, также по определенным правилам, один знак из другого. Именно с такого рода трансформацией элементарного знака мы и имеем дело в случаях наподобие рум. *lup* — *lupi*, англ. *foot* — *feet*, нем. *Apfel* — *Äpfel*. Эти трансформации также относятся к синтактике, как и «формации», когда грамматическое значение передается заменой или добавлением особого знака.

Трансформации упомянутого типа принято называть внутренней флексией; образование множественного числа в румынском языке — это такое же использование внутренней флексии, как и получение аналогичных словоформ в английском и немецком, когда множественное число в них выражается не аффиксом, а перегласовкой корня. Выстраивается следующая типология грамматических средств по степени синтетичности: трансформация (преобразование морфемы, обычно корня,

² См. об этом также [Касевич 1977: 177].

т. е. внутренняя флексия); аффиксация, т. е. замена знака в пределах слова; использование служебного слова, т. е. замена или добавление знака, отдельного по отношению к исходному слову [Касевич 1986b: 28–29]; между аффиксацией и использованием служебного слова существует и промежуточный тип в виде квазиаффиксации (см. ниже, п. 7.2. и сл.).

В лингвистической литературе нередко используется понятие сложного знака, под которым чаще всего понимается высказывание (предложение) или даже текст. Возможно, в наибольшей степени уместно применение понятия сложного знака как раз к таким случаям, когда средством передачи грамматических значений выступают морфологические трансформации. В слове (знаке) наподобие англ. *feet* синкретически переданы два значения — лексическое и грамматическое. В словах же *hands*, *legs* и т. п. имеет место диссоциация лексического и грамматического, каждому из них соответствует свой знак. Если все же считать *hands*, *legs*, *руки*, *ноги* и т. п. единичными знаками, поскольку налицо цельные словоформы, принадлежащие одной лексеме каждая, то это будут, скорее, составные, а не /134//135/ сложные знаки. (Тем более, составным знаком окажется предложение.)

2.2.4. Говоря о морфологических трансформациях, нужно рассмотреть еще один широко распространенный в разных языках способ выражения грамматических значений — удвоение, или редупликацию. Начнем с полного повтора, как в хрестоматийных индонезийских примерах *orang* ‘человек’ — *orang orang* ‘люди’, *rumah* ‘дом’ — *rumah rumah* ‘дома’. Сколько морфем в образованиях *orang orang*, *rumah rumah*? Можно сказать, что морфемы две: одна — корень, а вторая — аффикс множественного числа, который полностью уподобляется корню (не ясно, впрочем, префиксом или суффиксом будет такой аффикс). Можно принять, что мы имеем дело с морфологической трансформацией, которая заключается в воспроизведении корня, тогда *orang orang* — одна морфема, средством выражения множественности выступает сама операция (трансформация) удвоения.

Последняя трактовка вызывает некоторые затруднения. Существуют, помимо полных, и неполные, или дивергентные, повторы. Они заключаются в том, что, удваиваясь, соответствующий элемент одновременно в большей или меньшей степени модифицируется. Например, в индонез. *colak-culing* ‘беспорядочный’ при удвоении заменяются финали слогов.

Однако неполные повторы можно истолковать как совмещение морфологических трансформаций двух типов: внутренней флексии³ и

³ Нужно, впрочем, учитывать, что при дивергентных повторах регулярность модификации экспонента обычно еще меньше, чем при «классической» внутренней флексии.

удвоения. Тогда все сведется к тому, как будет пониматься полное удвоение, поскольку внутренняя флексия, как мы видели, вполне поддается убедительной теоретической интерпретации.

Большую трудность представляют случаи, когда редуцированная единица заведомо является словом. Такого рода удвоения, хотя они принадлежат периферии, нетрудно найти и в русском языке: это полные повторы типа *много-много*, *медленно-медленно* и неполные наподобие *фокус-покус* или *штучки-дрычки*. Если считать, в соответствии с вариантом трактовки, сформулированным выше, что повтор — это трансформированная посредством операции удвоения морфема, то требуются по крайней мере оговорки: коль скоро редуцируется слово как целое, то трансформация может заключаться в воспроизведении каждой из его морфем. Тогда сохраняется слово, сохраняется число его морфем, но последние — все или их часть — редуцируются.

При этом внутри слова может возникать формальный аналог межсловной границы, ср. *штучек-дрычек*, *штучками-дрычками*, *фокусы-покусы* и т. п., где налицо как будто бы раздельнооформленность составляющих. Однако в действительности это именно не более чем формальный аналог границы, реальной же границы — нет. Дело в том, что, как и при морфемном членении, при членении «словном» должны считаться недействительными границы, если они выделяют незначимые единицы. По наличию самостоятельной оформленности флексией в наших примерах выделяются «слова» *покус*, *дрычки*, которым определенно невозможно приписать какое бы то ни было значение, из чего следует, что сегментация недействительна.

Несколько подробнее повторы с точки зрения установления их разновидностей будут освещаться в этой же главе ниже (п. 19.4.2). Сейчас нас интересует лишь проблема минимальности морфемы, а в этом отношении наиболее непротиворечивой представляется интерпретация, опирающаяся на введенное выше понятие морфологической трансформации. Согласно этой интерпретации, трансформация морфемы, которая выражается изменением ее экспонента, его воспроизведением или одновременно тем и другим, дает новый знак, сложный, но при этом минимальный — одну морфему, где синкретически выражены лексическое и грамматическое (включая словообразовательное) значения.

2.2.5. Вопрос о минимальности морфологических единиц возникает также при рассмотрении словообразовательного анализа. В последнее время становится все более принятым подход, согласно которому словообразовательные средства в составе слова — это не просто разновидность аффиксов: следует вообще различать, по меньшей мере три структуры в составе слова — морфемную как таковую, формообразовательную и словообразовательную. Из принципов такого разграничения следует, что с морфемной структурой слова мы имеем дело

тогда, когда выделяем в его составе все минимальные значимые единицы, сегменты (морфы) безотносительно к их функциям⁴. Нужно, заметим, следить, чтобы синхронно-морфологический анализ не подменялся морфонологическим, с одной стороны, и этимологическим — с другой; так, в словах *орловский*, *сочинский*, *ялтинский* выделяются сегменты *-ов-*, *-ин-*, но как субморфы, а не морфемы [Касевич 1986b], в словах *найти*, *находить*, *нашел* префикс *на-*, вероятно, вообще не выделяется, с синхронной точки зрения включаясь в корень, поскольку семантические связи с корнями слов *прийти*, *ходить*, *шел* уже утрачены.

Положение о том, что в составе слова существуют надморфемные структуры, с функциональной точки зрения выступающие как целостные образования, очень давно является общепризнанным применительно к одной единице — основе. Основа — особая единица формо- и словообразования, которая сохраняет свою специфичность и функциональную самостоятельность вне зависимости от одно-/полиморфемности. Есть все основания расширить это положение, признав реальность полиморфемных, но функционально целостных образований, которые выступают «партнерами» основы в процессах формо- и словообразования.

Сразу же надо оговориться, что под последними не имеются в виду обладающие внутренним составом и в этом смысле не-[/136//137/](#)элементарные, но тем не менее единые морфемы — циркумфиксы (конфиксы), трансфиксы, равно как и корни, сочетающиеся с инфиксами или трансфиксами. О циркумфиксе или трансфиксе мы говорим только лишь тогда, когда их составляющие не могут употребляться самостоятельно таким образом, чтобы из их значения и функции естественно вытекали значение и функции целого. Например, в индонезийском языке ни *ke-*, ни *-an* самостоятельно не участвуют в создании форм, по отношению к которым форму *keVan* (*V* — глагол) можно было бы счесть суммой форм *keV* и *Van*. Поэтому *ke...an* представляет собой циркумфикс (конфикс) — одну морфему.

В то же время само по себе отсутствие конкретных форм, порознь употребляющихся с морфологическими элементами, которые встречаются и совместно при выполнении единой функции, еще не говорит о наличии морфемы типа конфикса или трансфикса. Так, в русском языке не существует ни формы **бежаться*, ни **разбежать* — есть только *разбежаться*. Между тем, вывод о том, что перед нами циркумфикс *раз-...-ся* [Квантитативная типология... 1982: 17], был бы, по-видимому, поспешным. Есть основания думать, что и *раз-* и *-ся* в

⁴ Здесь можно усмотреть вполне определенную аналогию с синтаксисом: в составе синтаксических конструкций выделены в качестве мельчайших единиц (конечных составляющих) как все словоформы безотносительно к их функциям, так и те же словоформы или их сочетания в качестве синтаксем.

указанных формах употреблены с теми же значениями и функциями, с которыми они отмечаются порознь при других глаголах. Так, основное следствие присоединения постфикса *-ся* — рецессивность глагола [Касевич 1981]: либо валентность глагола понижается, либо он сочетается с сирконстантами вместо актантов, либо, наконец, морфосинтаксический ранг его актантов (сирконстантов) становится ниже. Например, *судить* — *кого-л.* — *за что-л.*, но *судиться* — *с кем-л.* — *из-за чего-л.*, I актант в вин. падеже уже невозможен. Аналогично *копать* — *копаться* и многие другие, включая наиболее распространенные случаи употребления (*строить* — *строиться*, *свалить* — *свалиться* и под.). Ту же функцию выполняет *-ся* в *разбежаться* в сравнении с *бежать*: *бежать* — *куда-л.* — *с кем-л.* — *за чем-л.* — *откуда-л.*, но на употребимость имен с *разбежаться* наложены, помимо собственно валентностных, даже лексические ограничения, основной набор распространителей — *в разные стороны, по домам* (и т. п.), *кто куда*. Точно так же употребление *раз-* в *разбежаться* вряд ли чем-то отличается от использования того же префикса в *рассыпать, размазать* и т. п. Вероятно, *раз-...-ся* в *разбежаться* и других глаголах этого типа — не циркумфикс, а составной словообразовательный показатель, один, но состоящий из двух морфем.

2.2.6. Итак, дериваторы (словообразовательные показатели) могут быть полиморфемными, представлять собой не единичные морфемы, а морфемные структуры. Могут ли быть полиморфемными также и форматоры, или формативы, — формообразующие показатели? Едва ли не большинство примеров, встречающихся в литературе и призванных иллюстрировать неодноморфемность форматоров, вызывают сомнения. Так, сомнительно выделение *-а-* в *руками, руках, рукам* и т. п.; здесь /137//138/ явно нет значения, да и вряд ли можно что-то противопоставить «феноменологически ориентированному» заключению о том, что данные флексии просто «начинаются на а».

Не вполне ясно положение, например, с образованием множественного числа от некоторых арабских существительных, где одновременно используется замена трансфикса (диффикса) или инфикса и опущение или введение некоторого суффикса или префикса, например, *хузун* ‘печаль’ — *’ахзāнун* ‘печали’ [Квантитативная типология... 1982: 302]. Если не считать *’-* словообразовательным префиксом [Квантитативная типология... 1982: 302], то можно будет утверждать, что единым составным форматором множественного числа здесь выступает структура, состоящая из трансфикса *-а...-ā-...* плюс префикс *’-*.

В то же время безусловными составными полиморфемными форматорами выступают сочетание аффикса и служебного слова для образования некоторой формы — особого члена парадигмы, как в русском сослагательном наклонении, форматор которого — аффикс *-л* плюс служебное слово *бы*.

КЛАССИФИКАЦИЯ МОРФЕМ

3. Обычно следующая проблема, которая возникает перед исследователем, в целом решившим проблему морфологической сегментации, обнаружения надморфемных структур, — это классификация морфем (и морфемных образований). Наиболее общая классификация подразделяет морфемы на знаменательные, или лексические, и служебные, или грамматические. Термин «знаменательные», возможно, не слишком удачен, поскольку знаменательность — примерно то же, что значимость, а значимостью (значением) обладают по определению все морфемы. На этом основании его в литературе иногда отвергали как нелогичный и внутренне противоречивый. Однако термин, выросший из слова естественного языка, почти всегда несет груз каких-то ассоциаций, от которых лучше отвлечься, вкладывая в термин лишь то содержание, которое предполагается его определением.

По существу, речь здесь должна идти о более широкой проблеме — о разграничении словаря и грамматики, что выступает, так сказать, первым делением для любого языка: коль скоро язык есть динамическая функциональная система, а последняя предполагает наличие единиц и правил их функционирования, то элементы и образуют словарь, а правила — грамматику. Но и сами единицы с этой точки зрения неоднородны: одни служат объектом применения правил, другие — средством, инструментом реализации этих правил. Понятно, что как раз первые традиционно относятся к знаменательным, а вторые — к служебным.

4. В обширной литературе, посвященной вопросу об установлении принципов, которые позволили бы однозначно определять знаменательность/служебность морфем, представлены по-[/138//139/](#)лярные мнения. Согласно одной точке зрения, служебность должна определяться с опорой исключительно на форму: нужно искать формальные признаки, которые позволили бы отделить знаменательные морфемы от служебных безотносительно к их значению. Согласно другой, существует специфика грамматических значений, которые передаются именно служебными морфемами; следовательно, последние можно диагностировать по наличию соответствующего значения.

Представляется, однако, что противопоставление формального и содержательного критериев отграничения служебных морфем не вполне корректно. Для лингвиста всегда интересны, в первую очередь, такие формальные различия, за которыми стоит «что-то» в плане содержания, и такие содержательные, которые выражены формально. Например, отношение дополнительной дистрибуции формально по своей природе. Но закрепленность за разными контекстами означает невозможность противопоставления, а это уже содержательная характеристика. Так и со спецификой служебности, грамматичности: уместно искать ее и

формальные и содержательные отличительные черты. Другое дело, что в конкретном анализе, имея перед собой задачу выявления служебных морфем, лингвист получает более надежные основания, когда отправляется от некоторых формальных критериев.

4.1. Говоря о том, что существуют значения, грамматические «по природе», нужно иметь в виду разные интерпретации данного положения. Наиболее простая сводится к тому, что имеется класс значений, которые всегда, во всех языках передаются грамматическими средствами. Если такой класс и реален (кажется, специально этот вопрос никто не изучал), то он, скорее всего, достаточно беден. Так, способы отражения семантических ролей вряд ли когда-нибудь носят неграмматический лексический характер. Но в любом случае трудно ожидать априори, что какое-то значение ни в одном языке не может быть выражено грамматическим способом, ср., например, такую «экзотическую» категорию, как «действие, совершаемое впервые/не впервые» в некоторых индейских языках [Ахманова и др. 1961] и т. п.

4.2. Другое возможное истолкование положения о специфичности грамматических значений состоит в постулировании некоторого универсального языка грамматической семантики: существует, быть может, круг значений, которые обязательно должны быть выражены в любом языке, и именно эти значения передаются служебными морфемами, вызывают к жизни особые синтаксические конструкции и т. п. В отличие от первой трактовки, при которой допускалось, что данное значение в некотором языке может вообще не выражаться (но если выражаться — то грамматически), здесь говорится об обязательности выражения значения в любом языке. Возможно, к таким обязательным (в указанном смысле) значениям принадлежит, например, значение начинательности: в любом языке представ-^{/139/140/}лены либо начинательные формы глаголов, либо дериваты с начинательным значением, либо отличающиеся грамматическими свойствами и образующие особые конструкции, вспомогательные (полувспомогательные) глаголы с той же семантикой. Другой пример: в любом языке существуют грамматические средства (включая сюда интонационные) для различения повествовательных, вопросительных и повелительных предложений.

Однако и при такой трактовке, во-первых, неясно, «что делать» со значениями за пределами узкого, вероятно, круга, образующего универсальный язык грамматической семантики; во-вторых, существует, по-видимому, и универсальный язык лексической семантики (в этой связи примером может служить список М. Сводеша из 100 лексических единиц). Хотя разница между первым и вторым «языками» кажется интуитивно ясной, не вполне понятно, как их разграничить, если оба универсальны, оба подлежат обязательному выражению в любом естественном языке.

4.3. Наконец, при третьей возможной трактовке специфически-грамматических значений также апеллируют к их обязательности, но уже в несколько ином смысле. Вместо признания некоторых значений универсально-обязательными, предлагается считать, что существуют значения, которые не могут не быть выраженными при употреблении определенных слов определенного языка. Именно такие значения — в данном языке — и будут грамматическими, а служебными окажутся морфемы с грамматической, в указанном смысле, семантикой [Ахманова и др. 1961].

Нужно признать, что последний вариант концепции грамматической семантики особенно привлекателен. Он подводит под концепцию некоторую базу, правдоподобную теоретически и делающую возможной ее практическое применение. Действительно, нетрудно увидеть, что, скажем, значения времени, вида для (русского глагола носят грамматический характер: нельзя употребить глагол (применительно к времени — глагол в финитной форме), не выразив значения времени и вида. Их выражение носит «принудительный» характер. Точно так же легко показать, что, например, противопоставление актуального/неактуального действия грамматично в английском языке (ср. *I am swimming / I swim* и т. п.) и неграмматично в русском. Данная трактовка, заметим, окажется в согласии с предыдущей, если мы скажем, что существуют значения, подлежащие обязательному выражению в некоторых языках, а среди них выделяются такие, которые являются универсальными, т. е. должны выражаться во всех языках.

4.3.1. Единственная, хотя и немаловажная, трудность для этого варианта заключается в вопросе: что следует понимать под «выражением» значения? Если полагать, что обязательны сами морфемы, которые несут соответствующую семантику, то окажется, что во многих изолирующих языках, а отчасти и в /140//141/ агглютинативных, неграмматичны морфемы, использующиеся для указания на синтаксические функции слов в предложении, видо-временные значения и т. д. В этих языках, как известно, существует феномен так называемой факультативности показателей: при наличии компенсирующего контекста, включая внелингвистический, показатели могут опускаться, как в уже приводившемся нами бирманском примере [Касевич 1977], где служебные слова, маркирующие синтаксические функции, могут отсутствовать, например, $m^2\ x^2\ sa^2\ ou^4\ kou^2\ nxa^4\ m^2\ \acute{e}$ ‘Он читает книгу’ и $m^2\ sa^2\ ou^4\ nxa^4\ m^2\ \acute{e}$ — с тем же значением (служебные слова — x^2 при m^2 ‘он’ и kou^2 при $sa^2\ ou^4$ ‘книга’ — опущены). Коль скоро как будто бы нет оснований усомниться в служебной, грамматической природе таких морфем, — среди них есть не только синтаксические, но и морфологические, — остается признать, что в обсуждаемой трактовке концепция обязательного выражения грамматических значений, как минимум, неуниверсальна.

4.3.2. Но возможно и другое понимание тезиса об обязательности выражения грамматической семантики. Если считать, что, скажем, прототипическое значение показателя первоактантности в бирманском языке $-xa^2$ — семантическая роль субъекта, то это значение сохраняется и при отсутствии показателя или его аналога. Иными словами, грамматическое значение в этом случае должно трактоваться как обязательно присутствующее, а не обязательно выраженное тем или иным способом.

Не всегда, впрочем, сам факт присутствия значения при устранении соответствующей морфемы столь очевиден. Например, в изолирующих и агглютинативных языках показатели множественного числа при существительных используются далеко не так регулярно, как во флективных и, обычно, аналитических. При наличии указания на точный счет показатель почти исключен, в других случаях он может опускаться, если единичность/множественность не существенна или недвусмысленно определяется контекстом. Показателя единственного числа в таких языках просто нет. Как трактовать семантику существительного без показателя множественного числа? Если это особое «неопределенное число», то как объяснить сочетаемость неоформленного существительного с числительными? Ведь следовало бы ожидать, что «неопределенное число» используется только тогда, когда количество, счет в принципе не существенны или даже невозможны, неустановимы. Если же неоформленное существительное принимает семантику множественности в качестве немаркированного члена оппозиции, то и в этом случае фактически нарушается требование обязательности значения, поскольку форма оказывается как бы «универсальным контейнером», в который может быть вложено любое из некоторой области, значение.

4.3.3. По-видимому, в настоящее время придется ограничиться признанием того, что грамматические значения тяготеют [/141/142/](#) к обязательному выражению, и есть три степени, или три уровня, «обязательного выражения»: (1) при словах данного класса соответствующее значение не может остаться не выраженным и для этого всегда употребляются специальные формальные средства; (2) значение обязательно присутствует, но специальные формальные средства для этого, хотя они должны иметься в системе языка, не являются обязательными в каждом конкретном случае — средством передачи соответствующей семантики может становиться контекст; (3) наряду с выражением данной семантики тем или иным формальным средством, контекстом, отмечаются также ситуации своего рода нейтрализации грамматического значения, когда информация по данному признаку становится неопределенной, несущественной (см. также п. 18.3.2). Ни для одного уровня нет, как видим, универсальной, абсолютной обязательности,

хотя, как уже говорилось, уместно полагать, что существует — в конкретных областях семантики — и такая⁵.

5. Выше речь шла о содержательной специфике грамматического. Как сказано, есть основания ожидать, что существует и формальная специфика, также общая для всех языков. На сегодняшний день, насколько нам известно, выделяются лишь два признака, о которых принято говорить как об универсальных приметах грамматических, служебных морфем.

5.1. Первый признак можно назвать регулярностью (относительной) грамматических морфем. Имеется в виду, что такие морфемы обладают широкой сочетаемостью, они обслуживают открытые классы других морфем (слов), а сами при этом входят в некоторые закрытые классы. То же самое иначе формулируется следующим образом: окружение служебной морфемы более или менее свободно поддается замене, оно заменимо морфемами из открытого класса, сама же служебная морфема может замещаться лишь членами количественно и качественно определенного, закрытого класса [Мартине 1963; Яхонтов 1968]. Примером могут служить падежные окончания: ясно, что теоретически неограничен класс морфем, способных сочетаться, скажем, с морфемой *-а* (ж. р., ед. ч.), сама же она может быть заменена лишь на другие падежные окончания той же парадигмы.

По поводу описанного формального признака служебных морфем можно заметить следующее. Во-первых, у него есть содержательная «подоплека». Поскольку выражение грамматических значений имеет тенденцию к обязательности, было бы нецелесообразно, неэкономно передавать с помощью служебных морфем узкие, конкретные значения — это перегрузило бы и язык, и текст. Грамматические значения, как правило, бывают абстрактными, широкими, они как бы делят семантическое пространство языка гиперплоскостями. По известному закону логики, большая абстрактность, семантическая бедность

⁵ А. Е. Кибрик недавно сформулировал предположение о том, что универсальность/неуниверсальность значения определяется прагматическими факторами: универсальными должны оказаться те семантические параметры, учет которых необходим для выполнения языковой системой ее основных функций [Кибрик 1986] (ср. также [Касевич, Храковский 1983: 6–7]). Безусловно, это справедливо, но нуждается в разработке эксплицитных критериев (методики?), позволяющих обнаруживать «прагматическую неизбежность» тех или иных значений. Некоторые из конкретных примеров, приводимых в упомянутой работе Кибрика, вызывают сомнения. Например, среди них фигурирует каузатив как представитель «универсальных семантических сущностей, требующих выражения во всяком языке» [Кибрик 1986: 60]. Верно, что при общении на любом языке возникает потребность передать «каузативную ситуацию», но из этого еще не следует наличия категории каузатива; так, в русском языке последняя отсутствует, каузативность как таковая просто невыразима по-русски без некоторых лексических наслоений (см. об этом п. 24.3).

предполагают более широкий объем, что облегчает сочетаемость, и грамматические значения, соответственно, оказываются совместимыми с очень широким кругом других значений. Отсюда и регулярность служебных морфем.

Во-вторых, критерий регулярности не может применяться механически (что, конечно, является его недостатком). По крайней мере, отсутствие соответствующих свойств еще не говорит о неграмматичности, лексичности. Особенно это, вероятно, относится к показателям-дериваторам. Например, имеются *тигрица*, *львица*, *волчица*, но не, скажем, **барсица*⁶. Хотя *-иц(а)* — и в этом вряд ли у кого-либо могут возникнуть сомнения — является служебной морфемой.

Такое положение, скорее всего, не случайно. Словообразование вообще во многих отношениях промежуточно по отношению к формообразованию, с одной стороны, и словарю — с другой (см. гл. IV).

5.2. Вторым признаком, который обычно используется для установления грамматичности морфем, заключается в том, что служебные морфемы — именно в силу своей служебной природы — не употребляются вне комбинации с той или другой морфемой, обычно знаменательной. Это в принципе справедливо, но реально вряд ли может использоваться как критерий. Во-первых, существуют знаменательные связанные морфемы, к ним принадлежит и большинство корней во флективных языках, которые равным образом не употребляются вне сочетаний. Во-вторых, имеются и заведомо служебные морфемы, которые, однако, употребляются самостоятельно, хотя и в эллиптических высказываниях, например, *Будешь обедать? — Буду.*

6. Итак, при обсуждении как семантических, так и формальных признаков служебности мы не обнаруживаем абсолютно недвусмысленной грани между грамматическими и лексическими единицами. Вряд ли причина этого — лишь в несовершенстве методики и понятийного аппарата лингвистического исследования. Уже говорилось, в частности, о том, что словообразование по природе своей — «межеумочная» сфера, имеющая точки соприкосновения и с грамматикой «в лице» формообразования, и со словарем. Уже в пределах словообразования многие лингвисты склонны выделять промежуточные единицы, называемые обычно полуаффиксами, которым, как считается, свойственны признаки и лексических, и грамматических морфем. Эти единицы, таким образом, еще менее грамматичны, еще более сближаются с лексическими. Но подобные промежуточного характера единицы обнаруживаются и в сфере формообразования, обычно аналитического, а также среди

⁶ В данном случае отсутствует не только формальная регулярность (ср. *лосиха*, *ежиха*, где то же значение выражается другим суффиксом) — соответствующая семантика выразима лишь лексическими средствами (*самка барса*, *барс-самка*).

синтаксических служебных слов. Например, обычно утверждается, что *быть* — связка, *становиться (стать)* — полусвязка, что полувспомогательными являются модальные глаголы и т. п.

6.1. Следует признать, очевидно, что границы между лексическим и грамматическим в языке в принципе не могут носить абсолютного характера. В чем можно видеть функцию такого разграничения? Как явствует из обсуждения, предпринято-^{/143//144/}го выше, основных функций — две. Одна заключается в том, чтобы из всего — бесконечного, вообще говоря, — набора значений, подлежащих передаче, выделить некоторое относительно небольшое подмножество наиболее «нужных», наиболее часто воспроизводимых, достаточно широких и обеспечить их более или менее единообразное выражение фиксированными средствами. Другая функция — обеспечить специальными средствами формальную организацию высказывания, без чего последнее «рассыпется». Ясно, что коль скоро язык складывается стихийно в течение огромного по продолжительности времени, то постоянно происходит перераспределение его средств между грамматикой и словарем, что и является одним из основных источников подвижности и, отсюда, неопределенности границы между ними.

6.2. Но, возможно, даже не это главное. И первая, и вторая функции, обрисованные выше, указывают лишь на тенденцию, усматриваемую в закономерностях устройства языков, а не на абсолютное требование к такому устройству. Ведь речь идет об экономности и целесообразности, а это категории по природе своей относительные. Например, безусловно экономичнее и целесообразнее иметь в языке для каждого частного грамматического значения один аффикс, как это обычно для агглютинативных языков, но существуют и флективные с их развитой синонимией парадигм. (Кроме того, в механизме агглютинации при всей его экономности и «логичности» есть и оборотная сторона — рыхлость словоформы, а точнее, квазисловоформы; см. об этом [Касевич 1986b], а также ниже.) Наконец, нельзя исключать и синонимию грамматических и лексических средств (хотя вопрос этот не столь прост, см. п. 18.2.5). Именно здесь и лежит, возможно, главная причина неоднозначности границы между лексическим и грамматическим: если одно и то же значение в пределах данного языка может быть выражено регулярным средством и идиосинкратически, то возникает почва для их функционального сближения.

Как и во многих других случаях, для языка здесь свойствен принцип своего рода триплетного кодирования: существуют безусловно грамматические средства и безусловно лексические, а между ними располагается промежуточная зона, которая может быть более или менее обширной. Причем если для полярных областей — «чистых» грамматики и лексики — обнаружимы признаки и свойства, универсальные для всех

языков, то полуслужебность может обладать специфическими чертами в разных языках.

6.3. Проиллюстрируем сказанное материалом бирманского языка. Здесь существуют морфемы-субстантиваторы, служебность которых формально демонстрируется их сочетаемостью с глаголами и глагольными конструкциями открытого класса; из сочетаемости с глагольными конструкциями, равно как из некоторых других признаков, следует, что субстантиваторы являются /144//145/ служебными словами (а не аффиксами). Сами субстантиваторы с сохранением типа конструкции и всех релевантных грамматических связей могут быть заменены лишь на другие служебные морфемы строго ограниченного класса.

Наряду с ними, существуют и другие субстантиваторы, которые равным образом обладают всеми перечисленными выше признаками, но конструкция с таким субстантиватором может трансформироваться в другую, синонимичную ей, где субстантиватор формально выступает в качестве определяемого, а остальная часть конструкции — как определение с ядром-глаголом в соответствующей форме. Например, *най²нган² коу² ти² тхаун² ту²* ‘основатель государства’ → *най²нган² коу² ти² тхаун² тэ¹ ту²* ‘тот, кто основал государство’.

Поскольку служебное слово не может быть определяемым, т. е. выступать в качестве самостоятельной синтаксемы (ср. выше), то налицо смешанный, промежуточный статус бирманского субстантиватора *ту²*, из чего и следует целесообразность его квалификации в качестве полуслужебного слова. Но в других языках эта промежуточность, а отсюда и полуслужебность, могут проявляться каким-то иным образом.

7. Следующий шаг в установлении системных отношений между морфемами языка — классификация служебных (и полуслужебных) морфем. Она может осуществляться на разных основаниях. По одному из них выделяются служебные (полуслужебные) слова и аффиксы (полуаффиксы); в дальнейшем мы будем опускать упоминание о полуслужебных морфемах, поскольку с интересующей нас сейчас точки зрения они не обладают какой-либо специфичностью.

7.1. Служебные слова — это, прежде всего, отделяемые служебные морфемы: между служебным словом и тем знаменательным элементом, к которому оно относится, имеются или могут быть помещены (вставлены) другие языковые элементы. Последние, чтобы они могли свидетельствовать об отделяемости служебной морфемы, должны обладать следующими свойствами: вставляемая единица (1) способна функционировать как высказывание или (2) заведомо является по своему составу словосочетанием, предложением или же (3) оказывается сама служебным словом — т. е. служебной морфемой, словный статус которой доказан вставимостью по типу (1) или (2). Другим критерием может служить возможность изменения позиции служебной морфемы

относительно другой, с которой она совместно употребляется. Наконец, если доказано, что служебная морфема обслуживает словосочетание или предложение, она также должна считаться служебным словом.

Приведем примеры. Наиболее простой случай — артикли наподобие английских, немецких, французских, ср. *a bird* → *a blue bird*, *the bird* → *the blue bird* и т. п.; *blue* очевидным образом может использоваться в высказываниях-репликах. В русском языке для сочетания предлога с существительным в предлож-^{/145/146/}ном падеже словный характер предлога не может быть доказан вставимостью по типу (1), ибо вводимое определение — наиболее естественный вид вставки — не способно функционировать как высказывание, ср. *в доме* → *в большом доме*, но *в каком доме?* — *в большом*, не **большом*. Однако возможна вставка типа (2): *в доме* → *в большом, построенном сто двадцать лет тому назад первыми поселенцами доме* или *в доме* → *в новом, что сразу было заметно по запаху свежей краски, доме*. Третий тип может быть показан на материале русских отрицательных местоимений *никто*, *ничто*, *никакой*. В именительном падеже вставка, которая отделяла бы *ни*, невозможна, однако в косвенных падежах вводятся предлоги: *ни к кому*, *ни от кого*, *ни по какому* и т. д. Предлоги являются служебными словами, что видно на основании вставимости типа (1) или (2), ср. *к дому* → *к большому дому* и т. п. Оказывается, таким образом, что в данных отрицательных местоимениях *ни* — служебное слово, т. е. *никто*, *ничто* и т. п. не являются словами. Несмотря на расхождение с традицией, результат не должен удивлять: нет оснований считать, что, скажем, *ни один* не имеет статуса единого слова, а *никто* — имеет, когда существенные различия между ними обнаружить трудно, орфография же, конечно, не может служить ориентиром.

Здесь можно видеть особую проблему трактовки элементов, которые проявляют разные свойства в различных сочетаниях. Применительно к служебным морфемам ее целесообразно решать так: если нет оснований считать морфемы в их разных употреблениях омонимами, то морфема признается служебным словом, если она обнаруживает отделяемость хотя бы в одном из сочетаний. Поэтому предлоги — служебные слова, хотя в сочетаниях с местоимениями типа *к нему*, *для нас* они не отделяются; служебным словом, как мы видели, оказывается и *ни* в *никто*, *ничто* и т. п. В принципе аналогична ситуация, когда при одном знаменательном элементе употреблены два служебных, которые в качестве сочетания, т. е. вместе, отделимы от знаменательного, но не друг от друга, типа англ. *for the people*. В таких случаях достаточно показать, что отделима каждая из служебных морфем порознь в сочетаниях с тем же словом или словом того же класса, тогда обе они считаются служебными словами. Именно это имеет место для сочетания наподобие *for the people*, ср. *for the honest people*, с одной стороны, и *the honest people* — с другой.

Разумеется, описывая свойства конкретных слов, нужно учитывать и те ситуации, когда они утрачивают признак отделяемости: в конечном счете, важны именно те характеристики, которые проявляются в разных типах функционирования, а не просто отнесенность к классу — в данном случае, классу служебных слов. Можно привести такую аналогию: переходные глаголы выделяются главным образом по способности иметь дополнение, выраженное именем в винительном падеже (или /146//147/ каким-то его аналогом); но в пассивных конструкциях переходный глагол утрачивает это свойство, оставаясь, разумеется, переходным глаголом. Так и служебное слово: его главный признак — отделяемость, но из этого не обязательно следует, что данный признак сохраняется во всех ситуациях.

Критерий переставимости можно показать на примере союза *uə/ū* в языке иврит: ср. *uə šakkūlā 'en bāhem* 'и бесплодной нет среди них' → *uə 'en šakkūlā bāhem* 'и нет бесплодной среди них' [Квантитативная типология... 1982: 288–289]. О сочетаемости с конструкциями как способе установления словного характера служебной морфемы говорилось выше применительно к бирманским субстантиваторам.

Неотделимость аффиксов хорошо видна на материале русских и подобных им окончаний (которые в этом смысле подпадают под категорию аффиксов), показателей лица, числа, неличных форм глагола в романских и германских языках.

7.2. Служебные слова и аффиксы образуют полюса в классификации служебных морфем с данной точки зрения. Но и здесь мы видим обширный класс грамматических элементов, промежуточных по отношению к аффиксам, с одной стороны, и служебным словам — с другой. Абсолютное их большинство, принадлежит к показателям, которые традиция именует агглютинативными аффиксами. О специфичности таких показателей нам не раз уже приходилось писать [Касевич 1977; 1984с; 1986b], и здесь мы отчасти кратко воспроизведем уже приводившиеся в предыдущих работах соображения, отчасти подведем итоги — предварительные — обсуждению проблемы.

7.2.1. Хорошо известно, что агглютинативные аффиксы способны выноситься за скобки: при наличии ряда слов, при которых предполагается один и тот же показатель, он употребляется лишь с одним из слов, т. е. имеет место процесс вида $Xa + Ya + Za + \dots + Na \rightarrow (X + Y + Z + \dots + N)a$. Таким образом, если, скажем, в русском языке исключен прием наподобие *женщин-ы и мужчин-ы* → **женщин- и мужчины*, то, например, для турецкого языка он вполне естествен: *bayanlar ve baylar* → *bayan ve baylar* 'дамы и господа'.

Уже феномена вынесения за скобки достаточно, чтобы увидеть специфичность такого рода «аффиксов», их принципиальное отличие от тех, что представлены русскими и подобными окончаниями. Но этим особые свойства агглютинативных показателей не исчерпываются. Будучи

вынесены за скобки, они могут отделяться от непоследних⁷ знаменательных элементов вставками, которые удовлетворяют условиям, сформулированным выше для обнаружения служебных слов. Приведем пример из бирманского языка: *тхамин³ та кхвэ⁴ коу² са³, йэй² та кхвэ⁴ коу² тау⁴ пхоу¹ та нэй¹ лоун³ лоу²лоу² алоу⁴ лоу⁴ йа¹мэ²* ‘Чтобы съесть чашку риса, выпить чашку воды, [он] должен работать чуть ли не целый день’. Здесь показатель глагольной формы *пхоу¹* относится одновременно к двум глаголам: *са³* /147//148/ ‘есть’ и *тау⁴* ‘пить’, причем от первого из них он отделен словами *йэй² та кхвэ⁴ коу²* ‘чашку воды’. В русском «буквально-морфологическом» переводе это выглядело бы так: ‘Чтобы съес- чашку риса, выпить чашку воды...’. Специфичность ситуации заключается в том, что служебная морфема, с одной стороны, обладает дистантными, к тому же разрываемыми связями, что сближает ее со служебными словами, с другой же — она не может примыкать к знаменательному элементу, с которым не находится в грамматической связи, а это уже признак аффиксов. Налицо, стало быть, промежуточный, смешанный характер показателей, которые традиционно считаются агглютинативными аффиксами.

7.2.2. Существуют и другие свидетельства, говорящие о том, что «аффиксы» агглютинативных языков заметно отличаются от аффиксов флективных. Одно из них связано с понятием нулевого элемента. Внешне ситуация такова, что, скажем, и в русском и в тюркском слове к основной (словарной) форме слова может присоединяться аффикс, например, *конь* → *коню*, *ат* → *атка*. Для русского языка, однако, формулировка, использованная выше, не является корректной: аффикс не присоединяется к слову (вообще сочетаются друг с другом единицы одного уровня⁸), а заменяет собой другой аффикс — нулевой, т. е. *кон’-∅* → *кон’-у*. Как

⁷ Мы говорим о «непоследних» знаменательных элементах, поскольку в языках, для которых типичны описываемые явления, характернее постпозиция служебных морфем, так что они присоединяются справа к последнему из членов соответствующей цепочки.

⁸ Это положение, вообще говоря, не абсолютно. О полной ясности говорить еще трудно, поэтому приведем, скорее, отдельные иллюстрации, нежели связное изложение концепции. По-видимому, слоги соотносятся со слогами, а фонемы с фонемами. То, что выглядит как присоединение фонемы к слогу, например, *та* → *ста*, в действительности нужно рассматривать как результат соединения двух глубинных слогов, т. е. *сэ* + *та* → *сэта* → *ста* [Касевич 1983: 109 и сл.]. Морфемы, разумеется, сочетаются только с морфемами, но уже слова могут присоединяться к предложениям. Во-первых, это относится к служебным словам, которые явно могут быть грамматически связанными с предложениями (и синтагмами), например, показатели вопроса. Во-вторых, иллюстрацией могут служить вводные слова, а также слова-темы, которые не входят в синтаксическую структуру предложения (высказывания), однако же синтагматически с ним сочетаются.

следует описывать положение в тюркских и типологически близких к ним языках?

Вопрос очевидным образом упирается в проблему нулевого показателя: если в *ат* и т. п. та же морфемная структура, что и в *конь* и т. п., то никакой специфики не обнаруживается, присоединение аффикса *-ка* представляет собой замену морфологического нуля на ненулевой показатель, т. е. *ат-Ø* → *ат-ка*. Однако именно законность присутствия нуля в словарной форме тюркского слова, вообще «алтайского» и типологически близких, вызывает сомнения.

7.2.3. Чтобы обосновать эти сомнения, придется специально рассмотреть природу такого понятия, как нулевой (морфологический) показатель. Необходимой предпосылкой наличия в системе нуля является обязательность состава той единицы, в которую нуль предположительно входит⁹. Именно обязательность обеспечивает значимость, знаковость отсутствия некоторого компонента формы: если компонент данного типа должен быть в соответствующей позиции, то его отсутствие, так сказать, замечается, оно приобретает силу знака наряду с присутствием материально выраженного элемента структуры.

Обязательность, в свою очередь, есть следствие предельной суженности класса выбора — такой ситуации, когда в позиции X элемент класса A либо присутствует, либо отсутствует. Наиболее типичный случай — словоформа, структура которой описывается формулой $n \pm 1$, где n — число материально представленных элементов одного уровня. В русском языке данной структурой обладает словоформа изменяемых частей речи, в /148//149/ которой всегда налицо основа и окончание, причем последнее может «физически» отсутствовать.

Такое положение можно назвать синтагматической единственностью нуля: в каждой позиции не может быть более одного нулевого элемента¹⁰. Синтагматическое сочетание нулей было бы,

⁹ Хорошую аналогию, показывающую важность обязательности для того, чтобы отсутствие «чего-то» приобрело знаковый характер, приводит Б. А. Успенский: для тех культур, где ношение обручального кольца состоящими в браке обязательно, его отсутствие значимо, говорит о неженатости (незамужности), и это указание столь же недвусмысленно, как и наличие кольца. Однако в контексте тех культур, где обязательности ношения кольца нет, его наличие имеет силу знака, отсутствие же просто неинформативно [Успенский 1965].

¹⁰ Из сказанного не следует, что данная единица, например, словоформа, включает максимум один нуль, поскольку в ее составе могут обнаруживаться подструктуры, в которых возможны собственные нули. Например, если считать, что в арабском слове (знаменательном, изменяемом) корень всегда представлен тремя согласными, а трансфикс (диффикс) — двумя гласными, то окажется, что, скажем, в 'уктуб' 'пиши' (муж. р.) трансфикс состоит из нулевой и гласной (второго у) частей, а, кроме того, использована «внешняя» флексия наклонения, также нулевая. Дело в том, что корень с трансфиксом составляют одну подструктуру — основу, а основа с окончанием, или

действительно, по меньшей мере странно, ибо нуль должен обладать такой же определенностью, семантической и функциональной, как и ненулевой показатель (не больше, но и не меньше), а при сочетании двух и более нулей возможность их разграничения для «установления личности» была бы более чем проблематичной.

В языках «алтайского» типа трудно говорить об обязательном составе словоформы. Так, при основе тюркского существительного может не находиться ни одного показателя, или же — в данной последовательности — показатели множественного числа, принадлежности, падежа, а также любой из них без сопровождения прочих. Иначе говоря, материально одну и ту же позицию¹¹ занимают представители разных классов. Соответственно, одновременное отсутствие всех показателей никак не характеризуется однозначностью (для глагольной словоформы число одновременно отсутствующих показателей будет гораздо больше — порядка десяти). Более того, как уже упоминалось выше, из неупотребления показателя множественного числа не следует семантика единственности, так как контекст, — например, сочетание с числительным ‘два’ и более, — может указывать на значение множественности. А это явно противоречит существованию оппозиции $\emptyset \sim lar$ (тюркский показатель множественного числа), которая обычно фигурирует в описаниях соответствующих языков.

Таким образом, подобно тому, как отсутствие предлога или послелога не есть нулевой предлог (послелог) — сочетание существительного с предлогом (послелогом) не образует формы обязательного состава, — так и отсутствие показателей падежа, числа и ряда других в «словоформе» языков «алтайского» типа нельзя считать нулевым аффиксом. А из этого, в свою очередь, следует, что употребление *-нын, -ны, -ка, -да, -дан* и т. п. — это действительно присоединение грамматического показателя к слову. Коль скоро это так, сам показатель не может считаться аффиксом. Как уже говорилось, аффикс не присоединяется к слову, а только лишь заменяет другой аффикс в составе последнего¹².

7.2.4. Еще одним свидетельством неаффиксальной природы многих грамматических показателей «алтайских» и им подобных языков является их неполная парадигматичность. Окончания падежей типа русских, как бы они ни были разнородны семантически и функционально, никогда не сочетаются. Что и естественно, иначе образуемые ими формы

«внешней» флексией — другую, являющуюся уже словоформой как таковой. В пределах каждой (под)структуры — свои нулевые элементы.

¹¹ О так называемых нулевых порядках в агглютинативных языках см. п. 10.2.

¹² Аффикс может присоединяться к корню или основе, образуя, соответственно, или изменяя последнюю (основа — в языках типа русского — не обладает обязательным составом).

не входили бы в одну и ту же парадигму. В отличие от этого, падежные показатели тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, /149//150/ корейского и японского языков частично сочетаются друг с другом, ср. кор. *хйэнним-еге-ый пхйэнчжи* ‘письмо брату’, где *-еге-* — показатель дательного падежа, а *-ый* — родительного. Указанное свойство также сближает агглютинативные падежные показатели со служебными словами, которые в принципе могут сочетаться, например, англ. *out of sympathy* и т. п.

7.2.5. Наконец, в некоторых случаях возможно изменение позиции грамматических показателей относительно совместно употребленных с ними служебных морфем, ср. япон. *нихон-о-дакэ* → *нихон-дакэ-о* ‘даже Японии’, где *-о* традиционно считается аффиксом винительного падежа.

Итак, по целому ряду признаков «аффиксы» агглютинативных языков «алтайского» типа (реально — их часть, которая в разных языках характеризуется разным объемом) тяготеют к служебным словам. Вместе с тем квалифицировать их как служебные слова значило бы впасть в другую — по сравнению с традиционным подходом — крайность. Как уже отмечалось, существуют и признаки, сближающие интересующие нас показатели с «настоящими» аффиксами: они ничем не отделяются от той знаменательной морфемы, к которой примыкают, хотя, как мы видели, довольно свободно отделяются от тех, к которым не примыкают, будучи грамматически связаны с ними в неменьшей степени.

7.2.6. Нельзя не упомянуть, что указанная непроницаемость ближайшего левого стыка объясняется законами порядка слов в интересующих нас языках. Дело в том, что типичные «вставки», демонстрирующие отделяемость служебных слов, — это разного рода зависимые слова: приглагольные и приименные определения, приглагольные актаны и сирконстанты, а такие слова всегда в анализируемых языках располагаются слева от главного слова. Например, что могло бы послужить вставкой для доказательства отделимости *-ка* в *ат-ка* ‘коню’? Естественнее всего эту функцию выполнило бы какое-либо определение к слову *ат* ‘конь’ — но все возможные определения неизменно примыкают слева, поэтому между *ат* и *-ка* невозможна какая бы то ни была вставка.

Мы не считаем, однако, что неотрывность показателей типа *-ка* «дезавуируется» на том основании, что ее можно отнести на счет внешних для морфологии причин — порядка слов. Не посчитали бы мы убедительным и аргумент, основанный на том, что системные характеристики языка данного типа, запрещающие вставку, не оставляющие выбора, просто лишают смысла вопрос о различии аффиксов и служебных слов, если в основе их разграничения именно отделяемость/неотделяемость. Во-первых, если порядок слов — факт синтаксиса, из этого отнюдь не следует, что он иррелевантен для

морфологии. Скорее наоборот: как говорилось во «Введении», функциональный подход к языку предполагает, что сущность языковых единиц выявляется в том, как они ведут себя, обслуживая другие единицы. По крайней мере часть морфем типа падежных показателей обслуживает синтаксис, поэтому особенно важно, какие свойства они при этом обнаруживают.

Во-вторых, сам по себе вопрос «аффикс или служебное слово?» никак не должен носить чисто номенклатурного, классифицирующего характера. Зачем, вообще говоря, нам знать ответ на этот вопрос? Вовсе не для того, чтобы «наклеить этикетку» на соответствующие языковые единицы и тем посчитать свою миссию выполненной. Определение того или иного элемента в качестве аффикса, служебного слова и т. п. есть сокращенное наименование списка его релевантных свойств — тех свойств, которые проявляются в речевой деятельности. Речевая деятельность, в частности, — это построение высказываний, и чрезвычайно важно, что при этом одни служебные морфемы могут отделяться от грамматически связанных с ними знаменательных, другие — не могут, а третьи могут в одних структурных ситуациях и не могут в других. Если возможность/невозможность отделения связана с некоторыми более общими закономерностями данного языка, этот факт, разумеется, должен быть учтен и оговорен, но он не меняет самой картины, т. е. правил функционирования служебных морфем.

7.2.7. Суть дела заключается именно в том, что рассматриваемые нами служебные морфемы принадлежат к тем, которые выше определены как «третьи» — промежуточные по своему характеру. И здесь мы наблюдаем действие уже отмечавшегося для языка принципа триплетного кодирования, когда наряду с двумя полярными классами выделяется промежуточный, члены которого характеризуются смешанными признаками обоих классов. Членам такого рода классов служебных морфем мы предлагали присвоить имя «связанных служебных слов» или «квазиаффиксов» [Касевич 1984с; 1986b].

За пределами языков «алтайского» типа с квазиаффиксами мы сталкиваемся, возможно, в немецком. Мы имеем в виду широко известный и многократно описанный факт наличия в немецком языке отделяемых приставок, которые являются таковыми только при смене позиции на правую по отношению к основе, причем отделяемые приставки типа *aus-*, *auf-*, *im-* сосуществуют с неотделяемыми — *be-*, *ver-* и т. п.

На то, что грань между аффиксами и служебными словами может рассматриваться как относительная в принципе, указывают факты, например, каренских языков. Так, в них представлены глагольные конфиксы, левая часть которых неотделима от глагольного корня, правая же располагается за постглагольными актантами, сирконстантами, даже придаточными предложениями, если они имеются; см., например, из

восточного сго: *лѣ кò рӯшà нэй? тà такó? тхэ тō? кò пайō бá?* ‘В России не так жарко, как в Бирме’, где представлен конфикс *та...бá?* при глаголе *кò?* ‘быть жарким’. Можно заметить, что только отмеченные свойства конфикса, его левой и правой составляющих, а не /151//152/ название, и важны объективно. Если же заботиться о названии, то фактически наличие таких конфиксов требует введения еще одной категории служебных слов, скажем, аффиксально-партикульных¹³; лишь их малая распространенность и приуроченность исключительно к разрывным (составным) морфемам¹⁴ служат оправданием общему языкознанию, не учитывающему существование такой категории.

8. Как можно видеть, распределение служебных морфем по классам аффиксов, служебных слов и квазиаффиксов основано на признаке, который отражается вопросом: насколько самостоятельна грамматическая морфема по отношению к знаменательной единице, обслуживаемой ею? Или иначе: насколько тесно связана служебная морфема со знаменательной? Часто в этом же контексте истолковывают и другую известную оппозицию, устанавливаемую обычно для аффиксов: агглютинативность/флективность. Однако природу этой последней целесообразно рассматривать с существенно иной точки зрения; к тому же значительно бóльшая полнота описания будет достигнута, если мы откажемся от прямого эквивалентного противопоставления агглютинативности и флективности, введя взамен две привативные оппозиции «агглютинативность/неагглютинативность (фузионность)» и «флективность/нефлективность» [Касевич 1986b]. Вполне понятно, что в результате вместо двух классов аффиксов — агглютинативных и флективных — мы получим четыре (см. ниже).

8.1. Под агглютинативными уместно рассматривать такие аффиксы и квазиаффиксы, для которых действительно соотношение: одна частная грамматическая категория — один аффикс (квазиаффикс). Это значит, что каждый аффикс — далее мы будем для простоты опускать оговорку относительно квазиаффиксов — употребим с любым корнем, который входит в сферу действия соответствующей грамматической категории; если с разными корнями (основами) употребляются разные аффиксы, то механизм агглютинации требует, чтобы различие между ними определялось чисто фонетически (фонологически). Неагглютинативность в данном смысле — это отдельные, фонетически немотивированные аффиксы для разных корней (основ), как разные падежные окончания для разных субпарадигм (типов склонения) в русском языке. Иначе говоря, для

¹³ Термины «частица» и «служебное слово» в некоторых традициях выступают как эквивалентные.

¹⁴ Вернее даже — к конфиксам: среди трансфиксов подобные образования неизвестны, а среди составных корней почти очевидно нереальны.

агглютинации характерна алломорфия, а для неагглютинации (фузии) — синонимия аффиксов.

Необходима, однако, немаловажная оговорка. Если строго следовать приведенному пониманию агглютинации (как это делает Дж. Гринберг [Гринберг 1963]), то есть опасение, что агглютинативных аффиксов не окажется ни в одном языке, поскольку едва ли не везде можно найти исключения, а исключения нашему определению абсолютно противопоказаны. Так, Гринберг отказывает в агглютинативности показателю множественного числа английских существительных на том основании, что наряду с /152//153/ фонетически мотивированными вариантами [-s], [-z], [-iz] существуют [-ən], окончания грецизмов и латинизмов и некоторые другие отклонения от общего правила. Аналогично, скажем, в урду наряду с регулярно образующимися формами множественного числа существительных довольно широко представлено так называемое ломаное множественное в арабских заимствованиях.

Целесообразно считать, применительно к таким ситуациям, что если в языке для слов определенного класса есть общее правило, в соответствии с которым для передачи данного грамматического значения используется один — «с точностью до алломорфии» — аффикс, то этот аффикс считается агглютинативным. Неагглютинативными (фузионными) признаются аффиксы, не подчиняющиеся этому правилу, т. е. относящиеся к исключениям аффиксы-синонимы, которые употребляются в поддающемся отграничению и, обычно, исчислению круге словоформ. При таком подходе в английском языке показатель множественного числа существительных -s с его фонологически мотивированными вариантами окажется агглютинативным, а все остальные — неагглютинативными.

8.2. Флективность/нефлективность — противопоставление существенно иного содержания: флективными являются аффиксы, благодаря которым форма входит по меньшей мере в две грамматические оппозиции, нефлективные же обслуживают одну и только одну оппозицию. Русские падежные окончания флективны; например, *-а* в *рука* противопоставляет эту форму одновременно по падежу формам *руке*, *рукой* и т. д. и по числу — формам *руки* и т. д. В отличие от этого, «алтайские» показатели падежей нефлективны, поскольку каждый вводит форму в ровно одну оппозицию. /153//154/

8.3. Нетрудно видеть, что из расщепления единого противопоставления «агглютинативность/флективность» на два независимых признака следует возможность сочетания разных значений признаков, в результате чего мы получаем, как уже говорилось, четыре категории аффиксов (табл.).

Таблица /153/

Класс аффикса	Признак	
	агглютинативность / неагглютинативность	флективность / нефлективность
I	+	–
II	–	+
III	+	+
IV	–	–

В рамках одного языка могут сосуществовать все четыре категории (класса) аффиксов, которые в нашей таблице никак не поименованы: им просто присвоены номера с первого по четвертый. Аффиксы всех четырех классов можно обнаружить, например, в русском языке [Касевич 1986b: 132]. Так, показатель перфективации префикс *вз-* принадлежит к IV классу: он неагглютинативен, так как имеются и другие показатели того же грамматического значения, например, *вы-*, *за-*, *из-*, и выбор между ними не мотивирован фонетически, но в то же время нефлективен, поскольку пары глаголов типа *пахать* — *вспахать* отличаются только грамматическим видом. Окончание *-а* в глагольных формах прошедшего времени женского рода — аффикс III класса, ибо он одновременно агглютинативен, обслуживая все глаголы без исключения, и флективен, так как вводит формы одновременно в оппозицию по роду и числу. II класс аффиксов представлен в русском языке большинством показателей склонения и спряжения, о чем уже говорилось выше применительно к падежным окончаниям, которые неагглютинативны, распределяясь по субпарадигмам, и флективны. Наконец, примером аффикса I категории может служить показатель возвратности *-ся/сь*: он универсален — следовательно, агглютинативен и одновременно нефлективен, так как участвует в создании лишь одной оппозиции.

Итак, вместо традиционной дихотомии агглютинация/флексия мы предлагаем более сложную систему с выделением более дробных классов аффиксов. Все те признаки, на которых основывается наша классификация, хорошо известны в языкознании. Однако в предшествующих работах преобладала тенденция распределять все признаки между двумя единственными категориями — агглютинации и флексии. Так, обычно говорилось о стандартности и моносемантичности агглютинативных показателей, о неединственности и семантической кумулятивности, или синкретичности, флективных, о «прозрачности» агглютинативных морфемных стыков и «затушеванности» — флективных [Реформатский 1967: 271]. Можно сказать, что агглютинативность/неагглютинативность в обрисованном выше понимании характеризует более план выражения, а флективность/нефлективность — план содержания и, стало быть, вполне уместно ожидать их параллельности, совмещения, что

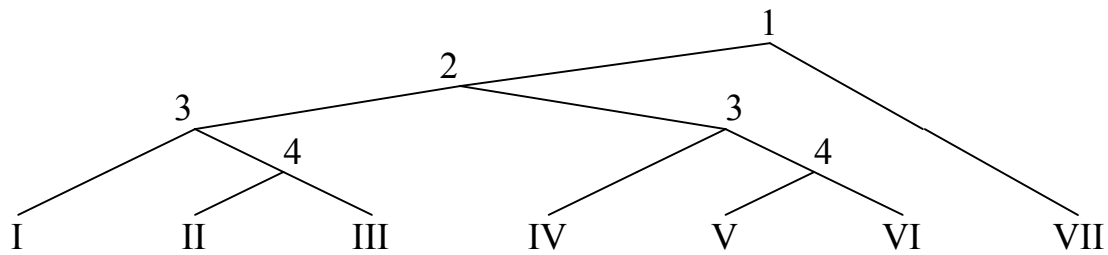
и объясняет традицию. Более того, нельзя не согласиться с тем, что такое совмещение, когда аффикс выступает как одновременно агглютинативный и нефлективный, неагглютинативный и флективный, достаточно типично. Однако, как мы видели, стандартность, или универсальность, могут совмещаться с семантической кумулятивностью, а моно-/154//155/семантическая — с неединственностью. Поэтому предлагающееся удвоение классов отражает реальную картину.

8.4. Агглютинативность/неагглютинативность аффиксов зависит от того, фонетически ли мотивированы изменения (замены) аффиксов, когда последние присоединяются к корням (основам). Но аналогичные изменения могут наступать или не наступать в самих корнях, основах, с которыми сочетаются аффиксы что также необходимо учитывать. Например, в монгольском языке при присоединении показателя родительного падежа *-ий* сам он не изменяется, если не считать сингармонистического варьирования, однако, скажем, в основе слова *унээ* 'корова' возникает фонетически не мотивированный согласный *н*: *унээний* (аналогично в дательном-местном и исходном падежах) [Квантитативная типология... 1982: 165]. С этой точки зрения присоединение *-ий* также неагглютинативно, но агглютинативность/неагглютинативность в этом случае выступает как характеристика не аффикса, а морфемного шва, морфемного стыка [Гринберг 1963; Квантитативная типология... 1982]. Если характеризовать не только тип аффикса, а также — с этой же точки зрения — тип корня (основы), т. е. всю словоформу в целом, то число выделяемых классов, естественно, увеличится. Все возможные комбинации представлены на схеме 2 с помощью дерева. Признаки, номера которых значатся в узлах дерева, можно сформулировать следующим образом, передавая через *О* корень, основу, связанное слово (об этом см. ниже), через *А* — аффикс или квазиаффикс с данным грамматическим значением, *А'* — аффикс с другим экспонентом, но тем же значением, *О'* — корень (и т. д.) с другим экспонентом, но тем же значением:

- 1) сочетаются ли *О* и *А*?
- 2) если да, используется *А* или *А'*?
- 3) если да (*О* и *А* сочетаются), используется ли *О* или *О'*? /155//156/
- 4) если используются *А'* или *О'*, фонологически ли мотивированы переходы $A \rightarrow A'$, $O \rightarrow O'$?

Левое ветвление соответствует положительному ответу на вопросы, в виде которых сформулированы признаки, правое — отрицательному.

Всего, как можно видеть, выделяется семь классов морфологических единиц. Не ставя своей целью создание детализированной номенклатуры, мы воздерживаемся от именованя этих классов, обозначая их римскими цифрами.



В этой классификации не учтен признак аффиксов «флективность/нефлективность», о котором говорилось выше. Если добавить этот признак в качестве самого «младшего», число классов увеличится до 13-ти.

Наконец, можно отметить, что в III и IV классах выделяются, в свою очередь, по два подкласса, также не отраженные приведенным деревом: фонологически немотивированные переходы $O \rightarrow O'$ и $A \rightarrow A'$ могут приводить к появлению супплетивов и не-супплетивов, что также немаловажно. Как известно, различие между супплетивами и не-супплетивами не вполне четкое; при полном фонологическом расхождении экспонентов принято говорить о супплетивизме, при неполном — о фонологической нерегулярной вариативности.

9. Другая классификация аффиксов — по позиции. В ее рамках выделяются, как известно, префиксы, суффиксы, инфиксы, трансфиксы (диффиксы), конфиксы (циркумфиксы). Остановимся на некоторых аспектах этой классификации.

Важная ее сторона — подразделение всех морфем на простые и составные. К первым принадлежат все те морфемы, которые не могут разрываться инфиксами и трансфиксами и/или части которых не способны к удвоению, ко вторым — обладающие указанной способностью морфемы. Составные морфемы — конфиксы, корни, которые сочетаются с инфиксами и трансфиксами, а также те префиксы и суффиксы, которые допускают введение инфикса; кроме того, как сказано, составные морфемы обнаруживаются в тех случаях, когда в удвоении участвует не вся морфема, обычно корень, а ее часть, тем самым демонстрируя свою формальную самостоятельность.

Элементы составных морфем иногда необходимо учитывать в качестве самостоятельных единиц, поэтому уместно ввести для них особое обозначение. Чтобы не делать терминологический аппарат чересчур громоздким, используем уже существующий термин «морфотмема» [Маслов 1968], имея в виду в данном случае не фонологически (морфонологически) переменный характер соответствующих частей морфемы [Касевич 1986b: 92], а необходимость их отдельного учета при описании комбинаторики морфем, формо- и словообразования.

Наиболее богатым репертуаром морфем с точки зрения их простого/составного характера обладают семитские языки, а один из типов — трансфиксы — вообще, кажется, приурочен /156//157/ исключительно к семитским языкам. При одновременном использовании морфем разных классов возникает их подчас довольно сложное взаимодействие. Например, в арабском языке при образовании множественного числа от существительного *nārun* ‘огонь’ (корень состоит из двух морфотем, *n* и *r*, трансфикс — также из двух морфотем, *ā* и *Ø*) трансфикс заменяется на *u...ā* и вводится суффикс *n*: *nirānun* ‘огни’ [Квантитативная типология... 1982: 302].

Закрепленность морфемы за тем или иным классом не всегда является жесткой, материально одна и та же морфема, с тем же значением, может функционировать то, например, как префикс, то как инфикс. Например, в кхмерском языке *an* употребляется как инфикс: *keut* ‘рождаться’ → *камнейт* ‘рождение’ (-ам- — вариант -ан-), и как префикс: *риан* ‘изучать’ → *пангриан* ‘обучать’, где *n*- и -анг-, вариант -ан-, — два префикса (-анг- осуществляет номинализацию, как и в примере выше) [Еловков 1977: 64–65]. Аналогично в аккадском языке аффикс *na* может использоваться как префикс, например, *накишуду* ‘быть побежденным’, и как инфикс; ср. *иктанашиад* (с тем же значением) [Гранде 1974: 221].

Составные префиксы известны, например, в тагальском языке, где они разрываются инфиксами: *кумаусан* ‘беседовать’, где -ум- — инфикс, вставляемый в префикс *k...a*; инфикс всегда следует за первой согласной морфотемой [Рачков 1981: 17]. Тагальский же материал демонстрирует составной характер корня, морфотема которого (первая) способна удваиваться. В примере *суму сулат* ‘пишет’ можно видеть удвоение морфотемы *су-* (*сусулат*), которое сопровождается одновременным введением инфикса -ум- в удвоенную морфотему [Рачков 1981: 17]. Иначе говоря, в приведенном тагальском примере представлена составная морфотема — случай редкий, если не уникальный: морфотема, выделяемая в составе корня по способности удваиваться, сама обнаруживает составной характер по разрываемости инфиксом.

10. В более широком плане рассматриваются позиционные характеристики морфем в грамматике порядков. Грамматика порядков представляет словоформу как упорядоченный набор морфем, где корню обычно приписывают так называемый нулевой порядок (т. е. корень, позиция корня выступают точкой отсчета), а всем остальным — те позиционные ранги, или порядки, которые определяются степенью их линейной удаленности от корня. Существенно, что порядок морфемы — это номер той ее позиции, которую морфема занимает в словоформе максимально возможного состава. Все остальные позиции именуется «квазипорядками», поэтому собственный порядок морфемы определяется как «максимальный квазипорядок» [Ревзин, Юлдашева 1969]. Например, в

азерб. *балан* ‘твой ребенок’, *балалар* ‘дети’, *балаја* ‘ребенку’ аффиксы (квазиаффиксы) *-н*, *-лар*, *-(j)a* занимают одну и ту же позицию — сразу же после корня. Однако это их квазипорядок. Порядок *-н* должен оцениваться как +2, *-лар* — /157//158/ как +1, а *-(j)a* — как +3, поскольку при одновременном наличии всех трех они располагаются именно в такой последовательности: *балаларына* ‘твоим детям’ (где *-ын* — вариант *-н*).

Упомянем некоторые проблемы, которые возникают при установлении порядков аффиксов (квазиаффиксов).

10.1. Не все аффиксы сочетаются в пределах словоформы. В одном случае это вызвано той естественной причиной, что аффиксы противопоставлены в рамках некоторой парадигмы, например, являются показателями разных падежей. Тогда, как правило, они занимают один и тот же порядок и составляют набор элементов, закономерно сменяющих друг друга.

Как мы видели, в агглютинативных языках у части падежных показателей обнаруживается совместимость. При одновременном употреблении такие аффиксы тоже располагаются в строго определенной последовательности, контактно, а не дистантно, что позволяет выделить один порядок падежных аффиксов с подпорядками внутри для тех из них, которые обнаруживают способность сочетаться друг с другом.

В другом случае несочетаемость аффиксов объясняется некоторыми иными причинами. Например, формы времени глагола обычно не различаются в таких наклонениях, как повелительное или сослагательное. Следовательно, соответствующие показатели не сочетаются в пределах одной словоформы. Для таких ситуаций вводится понятие суперпорядка: время и наклонение как бы сводятся в одну суперкатегорию времени-наклонения, которой в структуре словоформы соответствует один суперпорядок, а внутри последнего отдельные порядки отвечают показателям времени и наклонения.

Как можно видеть, соотношение «порядок — подпорядок» действительно для такого материала, где аффиксы выступают как частично упорядоченные: в одних словоформах они исключают друг друга, входя в одну парадигму, в других — сочетаются. Соотношение же «суперпорядок — порядок» имеет место для тех случаев, когда аффиксы, с одной стороны, никогда не сочетаются, а, с другой — принадлежат самостоятельным парадигмам.

10.2. Особые грани при использовании грамматики порядков приобретает проблема нулевых показателей. Например, для узбекской словоформы *ёз* ‘пиши’ устанавливаются структура $\text{ёз} + \emptyset_1 + \emptyset_2 + \emptyset_3 + \emptyset_4 + \emptyset_{5-12} + \emptyset_{6-5a} + \emptyset_7$ [Ревзин, Юлдашева 1969: 52], где нули имеют следующие значения: \emptyset_1 — неинтенсивность (немногократность), \emptyset_2 — невозвратность, \emptyset_3 — некаузативность, несовместность, непассивность, \emptyset_4 — неотрицательность, \emptyset_{5-12} — повелительность, \emptyset_{6-5a} — 2-е л. ед. ч., \emptyset_7 —

невопросительность. В то же время авторы описания считают важным оговорить «существенную разницу между двумя типами нулевых аффиксов. В одних порядках нулевой аффикс... означает лишь отрицательное значение данного признака. [...] В других же... мы имеем дело с некоторым положительным значением...» [Ревзин, Юлдашева 1969: 52]. Дело, [/158//159/](#) однако, не в отрицательном/положительном значении признака: повелительность тоже можно представить как «неутвердительность», тогда и она окажется отрицательной величиной, точно так же и значение 2-го л. ед. ч. можно передать как «не 1-е, не 3-е л.». Дело в том, (что в агглютинативных языках, на материал которых и рассчитана прежде всего методика грамматики порядков, все глагольные показатели делятся на два класса — обязательных и необязательных. Когда употребляется представитель второго класса, необязательный аффикс, то непременно предполагается выражение в словоформе как минимум еще одного значения — помимо того, что несет необязательный аффикс, — которое и передается соответствующим обязательным аффиксом. Когда же используется обязательный аффикс, то его присутствия обычно достаточно для существования грамматически правильной словоформы, дополнительная квалификация ситуации по какому-либо еще грамматическому признаку возможна, но не необходима. Отсюда и вхождение нуля в парадигму обязательных, или первичных, показателей при его отсутствии в системе необязательных, или вторичных, которые, как правило, вообще не образуют парадигм. Нули, которые употребляются в грамматике порядков, чтобы показать отсутствие необязательных аффиксов, — это лишь условные «метки» позиций, которые должны быть заняты при использовании аффиксов. Их природа, таким образом, коренным образом отличается от подлинных нулевых элементов, нулевых аффиксов.

Изложенное, как нетрудно видеть, есть лишь переформулировка того, что говорилось выше о связи понятий нулевого элемента и обязательного состава грамматической единицы, а также об особом характере агглютинативной словоформы, выступающей как квазислово (квазисловоформа). Возвращаясь к приведенному выше узбекскому примеру, можно констатировать, что незаполнение порядков, которым соответствуют «отрицательные» значения, не связано с использованием значимых, функциональных нулей. В узбекской словоформе *ёз* ‘пиши’ только один нуль, указывающий на императив 2-го л. ед. ч.

10.3. Соответствие аффиксов тем или иным порядкам не всегда выступает как однозначное. Здесь тоже надо выделить несколько случаев.

Иллюстрацией первого может служить сочетание аффиксов пассива *-гд-* и каузатива *-уул-* в монгольском языке, которые могут располагаться в любой последовательности, например, от *ява-х* ‘идти’ имеем и *ява-гд-уул-ах* ‘проводить (работу)’ и *ява-уул-агд-ах* ‘быть посылаемым’

[Кузьменков 1984: 10]. Однако, как видно из переводов, изменение порядка следования аффиксов значимо. Поэтому для данной ситуации, как представляется, необходимо приписывать каждому показателю несколько порядков, здесь два, с дополнительным указанием, определяющим грамматико-семантический эффект, который производит-/159//160/ся изменением порядка для глаголов того или иного класса (подкласса).

В монгольском примере разнопорядковость (разноместность) аффиксов не нарушает их идентичности. Но перемещение показателя из одного порядка в другой может сопровождаться и сдвигом в их значении, а также свидетельствовать об омонимии материально тождественных грамматических элементов, занимающих разные позиции. С материалом этого рода мы сталкиваемся, например, в каренских и монском языках. Так, в восточном сго-каренском языке модальный показатель *ба'*, употребляясь препозитивно по отношению к глаголу (глагольному корню), передает значение долженствования, например *йакаба' лэ* 'я должен идти', а в постпозитивном использовании выражает семантику «недостижения цели», например *йаталэ ба' ба'* 'мне не удалось пойти'.

Второй случай, когда мы имеем дело с разнопорядковостью аффиксов, представлен там, где их позиции распределены дополнительно относительно корней (или других аффиксов) разных типов. Например, в шанском языке служебная морфема-классификатор в общем случае ставится после числительного, но перед ним, если числительное — *нынг* 'один'.

Третий случай — это своего рода свободный порядок части аффиксов. Так, в бирманском языке существуют два глагольных показателя множественности — дистрибутивной *ча¹* и исчерпывающей *коун²*, которые сочетаются в пределах одной словоформы. При этом обычный порядок следования — *-ча¹коун²*- (при возможной разделенности рядом других показателей), но разрешена и обратная последовательность, *-коун²ча¹*-, без видимых дистрибутивных ограничений и сдвигов в семантике.

Таким образом, в грамматике порядков, имеющей дело с аффиксами (квазиаффиксами) в составе словоформы (квазислова), можно видеть в целом те же закономерности, которые известны на материале порядка слов в синтаксисе. В синтаксисе слова А и Б могут образовывать последовательности АБ и БА для передачи различия в актуальном членении, в стилистических целях — аналогичную картину мы встречаем и в области аффиксации (см. бирманский пример выше), хотя функции изменения порядка здесь менее ясны. Для синтаксиса замена порядка АБ на БА может означать сдвиг в грамматическом значении, ср. *John sees Mary* и *Mary sees John*, и близкую ситуацию находим и в морфологии. Наконец, как в синтаксисе, так и в морфологии порядок слов и аффиксов

соответственно может быть единственно возможным. Для морфологии любого языка, однако, наиболее характерно положение с единственностью и обязательностью позиции каждого аффикса и наименее — с их свободным порядком.

11. Кроме аффиксов, квазиаффиксов, в морфологии используются также, как уже упоминалось, служебные слова. Естественно, к морфологии относятся только морфологические служебные слова. Классификация, в рамках которой выделяются морфологические служебные слова, выглядит следующим образом: существуют морфологические, синтаксические, лексемные и фразовые служебные слова. Морфологические соотносятся со словоформами, синтаксические (синтаксемные) — с синтаксемами, лексемные — с отдельными словами или их сочетаниями безотносительно к синтаксической функции или морфологической роли, фразовые — с предложениями (высказываниями). Морфологические служебные слова выполняют роль внешнего по отношению к слову показателя его формы (аналитической). В качестве иллюстрации можно сослаться на вспомогательные глаголы, указывающие на будущее время в целом ряде индоевропейских языков, служебные слова — показатели множественного числа в китайско-тибетских, тайских, мон-кхмерских языках.

СЛОВО

12. Наряду с морфемой, традиционной единицей морфологического компонента языка считается обычно слово. Более точно можно сказать, что, с одной стороны, морфема и слово выступают основными единицами двух основных уровней морфологического компонента, а, с другой, слово является единицей словаря. Оба эти традиционные представления, как мы постараемся показать ниже, нуждаются в уточнениях.

12.1. Начнем с последнего — со слова как единицы словаря. В настоящем разделе будет, естественно, рассмотрен только морфологический аспект этого вопроса.

Положение о слове как единице словаря означает, что именно словам принадлежит роль тех базовых элементов, которые образуют язык как систему. В самом деле: язык есть система, система — это элементы, связанные определенными отношениями (словарь) и функционирующие в соответствии с определенными правилами (грамматикой) для выполнения некоторой задачи, и элементами оказываются, прежде всего, именно слова. Все остальные виды единиц языка существуют либо в отвлечении от слов, которое осуществляется непосредственно или опосредованно (на нескольких уровнях), либо в результате соединения слов по правилам. И лишь слова непосредственно образуют тот инвентарь, который служит источником всего в языке и речевой деятельности. Именно поэтому,

несмотря на многочисленные и постоянно повторяющиеся попытки «упразднить» слово, оно сохраняет свои позиции в языкознании до сегодняшнего дня.

Между тем реальная ситуация представляется не столь простой. Даже отвлекаясь от «флективноцентричности» обрисованного подхода — его преимущественной ориентации на материал флективных языков, — можно отметить неполноту традиционной концепции. Слово как единица словаря и как единица /161//162/ морфологии не всегда совпадают. Простейший пример — уменьшительные существительные вроде *домик*, *кошечка*, которые несомненно являются словами по любым морфологическим критериям, широко распространены в речи, но определенно не входят в словарь. Словарю принадлежат инвентарные единицы, а деминутивы являются конструктивными: последние создаются по мере надобности в процессе речевой деятельности на базе инвентарных, словарных по правилам, существующим в грамматике, и с использованием единиц, представленных в грамматике же. Последнее, кстати, означает, по-видимому, что в грамматике есть свой словарь, куда входят как слова (служебные), так и аффиксы (деривационные).

Здесь же следует упомянуть, что, не включая очевидные слова, если они обладают конструктивной природой, словарь содержит столь же очевидные не-слова — фразеологизмы. Наконец, в словарь входят и словоформы, образуемые не по правилам.

Легко видеть, что изложенное полностью соответствует лексикографическим традициям, которые всегда учитывали нужды практики — потребности тех, кто пользуются словарем.

12.2. Чем же интересно слово как единица с морфологической (а не «словарной») точки зрения? С морфологической точки зрения слова — конечные составляющие высказывания, т. е. такие структурные единицы, взаимодействие которых и создает высказывание безотносительно к его устройству. Это значит, что, во-первых, по отношению к высказыванию слова являются мельчайшими интегрантами и, во-вторых, статус слова предполагает лишь (относительную) цельность и автономность в составе высказывания. Никаких других следствий из факта, что данная единица является словом, с этой точки зрения нет¹⁵.

В связи со сказанным традиционная проблема критериев определения и выделения слова должна пониматься следующим образом. Критерии призваны отражать свойства слова, благодаря которым эта

¹⁵ Сказанное нисколько не отрицает того факта, что слова отражают номенклатуру объектов (вещей), свойств и отношений, которые выделяет в мире носитель данного языка, что для неэлементарного слова, т. е. имеющего внутреннее строение, характерна — хотя вовсе не обязательна — идиоматичность и т. д. Все это относится к слову как члену словаря, а не к его грамматическим свойствам, которые и интересуют морфологию.

единица выступает конечной составляющей высказывания. Иначе говоря, критерии должны обнаруживать ту меру автономности и цельности, что, с одной стороны, делает слово, в отличие от морфемы, свободной единицей, а, с другой, в отличие от синтагмы (словосочетания), — единицей цельной.

Но и «свободность» (автономность) и цельность интересны не сами по себе, как признаки, позволяющие отличить слово от не-слова, а как указание на операции, которые можно применить к слову в процессах речевой деятельности. Именно поэтому сами критерии обычно носят операциональный характер. Когда мы выделяем слово, например, по неспособности быть разорванным вставкой определенного вида и т. д. (подробнее см. ниже), то это как раз и означает, что из принадлежности единицы к классу слов следуют соответствующие процедурные /162//163/ свойства. Нам, вообще говоря, вовсе не нужно знать, что есть слово, а что — нет: необходима информация о том, как ведут себя те или иные единицы в речевой деятельности. Утверждение «X есть слово» — это сокращенная форма сообщения о том, что X обладает свойствами a, b, c, ..., релевантными с точки зрения «поведения» X в речевой деятельности. Именно эти свойства, как сказано, должны фигурировать в качестве критериев определения и выделения слова.

Итак, каковы же эти критерии? Обрисуем лишь основные из них (подробнее см. [Квантитативная типология... 1982: 17–24]).

12.2.1. Критерий вставимости. Две единицы¹⁶ являются двумя словами, если они допускают вставку между собой фразового отделителя без нарушения исходных грамматических связей; под фразовым отделителем имеется в виду такой отрезок текста, который может употребляться как высказывание или же заведомо является предложением или словосочетанием (ср. выше, п. 7.1). Например, хрестоматийный английский пример *stone wall*, как мы уже писали [Касевич 1977: 62], не должен расцениваться как сложное слово: возможна вставка, например, *stone-of-Carrara wall* ‘стена из каррарского камня’, где *of Carrara* может фигурировать в качестве высказывания, ср. *What the thing is made of? — Of Carrara*. Грамматические связи между *stone* и *wall* после введения *of Carrara* остаются прежними. Аналогично демонстрируется двусловность другого хрестоматийного сочетания — *speech sound*, ср.

¹⁶ В качестве единиц, проверяемых на «словность», удобнее всего использовать так называемые фразовые слова — отрезки текста, которые могут использоваться в качестве высказываний, но сами на такие отрезки больше не делятся [Квантитативная типология... 1982]. Например, в *сядьте на стул* — два фразовых слова, *сядьте* и *на стул*, оба могут использоваться в качестве высказываний, но их нельзя разделить на отрезки с тем же свойством (при вычленении *сядь* и *стул* остаются *-те* и *на*, которые уже не функционируют как высказывания). Фразовое сло-/283//284/во — вспомогательная единица, она ни в коем случае не эквивалентна «настоящему» слову, может быть как больше, так и меньше последнего.

speech-of-a-real-lady sound ‘звук речи настоящей дамы’. Но, скажем, вставка типа *speech-like sound* ‘речеподобный звук’ не будет считаться корректной для определения разрываемости сочетания, поскольку *like* не функционирует как высказывание в каком-либо контексте и, следовательно, не является фразовым отделителем.

Не должна -считаться корректной и вставка наподобие кит. *ма³чэ¹* ‘конная телега’ → *ма³ла¹дэчэ¹* ‘телега, которую везет лошадь’, поскольку она ведет к изменению исходных грамматических отношений между элементами: после вставки уже нет непосредственной связи между *ма³* ‘лошадь’ и *чэ¹* ‘телега’ [Квантитативная типология... 1982: 12].

В бирманском языке вставку типа *хлэ³лан³ка³лан³* ‘дороги для гужевого транспорта’, ‘автомобильные дороги’ → *хлэ³лан³хлэ³мамаун³йа¹тэ¹ка³лан³* ‘дороги для гужевого транспорта’, ‘автомобильные дороги, по которым нельзя проезжать на телегах’ следует признать приемлемой: хотя сочетание *хлэ³мамаун²йа¹тэ¹* ‘по которым нельзя проезжать на телегах’ не может использоваться в качестве высказывания из-за нефинитной формы глагола, оно является предложением (зависимым, членным).

12.2.2. Критерий раздельнооформленности. Две единицы являются двумя словами, если хотя бы одна из них может иметь собственное, только к ней относящееся граммати-^{/163//164/}ческое оформление. Например, *Иван-царевич* и *иван-чай* «выглядят» одинаково. Однако в сочетании *Иван-царевич* возможно раздельное оформление обоих компонентов, ср. *Ивана-царевича*, *Ивану-царевичу*, что исключено для сочетания *иван-чай*, ср. *иван-чая*, *иван-чаю*, а не **ивана-чая*, **ивану-чаю*.

Английский пример *stone wall* не подпадает под действие этого критерия: вообще говоря, невозможно доказать, что *-s* в *stone walls* относится к *walls*, а не ко всему сочетанию в целом.

12.2.3. Критерий синтаксической самостоятельности. Две единицы являются двумя словами, если хотя бы одна из них имеет или может иметь собственные синтаксические связи за пределами сочетания. Как можно видеть, данный критерий выступает синтаксическим аналогом предыдущего: если критерий раздельнооформленности апеллирует, по существу, к морфологической самостоятельности слова, то здесь идет речь о синтаксической самостоятельности последнего.

Примеры можно привести на материале английского языка, ср. *red button-shoes* ‘красные туфли на пуговицах’ и *red-button shoes* ‘туфли с красными пуговицами’: в первом случае определение *red* относится к *shoes*, во втором же — к *button*, что и показывает синтаксическую самостоятельность данного слова и, отсюда, двусловность сочетания *button shoes*.

12.2.4. Критерий переставимости. Две единицы являются двумя словами, если они могут меняться местами без нарушения

грамматических связей между ними. Так, в кхмерском языке о сочетании глагола с его актантом мы можем говорить как о двух словах только благодаря тому, что в определенных условиях актант выносится в препозицию к глаголу, например, *дак ёнтеак* 'ставит ловушку' → *ёнтеак дак* 'ловушку-то ставит' [Квантитативная типология... 1982: 58].

12.3. Во всех критериях (мы привели, напомним, только основные) содержится выражение «являются двумя словами», а не «является словом», и это не случайно. Реально здесь представлены критерии не слова, а словосочетания (не-слова). Слово определяется отрицательно, остаточно: это единица, которая не является словосочетанием по данным критериям. Иначе говоря, процедура обнаружения слов имеет следующий вид: всеми доступными средствами, т. е. с использованием всех имеющихся критериев, мы пытаемся расчленить анализируемый отрезок текста, выявить его неоднословность, и только если ни по одному критерию это сделать не удастся, мы присваиваем отрезку статус слова.

Очень важно иметь в виду, что для определения единицы как слова нужно использовать именно все критерии. Нередко считают, что использование разноплановых критериев может дать разные по своей природе единицы. Такая опасность действительно существует при некомплексном применении критериев. Когда же критерии выступают в едином комплексе и учитывается неравнозначность положительного и отрицательного ответов на вопрос, который «задает» каждый критерий, то корректность анализа в принципе не должна вызывать сомнений. Поясним тезис о неравнозначности положительного и отрицательного ответов. Каждый критерий можно сформулировать в виде вопроса: «можно ли разделить данные единицы вставкой?», «можно ли поменять местами данные единицы?» и т. д. При ответе «да» на любой из вопросов анализ сочетания с точки зрения определения его словесного/несловесного статуса можно считать законченным: если сочетание не является словом по одному из критериев, этого достаточно, применение других критериев не может изменить вывод о его несловесном характере. При ответе же «нет» — например, «вставка невозможна» — еще нельзя делать вывод о том, что перед нами слово. Отнюдь не исключено, что именно этот критерий для сочетания данного типа просто неприменим, нужно обратиться к другому (другим). И только в том случае, когда по всем вопросам-критериям получены ответы «нет», мы имеем право сказать, что данная единица — слово.

Вероятно, нет необходимости подчеркивать, что набор критериев должен быть универсальным для всех языков; как в пределах одного языка испытываются все возможные способы для расчленения на слова каждого анализируемого сочетания, так и для языков в целом следует пользоваться всем арсеналом средств. Естественным следствием может быть то, что ответ «нет» по одному из критериев распространится в данном языке на

все случаи без исключения; например, применительно к критерию раздельнооформленности, если в языке практически отсутствует синтетическая морфология. Такая ситуация, разумеется, никак не сказывается на результатах анализа. Идентичность же критериев — необходимое условие соизмеримости описаний разных языков (даже если мы не преследуем специально типологических задач).

Приведем простой пример. Сочетание *иван-чай* является словом, потому что: (1) вставка между *иван* и *чай* невозможна; (2) компоненты сочетания не способны иметь самостоятельного морфологического оформления и (3) собственных синтаксических связей; (4) перестановка невозможна. По крайней мере до тех пор, пока не введены новые, дополнительные критерии — не для данного сочетания, а столь же универсальные — сочетание *иван-чай* должно считаться словом как «ответившее» отрицательно на вопросы «анкеты», каковой выступает перечень критериев-вопросов.

13. Вместе с тем есть все основания подозревать, что максимальное расширение набора критериев, максимальное их уточнение для учета более сложных, менее очевидных случаев не дадут картины, когда можно было бы всегда ответить на вопрос «одно или два слова?» — или, по крайней мере, когда такой ответ всегда был бы удовлетворительным, соответствующим /165//166/ интуиции и т. п. Материал языков, как мы уже не раз имели возможность видеть, не всегда поддается двузначной логике. Мы также видели, что более свойственно для языка триплетное кодирование, когда выделяются две полярные зоны и наряду с ними третья, промежуточная, которая может быть более или менее обширной.

13.1. В предыдущем разделе было выявлено, что среди служебных морфем наряду с полярными типами — аффиксами и служебными словами — существует тип промежуточный: квазиаффиксов, или связанных служебных слов. Но из этого следует, что имеется и промежуточный тип в пространстве единиц, где полюсами выступают слово и словосочетание. Ведь если корень (основа) плюс аффикс дает слово, знаменательное слово плюс служебное — словосочетание, то прибавление квазиаффикса к слову дает квазислово, или связанное словосочетание; при этом слово, присоединившее квазиаффикс, само приобретает статус связанного.

13.2. Квазислово, составленное из связанного слова и квазиаффикса, далеко не единственный представитель данного промежуточного по своей природе класса. В различных языках имеются многочисленные типы образований, называемые исследователями «словосцеплениями», «словостяжениями» [Пашковский 1980] и т. п., которые состоят из знаменательных элементов и также обнаруживают определенную промежуточность по отношению к сложным словам и свободным словосочетаниям (ср. понятие синтемы у Мартине [Martinet 1967]). Общее, что обнаруживается в их формально-грамматических свойствах, можно

свести к следующим типичным признакам: (а) в такие сочетания единицы обычно входят в своей словарной форме, без грамматических средств, указывающих на связь между компонентами; (б) один из компонентов часто обладает способностью выноситься за скобки; (в) нет категорического запрета на установление самостоятельных синтаксических связей между одним из компонентов и «внешним» по отношению к сочетанию словом.

13.2.1. Один из наиболее демонстративных примеров — так называемые словосцепления, или слитные словосочетания японского языка наподобие *нихон-кокумин* ‘японский народ’. Здесь отсутствует показатель родительного падежа *-но*, который был бы в свободном словосочетании, ср. *нихон-но кокумин* ‘японский народ’. В словосцеплениях возможно если не вынесение элемента за скобки, то заключение в скобки (см. ниже, п. 13.2.2), например, *маругутто-рон-дзякку-тибо:-кокусай-конку:ру* ‘конкурс скрипачей имени Маргариты Лонг и Жака Тибо’ [Алпатов 1979: 102]. Реальны и внешние синтаксические связи. Например, *нихон-тю:тон-но кикан* и *нихон-но тю:тон-кикан* ‘срок пребывания в Японии’ — эквивалентные сочетания [Пашковский 1980: 150], из чего следует, что во втором из них *нихон-но* ‘Японии’, ‘в Японии’ относится только к *тю:тон* ‘пребывание’.

Как показывают японские примеры, связанные словосочетания, или квазислова, состоящие из знаменательных элементов, в целом удовлетворяют формальным признакам сложных слов, но отличаются от них возможностью самостоятельных дистантных связей своих компонентов, что принимает вид либо вынесения за скобки (заключения в скобки), либо вступления компонента в грамматическую связь с «внешним» по отношению к сочетанию словом. Иначе говоря, мы видим в общем те же отличительные черты, которые уже отмечались для квазислов, промежуточный статус которых обусловлен вхождением квазиаффикса.

13.2.2. Обильный материал, иллюстрирующий природу, типы и распространенность в языке (а точнее, в речи) квазислов дает немецкий язык. Вероятно, едва ли не большинство образований, которые в традиционных германистических пособиях трактуются как сложные слова, реально должны квалифицироваться в качестве связанных словосочетаний, или квазислов. В немецком языке очень широко представлено вынесение за скобки, нетрудно найти и случаи «внешних» синтаксических связей, ср. например, *Orientalistische Literaturzeitung*, где *Orientalistische* явно выступает определением к *Literatur* в составе *Literaturzeitung*, а не к *Literaturzeitung* как целому.

Нужно заметить, что в немецком языке вынесение за скобки — не всегда прием своего рода опущения повторяющегося элемента. Так, если процесс порождения *Schwarz- und Weissbrot* легко представить как

Schwarzbrot und Weissbrot → *Schwarz- und Weisbrot*, то *Ketten- und Pendeluhr* уже никак не возводимо к **Kettenluhr und Pendeluhr* [Павлов 1985: 207]. Иначе говоря, здесь имеет место не столько вынесение за скобки, сколько заключение в скобки, когда *Ketten- und Pendel-* фигурируют как единый компонент (*Ketten- und Pendel-*), присоединяемый к *Uhr*, принимающему вид *-uhr*. Особенность данного образования и ему подобных, таким образом, состоит в том, что определением к *Uhr* выступает сочетание *Ketten- und Pendel-*, компоненты которого никак нельзя считать свободными, «обычными» словами, но очевидным образом нельзя считать и морфемами, корнями или основами в составе сложного слова, чему препятствует уже наличие союза *und*. «Если... попытаться осмыслить *Ketten- und Pendeluhr* и подобные образования в плане их морфологических признаков, стремясь при этом к привычному однозначному подведению известных типов („готовых“!) языковых образований под понятия „основы“, „слова“, „словосочетания“, то мы оказываемся в тупике. Композитный „шов“ должен с точки зрения грамматической теории, для которой перечисленные понятия в их определенности и разграниченности являются основополагающими, соединять части слова в слове; здесь же в качестве „части слова“ выступает (сочинительное) словосочетание, ибо двух (или более двух) композитов (первый из которых — или каждый из предшествующих последнему — „сокращен“) здесь не было и нет. Оста-/167//168/ется сделать вывод, что образования типа *Ketten- und Pendeluhr* характеризуются комплексом признаков, охватывающим (и синтезирующим) свойства композита и словосочетания...» [Павлов 1985: 208–209].

13.2.3. В некоторых языках единственное, что отличает квазислово от сложных слов, — это потенциальная способность вынесения за скобки одного из компонентов или заключения в скобки двух (и более). Например, в бирманском примере *коун² тин² коун² чха¹ алоу⁴* ‘погрузочно-разгрузочные работы’ *коун² тин²* ‘грузить товар’ и *коун² чха¹* ‘сгружать товар’, будучи заключенными в скобки, связаны с компонентом *алоу⁴* ‘работа’ как целое.

«Внешних» синтаксических связей члены таких сочетаний не имеют. Эта возможность появляется лишь с грамматическим оформлением компонентов, что превращает связанное словосочетание в свободное. Например: *айэй³ чи³тэ¹ коун² коу² мйан² мйан²тин² пий³то¹ тачха³ коун² тамйоу³чха¹йа¹мэ¹ алоу⁴* ‘работа, которая [заключается в том, что] необходимо быстро погрузить важные товары, а затем сгружать некоторые другие’. Ясно, что процедура снабжения компонентов грамматическими показателями лишает сочетание его «терминообразных» свойств даже в отсутствие распространяющих и конкретизирующих определений.

Заметим, что в русском переводе бирманского примера фигурирует сочетание *погрузочно-разгрузочные*, которое тоже целесообразно считать

связанным словосочетанием, или квазисловом. Здесь также есть основания говорить о приеме заключения в скобки, а в других, формально тождественных случаях, имеется или возможно вынесение за скобки. Причем формальное тождество (как и в немецком языке) простирается до того, что иногда только семантика может решить, с каким именно типом — заключения в скобки или вынесения за скобки — мы имеем дело. Например, применительно к выражению *префиксально-суффиксальные способы словообразования* требуется знать реально описываемую ситуацию, чтобы понять, что речь идет о способах, при которых одновременно используются префикс и суффикс, а это — свидетельство использования приема заключения в скобки.

Особенность русского и части немецких примеров заключается в том, что первый компонент связанного словосочетания выступает не в словарной, а в основоподобной форме. Это лишний раз показывает промежуточный характер квазислов.

13.3. Подчеркнем еще раз, что понятие квазислова (связанного словосочетания) обращено лишь к морфологическим признакам соответствующих единиц, а не к их лексикологическому и лексикографическому статусу. Они могут входить или не входить в словарь, но ни первое, ни второе ничего не говорит о степени внутренней связности, цельности. Существует общая тенденция соответствия степени внутренней связности и сло-/варности (инвентарности)/конструктивности единицы: чем меньше внутренняя связность, тем больше шансов, что единица носит конструктивный характер. Действительно, конструктивны по своей природе предложения (высказывания) и, в абсолютном своем большинстве, свободные словосочетания. Эти единицы не входят в словарь, а создаются, конструируются в процессе речепорождения [Касевич 1986b]. Слова, в том числе и сложные, в типичном случае входят в словарь, т. е. выступают как инвентарные единицы. Что же касается квазислов, то их подтип с квазиаффиксами практически никогда не представлен в словаре, а сочетания, составленные из знаменательных компонентов — связанных слов, — в целом тяготеют к конструктивности (ср. [Гузев 1987; Мельников 1969]).

Но это только лишь тенденция, а не абсолютная закономерность. С одной стороны, в словарь входят некоторые словосочетания и даже предложения, ср. фразеологизмы, поговорки, пословицы. С другой, сложные слова, дериваты могут, при необходимости, образовываться в речи по продуктивным моделям, т. е. носить конструктивный характер. Квазислова, как сказано, тяготеют к конструктивности. Например, о японских «словосцеплениях» А. А. Пашковский пишет: «Легко создаются все новые и новые сцепления. Например, осенью 1956 г. в связи с антиамериканскими выступлениями в японском городке Сунагава на страницах газет появились ранее неизвестные, но вполне типичные

образования: *Сунагава-кити* ‘военная база в Сунагава’, *Сунагава-гэмбаку-кити* ‘база атомных бомб в Сунагава’, *Сунагава-кити-какутё:-хантай-до:мэй* ‘союз борьбы против расширения военной базы в Сунагава’, *Сунагава-мондай* ‘проблема Сунагава’, *Сунагава-то:со:* ‘борьба в Сунагава’, *Сунагава-сансэн* ‘фронт в Сунагава’, *Сунагава-тё:мин* ‘население Сунагава’» [Пашковский 1980: 150]. Аналогично о немецких «сложных словах» В. М. Павлов пишет: «...В немецкой речи такое сложное слово, как *Fernsehessel* ‘кресло перед телевизором’... — образование абсолютно нормативное: аспект оценки, выражаемый вопросом „говорят ли так?“, по отношению к немецким композитам, построенным в соответствии с определенными семантическими правилами, оказывается иррелевантным, потому что „так“ всегда можно сказать» [Павлов 1985: 125].

Наконец, и в русском языке сочетания типа *предложно-последельный*, *ресурсосбережение* (ср. *трудо- и ресурсосбережение*) образуются по мере надобности в речи и являются соответственно конструктивными единицами.

В то же время во всех языках нетрудно найти примеры квазислов — инвентарных, словарных единиц.

Следует различать два аспекта: свойства единицы как типа и свойства конкретных единиц данного типа. Как тип предложение (высказывание), свободное словосочетание — конструктивные единицы, слово — инвентарная. Квазислово в этом отношении — конструктивная единица. Конкретное же образо-^{/169//170/}вание любого типа может попасть в классы и инвентарных, и конструктивных единиц, но их численное представительство в этих классах, в силу отмеченного обратно пропорционального соотношения между степенью внутренней связности и конструктивностью, различается.

Упомянем в этой связи некоторые внешне сходные языковые явления, которые, с нашей точки зрения, в действительности таковыми не являются. Так, хорошо известно в литературе мнение, согласно которому показатель так называемого саксонского родительного в английском языке может функционировать как «групповая флексия», оформляя не слова, но словосочетания вроде *the King of Norway's son*; ср. также хрестоматийный пример *the man I saw yesterday's son*. Это сближает -'s с квазиаффиксами, например, японского языка, где падежные показатели присоединяются к словосочетаниям, предложениям, в связи с чем говорят даже о «склонении предложений». Л. Блумфилд, как известно, предлагал называть сочетания типа *the King of Norway* в приведенном примере «групповыми словами» [Блумфилд 1968], что на первый взгляд близко понятию связанного словосочетания, или квазислова.

Однако сходство английского -'s и квазиаффикса кажущееся. Английский показатель, по существу, ничем не отличается от обычных

служебных слов, его может отрывать от того знаменательного элемента, к которому он относится, фразовый отделитель: *the King's son* → *the King of Norway's son*, где *of Norway* — фразовый отделитель. В отличие от этого, квазиаффикс, как мы видели, от знаменательного элемента, к которому он непосредственно примыкает, ничем отделить нельзя. Поэтому *-s* — служебное слово, а образование с его участием — свободное словосочетание.

Как некий промежуточный тип между словом и словосочетанием рассматривают нередко и инкорпоративные комплексы. Краткую сводку существующих в литературе мнений на материале чукотско-камчатских языков можно найти в обзоре П. Я. Скорика [Скорик 1979]. П. Я. Скорик отмечает, что «в отличие от слова (простого и сложного) инкорпоративный комплекс не дан в языке, а конструируется в потоке речи» [Скорик 1979: 236]. Это безусловно верно и очень хорошо иллюстрируется приводимыми там же примерами: чук. *ya-nojʉ-ma* ‘с копьём’, *ya-top-nojʉ-ma* ‘с новым копьём’, *ya-taŋ-nojʉ-ma* ‘с хорошим копьём’, *ya-palʹwəntə-nojʉ-ma* ‘с металлическим копьём’ и т. д. и т. п. Однако мы видели, что конструктивный характер единицы еще не свидетельствует о ее «несловности» с морфологической точки зрения. Из наличия рядов наподобие *друг* — *дружок* — *дружочек*, *круг* — *кружок* — *кружочек*, *мост* — *мосток* — *мосточек* и т. п. еще не следует, что *кружок*, *кружочек*, *дружок*, *дружочек* и пр. не являются словами, хотя к словарным единицам они не принадлежат. Для признания инкорпоративных комплексов промежуточным типом — ни словом, ни (свободным) /170//171/ словосочетанием — требуются особые признаки: возможность вынесения за скобки, заключения в скобки, наличие внешних синтаксических связей. Этими признаками инкорпоративные комплексы как будто бы не обладают. Если это действительно так, то при всей своей конструктивной природе инкорпоративные комплексы все же являются словами. Заключая обсуждение проблемы, П. Я. Скорик пишет: «Таким образом, инкорпоративный комплекс, с одной стороны (с точки зрения морфологической цельности), сближается со словом, а с другой (в плане лексико-семантической расчлененности) — со словосочетанием, но полностью не сводится ни к первому, ни ко второму. Это особое морфолого-синтаксическое образование, самостоятельная языковая единица, занимающая некое промежуточное положение между словом и словосочетанием» [Скорик 1979: 237]. Если общее со словосочетанием — только «лексико-семантическая расчлененность», а с точки зрения морфологической цельности инкорпоративный комплекс эквивалентен слову, то его промежуточность — мнимая. «Лексико-семантическую расчлененность», можно усмотреть, например, и в словах *почвовед*, *озеровед* и даже *океанолог*, *вулканолог*, но это, тем не менее, именно

слова (ср. невозможность вынесения за скобки: *почво- и озероведы, океано- и вулканологи).

Признание инкорпоративных комплексов словами¹⁷ отнюдь не отрицает специфичности таких слов и соответственно языков, для которых они типичны. Но это — особый аспект типологии слова в разных языках, где тоже нужно различать типологию слова как лексикологической и лексикографической единицы и типологию слова как члена высказывания, т. е. в конечном счете единицы текста.

СЛОГОМОРФЕМА. ЕДИНИЦЫ СЛОВАРЯ И ТЕКСТА

14. В абсолютном большинстве языков Китая и материковой Юго-Восточной Азии базовой языковой единицей, по-видимому, следует считать слогоморфему. В предварительном порядке слогоморфему можно определить как однослог (в некоторых языках — однослог определенного фонологического типа), принимающий участие в грамматических процессах безотносительно к семантизованности/несемантизованности.

Понятие слогоморфемы и слогоморфемного языка впервые появилось, вероятно, у А. А. Драгунова [Драгунов 1962], который, впрочем, придавал этим понятиям скорее фонологический смысл, приравнивая фактически слогоморфемность и слоговой характер языка. Еще ранее близкое понятие корневого слова (Stammwort) использовал Г. Габеленц, говоря, что «слог как носитель значения (Begriff) есть корневое слово» [Gabelentz 1953: 24].

14.1. Наиболее обстоятельно концепция слогоморфемы на материале вьетнамского языка была развита в коллективной [/171/172/](#) «Грамматике вьетнамского языка» [Быстров и др. 1975]. Не воспроизводя критический анализ этой концепции, данный в одной из наших предыдущих работ [Касевич 1983: 159], отметим лишь, что основной ее недостаток — фактическое отождествление слогоморфемы и морфемы, что, в свою очередь, потребовало очень широкой и неопределенной трактовки положения о семантизованности морфемы. Неудивительно, что это вызвало в литературе возражения; приведем здесь характерное замечание одного из вьетнамских критиков, который не без иронии пишет: «Нгуен Тай Кан¹⁸ считает, что „любой незначащий слог обладает потенциальной

¹⁷ В. П. Небялков не признает здесь даже наличия какой бы то ни было проблемы, говоря о слове, что «это единственная единица чукотского текста, которая всегда выделяется без всяких трудностей» [Квантитативная типология... 1982: 222].

¹⁸ Проф. Нгуен Тай Кан — автор раздела о слогоморфеме в коллективной «Грамматике вьетнамского языка» [Быстров и др. 1975].

способностью сделаться значимым и обрести статус морфемы“. Возможно, это и так, однако следует все же подождать, пока слог *pa* в слове *a-pa-tít* [‘апатит’] обретет значение, и лишь после этого зачислять его в морфемы» [Dai Xuan Ninh 1978: 30]¹⁹. В результате реальность правильно выделенной, но недостаточно корректно определенной единицы, специфической для грамматики вьетнамского и типологически близких языков, была поставлена под сомнение [Панфилов 1985].

14.2. Как явствует из краткого предварительного определения, данного выше, реальность слогоморфемы мы видим как раз в ее «безразличии» к значению, несмотря на явную грамматическую активность: слогоморфемы, как совпадающие, так и не совпадающие с морфемами, обнаруживают тождественные или близкие признаки с точки зрения их грамматических свойств. Приведем лишь некоторые иллюстрации (подробнее см. [Касевич 1983: 157–161]). Во вьетнамском языке слово *đon đả* ‘учтивый’ имеет два незначимых слога; тем не менее, каждый из них может иметь самостоятельные синтаксические связи, ср. *Nó mớ'ì đon mớ'ì đả* ‘Он приглашает учтиво’.

В бирманском слове *чоу³са³* ‘стараться’ оба слога также незначимы, однако префикс, образующий от глагола именную форму, присоединяется как ко всему слову в целом, так и к каждому из его слогов-компонентов: *ачоу³са³ = ачоу³аса³* ‘старание’. Примеры такого рода можно значительно умножить.

Правда, на способность незначимых слогов проявлять морфологические и синтаксические свойства морфем и слов наложены определенные ограничения. Одно из них — формальное, действительное не для всех языков. Оно заключается в том, что в качестве слогоморфем могут выступать лишь слоги определенного фонологического типа. Так, в кхмерском языке незначимые слоги, являющиеся «слабыми»²⁰, не проявляют грамматической активности и не принадлежат поэтому к слогоморфемам.

Другие ограничения носят функциональный характер. Первое состоит в том, что одиночные незначимые слогоморфемы, вполне естественно, неупотребимы вообще и тем более не могут проявлять какой бы то ни было грамматической активности. Они приобретают свойства, аналогичные свойствам значимых единиц, только в составе слов. Слово может состоять из двух незначимых единиц, как приводившиеся выше вьетнам-[/172/173/](#)ский и бирманский примеры, или из одной значимой и

¹⁹ Ссылками на вьетнамские работы и извлеченными из них примерами мы обязаны любезности В. С. Панфилова, которому, пользуясь случаем, выражаем искреннюю признательность.

²⁰ Слабые слоги кхмерского языка могут быть только открытыми или завершаться на носовой, они содержат лишь присущие гласные, т. е. /*o*/ и /*ɔ*/, и не включают консонантных сочетаний, кроме «начальный согласный + *r*».

одной незначимой, например, бирм. *йоун²чи²* ‘верить’, где *йоун²* имеет то же значение, а второй компонент незначим²¹.

Второе ограничение определяет свойства единиц, вступающих в грамматическую связь с незначимыми слогоморфемами. Как сказано, такие связи возникают лишь при условии сочетания незначимой слогоморфемы со значимой или же образования значимой единицы, слова, сочетанием двух или более асемантичных слогоморфем, и морфологические (синтаксические) или лексические элементы при последних могут: (а) дублировать те, что употреблены при значимой слогоморфеме; (б) быть синонимичными им, антонимичными или семантически дополнительными. Случай (а) уже фигурировал выше во вьетнамских и бирманских иллюстрациях, случай (б) в его первой разновидности (синонимичность) показывает такой бирманский пример, как *са² мун² пэй² каун²* ‘хорошая литература’: слово *са²пэй²* ‘литература’ состоит из слогоморфем *са²* ‘нечто написанное’ и *пэй²* ‘рукопись на пальмовых листьях’, последнюю, вероятно, можно считать в современном слове *са²пэй²* ‘литература’ десемантизированной; *мун²* и *каун³* — синонимы со значением ‘быть хорошим’.

14.3. Как же соотносится понятие слогоморфемы с понятиями морфемы, слова? Уже упоминалось, что авторы коллективной «Грамматики вьетнамского языка» склонны отождествить, применительно к вьетнамскому языку, слогоморфему и морфему. Но в начале этой главы (п. 2.1) мы обсуждали принцип семантизованности как неотъемлемого признака морфемы и видели, к каким катастрофическим последствиям приводит отказ от него, согласие считать семантизованностью наличие функции и т. п. Поэтому нельзя согласиться с трактовкой слогоморфем как морфем типологически (морфонологически?) особого класса. Коль скоро семантизованность для слогоморфемы не обязательна, она не может быть морфемой. Точнее, морфемами могут быть — и реально выступают — только слогоморфемы, наделенные значением. Иначе говоря, общий класс слогоморфем включает подкласс единиц, материально совпадающих с морфемами, этот подкласс количественно абсолютно преобладает; кроме того, имеется, в дополнение, сравнительно небольшой подкласс незначимых, асемантичных слогоморфем²². Морфемы в обсуждаемых

²¹ На материале таких примеров также ярко видно различие между слогоморфемой и морфемой: когда мы говорим, что в сочетании *йоун²чи²* первый компонент — значимая слогоморфема, то такая квалификация действительна именно и только для слогоморфемы: в составе морфемы *йоун²чи²* тот же самый первый компонент должен рассматриваться как незначимый, потому что иначе статус морфемного, семантизованного элемента автоматически получила бы слогоморфема *чи²* что явно не соответствует действительности.

²² Небольшой количественный объем этого класса отнюдь не говорит о возможности «пренебрежительного отношения» к нему, ибо есть, как отмечалось, важные

языках бывают и дву- и более сложными, хотя это и не очень типично, поэтому класс морфем не входит в класс слогоморфем, а пересекается с ним.

Именно таким образом, как представляется, и следует описывать соотношение слогоморфемы и морфемы — как соотношение двух классов, имеющих общую часть.

14.4. Значительно сложнее проблема «слогоморфема и слово». Как демонстрируют некоторые из приводившихся выше примеров, слогоморфемы, как значимые, так и незначимые, со-^{/173//174/}четаются не только с морфологическими, но и синтаксическими показателями, служебными словами, а также могут вступать в связи, которые нельзя квалифицировать иначе, как синтаксические, — например, управлять актантами, определениями. Таким образом, слогоморфемы обнаруживают свойства не только морфем, но также и слов.

В китайском языке имеется слово *цзы*, которое фактически используется для обозначения слогоморфемы и о котором Чжао Юаньжэнь пишет: «Ему принадлежит социальная роль языковой разменной монеты... и поэтому его называют «word» большинство тех, кто говорит по-английски о китайском языке» [Chao Yuen Ren 1976: 260]. В высказываниях *цзы* «иногда походит на слово, иногда же на слово походят сочетания 2-х или более *цзы*» [Chao Yuen Ren 1976: 278]. Чжао называет *цзы* «словослогом» (word-syllable) и замечает: «...Почему мы должны искать в китайском единицы, которые существуют в других языках? Более плодотворным путем дальнейших исследований было бы просто определить, какие существуют промежуточные единицы между словослогом и предложением, оставив в качестве вторичного по своей важности размышление о том, как называть такого рода единицы» [Chao Yuen Ren 1976: 282].

Таким образом, для Чжао слогоморфема (словослог в его терминологии) не совпадает со словом, а является особой единицей²³, все же прочие единицы китайского языка сводимы к слогоморфемам: либо они совпадают с ними, либо являются их комбинациями. Слогоморфема — основная, базовая единица в системе знаковых средств китайского языка, все же прочие единицы вторичны, производны.

признаки, объединяющие все слогоморфемы, именно это делает слогоморфему особой единицей.

²³ Надо заметить, что Чжао определяет словослог приблизительно так же, как авторы «Грамматики вьетнамского языка»: «Что такое *цзы*? — пишет он. — *Цзы* — это однослог, который обычно, по крайней мере для грамотных, имеет значение» [Chao Yuen Ren 1976: 278]. Упоминание о грамотных объясняется тем, что, согласно Чжао, грамотный (образованный) носитель языка в состоянии этимологизировать состав слов, куда входят синхронно незначимые однослоги, поэтому, в частности, в словаре грамотного носителя языка больше сложных слов, а в словаре неграмотного — простых неодносложных [Chao Yuen Ren 1976: 285].

14.5. Чтобы более точно обрисовать соотношение слогоморфемы и слова, статус слогоморфемы в системе языка, нужно, опять-таки, учесть разные аспекты слова — лексикографический (лексикологический) и морфологический. Что является основной словарной единицей в языке слогоморфемного типа? Можно сказать, что таковой выступает именно слогоморфема. Но этот ответ требует уточнений. Дело в том, что среди слогоморфем, как мы видели, есть и незначимые. Достаточно очевидно, что такие слогоморфемы не могут быть членами словаря²⁴. Слогоморфема выделяется в силу наличия у нее определенных функций, которые приобретаются только в сочетаниях; вне сочетаний, лишённая и значения, и функций, незначимая слогоморфема «превращается» в слог — единицу иной природы, фонологической. Поэтому необходимо уточнить, что основной словарной единицей языков наподобие китайского, вьетнамского, бирманского является значимая слогоморфема.

Остаются вопросы: какова же позиция слова в системе и в высказывании? Что является основной конструктивной единицей? Как следует трактовать полиморфемные и полислогоморфемные образования?

14.5.1. Слово в слогоморфемном языке существует уже по-
/174//175/стольку, поскольку есть единицы, удовлетворяющие соответствующим критериям, т. е. подпадающие под определение слова. Во-первых, нет оснований отказывать в статусе слова значимым слогоморфемам, которые вне сочетаний с другими слогоморфемами выполняют в высказывании функции той или иной синтаксемы. Во-вторых, существуют сочетания слогоморфем, не допускающие вставки и т. д., т. е. также отвечающие признакам слова. Типов таких сочетаний обычно немного; например, в бирманском языке можно найти лишь один продуктивный тип сложного слова, т. е. неэлементарного, с точки зрения слогоморфемного строения, образования: это сочетание ИГ именной слогоморфемы (И) с глагольной (Г) с общим значением, чаще всего, ‘тот, кто делает И’, где место ‘делает’ занимает значение любого переходного глагола, например, *ка*³ ‘автомобиль’ + *маун*³ ‘водить’ → *ка³маун³* ‘водитель’ (т. е. ‘тот, кто водит автомобиль’). Такие слова, вообще говоря, носят характер конструктивных единиц.

Таким образом, значимая слогоморфема — основная единица словаря, или, иначе, основная инвентарная единица. Наряду со значимыми слогоморфемами в словарь входят их устойчивые сочетания, сочетания значимых слогоморфем с незначимыми, а также сочетания незначимых слогоморфем, лишь «в сумме» приобретающих значение. Все эти

²⁴ Мы здесь имеем в виду, конечно, словарь в узком смысле, т. е. набор значимых единиц, которые непосредственно занимают определенные позиции в структуре высказывания, из которых высказывание конструируется. В широком смысле под словарем можно понимать любой алфавит, набор единиц, над которыми производятся те или иные операции — например, можно говорить о словаре фонем, морфем и т. п.

комбинации слогоморфем в основном своем большинстве не являются словами, их принадлежность к словарю обусловлена не морфологической цельностью, а идиоматичностью.

14.5.2. Из сказанного следует, что в слогоморфемном языке слова не «берутся» из словаря, а «появляются» в тексте (в высказывании), когда слогоморфемы используются в качестве синтаксем — непосредственно или же в комбинациях, сочетаясь по определенным правилам. Причем слово — лишь частный, к тому же не самый распространенный, тип слогоморфемной синтагмы, когда последняя обладает максимальной слитностью, удовлетворяя критериям слова (или же просто выступает однослоγοморфемной).

В принципе можно было бы, конечно, считать значимые слогоморфемы, входящие в словарь, словами (ср. [Карапетьянц 1962]). Тогда специфика слогоморфемных языков оказалась бы преимущественно морфонологической, ибо свелась бы к преобладающей односложности слов. Традиционное определение китайского, вьетнамского и сходных с ними языков как «моносиллабических» как раз и отражает такой подход. Однако при данном решении проблемы утраченной оказалась бы специфика гораздо более существенная. Среди словарных единиц широко представлены и сочетания однослогов. Эти сочетания, как указывалось, не являются словами, но их компоненты-однослоги в важнейших грамматических отношениях тождественны независимым, одиночным однословам. Между тем, последние словами тоже считать нельзя, ибо некоторые из них незначимы. Таким образом, мы снова возвращаемся к тому, что наиболее адекватен подход, позволяющий к тому же достичь наибольшей общности описания, — это признание основной словарной единицей значимой слогоморфемы.

14.5.3. Ставя вопрос более широко, можно сказать, что слогоморфема — базовая структурная единица соответствующих языков. Ч. Е. Базелл пишет о слове: «Хотя лингвисты не пришли к соглашению относительно операций, которые должны вести к членению слова, все они в принципе сталкиваются с одной и той же проблемой. Это вопрос нахождения хорошо определенного класса сегментов — над классом простых сегментов, — в рамках которого укладывались бы утверждения как из области фонологии, так и из области синтаксиса» [Базелл 1972: 22]. Слоγοморфемы как раз и служат единицами, применительно к которым уместно описывать операции как фонологии, так и грамматики. Но они одновременно являются и «простыми сегментами». Как в словаре, так и в тексте слогоморфемы в одно и то же время и элементарные единицы, и единицы, в терминах которых «работают» основные грамматические правила.

В таких языках, как русский, указанные две функции разделены: элементарная единица здесь морфема, базовая же единица, к которой

прилагаются основные правила грамматики, — слово²⁵. В слогоморфемных языках морфема, как и слово, тоже занимает периферийные позиции. Существует она уже просто по определению: как минимальная значимая единица. Но роль ее невелика. В качестве морфемы выступает слогоморфема или их сочетание. Морфема, как видим, здесь неэлементарная единица, она может состоять из слогоморфем.

Наконец, основной конструктивной единицей, как, по существу, уже говорилось, служит слогоморфемная синтагма — единица достаточно неопределенной природы.

14.5.4. Вероятно, нужно сказать несколько слов о соотношении слогоморфемы и другой единицы, тоже достаточно специфической, — субморфа. Дело в том, что субморф — незначимая единица, которая обладает определенными особенностями «поведения», поэтому возникает даже некоторая опасность смешения этих единиц. Между тем они существенно различны. Во-первых, субморф всегда и принципиально незначим; это единица, выделяющаяся исключительно в плане выражения: часть экспонента морфемы, проявляющая фонологическую (морфонологическую) самостоятельность и сходная в этом отношении с экспонентом морфемы, например, *-еи* в *отеи*, где налицо беглая гласная (*отца, отцу* и т. д.), как и в суффиксе слова *гореи* и т. п. (подробнее см. [Касевич 1986b]). Слогоморфемы же чаще всего значимы, хотя и не обязательно, поэтому слогоморфема достаточно часто совпадает с морфемой.

Во-вторых, субморф выделяется по фонологическим (морфонологическим) признакам, а слогоморфема — по грамматическим.

/176/ /177/

Есть, впрочем, и черта, роднящая незначимую слогоморфему с субморфом. Операции над субморфом, как любые морфонологические явления, носят сопроводительный характер, они как бы «вторят» грамматическим процессам. Операции над незначимыми слогоморфемами, как о том говорилось выше, также имеют дублирующую природу, поскольку повторяют, воспроизводят аналогичные операции, применяемые к значимой слогоморфеме — «партнеру» незначимой по слогоморфемной синтагме. Тем не менее, существенная разница остается: в случае субморфа мы всегда имеем дело с фонологическими (морфонологическими) операциями, а в случае слогоморфемы — с грамматическими.

²⁵ Можно заметить, что в фонологии отношения прямо противоположные: во флективных и пр. языках, которые в фонологическом плане являются фонемными, неслоговыми, две основные функции фонологических единиц — выполнять роль конститутивного минимума и сегментативного минимума — совмещены в фонеме, в изолирующих же слоговых языках те же функции разделены между силлабемой и силлаботмемами соответственно [Касевич 1983].

15. Подведем некоторые итоги. Когда мы исследуем проблему слова, целесообразно различать разные ее аспекты, даже оставаясь в сфере грамматики и словаря²⁶. Интересующие нас аспекты суть следующие.

15.1. Морфолого-системный. С этой точки зрения существенно, единицы преимущественно какого типа входят в словарь, т. е. выступают как инвентарные. Для флективного или аналитического языка основная словарная единица — слово, равно знаменательное и служебное. В агглютинативном языке основные инвентарные единицы — слово, служебное слово и квазиаффикс. В изолирующем языке основная инвентарная единица — значимая слогоморфема.

15.2. Морфолого-структурный. Для данного аспекта важно, как ведут себя инвентарные единицы, когда они используются для того, чтобы составить минимальную синтаксему²⁷. Флективное слово при этом изменяется, одновременно может сочетаться со служебным словом. Слово аналитического языка либо не претерпевает изменений, либо сочетается со служебным словом; реже изменяется, т. е. приобретает ту или иную форму. Результат: при изменении слова мы получаем одну из его словоформ, при сочетании с морфологическим служебным словом — аналитическую форму слова, при сочетании с синтаксическим служебным словом — один из типов синтагмы.

Слово агглютинативного языка либо используется без изменений, либо совместно с квазиаффиксом образует связанное словосочетание (квазислово), либо в комбинации с квазиаффиксом или без него сочетается со служебным словом.

Слогоморфема изолирующего языка, приобретая ранг слова, используется в качестве минимальной синтаксемы либо «сама по себе», либо в сочетании с другой слогоморфемой — незначимой или значимой, либо в комбинации со служебным словом.

15.3. Морфолого-текстовый. С морфолого-текстовым аспектом мы имеем дело тогда, когда исследуем, какие конструктивные морфологические единицы представлены в тексте. Здесь нас интересуют уже не минимальные синтаксемы, а весь набор типичных конструктивных единиц, использующихся в пред-/177//178/ложении (высказывании), которые относятся к сфере морфологии.

²⁶ Количество аспектов возрастет, если учитывать фонетику и графику, где возникает необходимость выделять фонетическое (фонологическое) слово, — возможно, с подтипами внутри этой категории [Касевич 1977], — а также графическое (орфографическое) слово. На этих проблемах мы останавливаться не будем. Отдельно можно говорить о словаре словообразовательного субкомпонента языка. Такой словарь в любом языке, где существует словообразование, содержит словообразующие аффиксы и их структуры.

²⁷ Под минимальной имеется в виду кратчайшая, элементарнейшая по составу синтаксема для данной позиции и функции в предложении.

Для флективного языка и в этом аспекте перед нами предстает прежде всего слово, простое или сложное. Сложное может быть не только инвентарной, но и конструктивной единицей, хотя нормально преобладают инвентарные. В меньшей степени представлены квазислова, состоящие из знаменательных связанных слов.

В аналитическом языке конструктивные (морфологические) единицы текста в значительно большей степени включают квазислова. Своего рода крайний случай — немецкий язык²⁸, где квазислова, в том числе многокомпонентные, чрезвычайно характерны для текста, причем они составлены не только из знаменательных связанных слов, но также из знаменательных и служебных (отделяемые приставки).

В агглютинативном языке конструктивные единицы текста включают многокомпонентные квазислова, многокомпонентность которых обусловлена прежде всего квазиаффиксами, а отчасти и словообразующими аффиксами.

Именно с точки зрения морфолого-текстового подхода выявляется основная специфика инкорпорирующих языков. Дело в том, что с точки зрения типа служебных морфем, морфемных стыков инкорпорирующие языки принадлежат к числу агглютинативных, только, по-видимому, им свойственны в основном аффиксы, а не квазиаффиксы. Особенность же инкорпорирующих языков, главным образом, в том, что при образовании конструктивных единиц текста используется способ основосложения, с возможным сопровождением аффиксацией там, где в других языках представлено синтаксическое сочетание самостоятельных слов. В результате образуются конструктивные сложные слова, подчас многокомпонентные, которые — в отличие от внешне аналогичных санскритских — могут иметь формальные способы обеспечения морфологической целостности: помимо самого факта, что соединяются в инкорпоративном комплексе корни или основы (это имеет место и в санскрите), средством выражения цельнооформленности выступает прием «замыкания» (основы «вставляются» в глагол, имеющий на левой крайней границе префикс, на правой — суффикс) и/или сингармонизм, распространяющийся на весь комплекс в целом [Комри 1985], например, чук. *мэт-таң-такэчүэ-нэл'а-ркэн* 'хорошее мясо оставляем', где глагол — *мэт-нэл'а-ркэн* 'оставляем' с префиксом *мэт-* и суффиксом *-ркэн*, налицо также гармония гласных [Скорик 1979].

²⁸ Немецкий, впрочем, не является вполне аналитическим языком, в нем сочетаются признаки аналитичности, агглютинативности и флективности (в традиционном смысле этого термина), см., например, [Ермолаева 1987].

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ И КАТЕГОРИИ

16. В системе языка слова могут быть противопоставлены как лексемы и как словоформы. Иначе говоря, в одном случае слова различаются своими парадигмами и/или синтаксическими /178//179/ свойствами, в другом — различаются разные формы одного слова, т. е. словоформы внутри парадигмы. Когда слова противопоставлены как лексемы, это значит, что тем самым они принадлежат к разным классам, выделенным по грамматическим основаниям. Противопоставление двух или более классов слов, выделенных по их грамматическим признакам, лежит в основе классифицирующих, или лексико-грамматических, категорий. Речь идет о классифицирующих категориях, поскольку в рамках последних осуществляется классификация лексики, и о лексико-грамматических, ибо они распределяют лексические единицы по грамматическим основаниям. К проблемам классификации лексики мы вернемся в главе IV.

17. Обратимся к случаю, когда слова противопоставлены как словоформы. Здесь можно выделить два типа в зависимости от функций словоформ. Если слово принимает данную форму независимо, т. е. не в зависимости от какого-то другого слова в высказывании, то мы имеем дело с семантико-морфологической формообразующей категорией. Категорию этого типа мы назвали семантико-морфологической, потому что выбор формы слова здесь определяется непосредственно элементом семантического представления высказывания (см. об этом «Введение», п. 7.6.2). К семантико-морфологическим категориям относятся категории времени, вида, числа существительных и т. п.

Если выбор формы слова определяется каким-либо другим словом в высказывании, то обнаруживаются, в свою очередь, два подтипа. Первый представлен там, где в форме слова воспроизводятся категориальные признаки той словоформы, по отношению к которой данная выступает как подчиненная. Формы данного подтипа отражают наличие соответствующей согласовательной формообразующей категории. Таковы, например, категории рода, числа, падежа у русского прилагательного.

Второй подтип мы находим при отсутствии согласования в зависимой словоформе. Сформированную на базе таких словоформ категорию можно назвать подчинительной формообразующей категорией. К последним относится падеж существительных и т. п.

Нетрудно видеть, что категории второго типа, будучи морфологическими, ориентированы на синтаксис, обслуживают синтаксис. Категории же первого типа непосредственно ориентированы на семантику (на семантическое представление высказывания).

17.1. Все формообразующие категории предполагают наличие парадигмы, включающей по меньшей мере две формы. Это естественно: словоформа — результат изменения слова, т. е. должны существовать как минимум исходная словарная и производная формы. Где нет изменения, там нет и форм, единственная форма эквивалентна отсутствию формоизменения. /179//180/

Признание существования той или иной категории, отсюда, зависит от реальности парадигмы. Так, ничто как будто бы не мешает определить сочетание существительного с предлогом (например, в русском языке) как аналитическую форму слова²⁹. Правда, это будет вторичная форма, которая «наслаивается» на первичную, образованную падежным окончанием. Но существуют многочисленные языки, где наличие развитой системы первичных и вторичных форм не вызывает сомнений (см. об этом ниже). Так что сама по себе вторичность предполагаемой формы не должна нас смущать. Вопрос в другом: существует ли, реальна ли парадигма, которая была бы образована такими формами.

Этой парадигмы, по-видимому, нет. Парадигма — система на базе закрытого списка противопоставленных однопорядковых форм одного и того же слова³⁰, закономерно сменяющих друг друга в определенных условиях. Но мы уже видели (см. п. 1.1), что предлоги могут замещаться не только предлогами, но также наречиями, что нарушает как требование однопорядковости «замен», так и положение о закрытости парадигмы. Предлоги принадлежат к «приграничной» зоне грамматики, где последняя соприкасается с лексикой, и сочетания существительных с предлогами не образуют парадигм. Отсюда и применительно к самим этим сочетаниям вряд ли целесообразно говорить об аналитических формах слова, аналитических словоформах. Предлог входит в синтаксическую конструкцию как самостоятельное, хотя и служебное, слово, а не знак формы слова. Поэтому традиция с полным основанием не выделяет в русском и аналогичных ему языках формообразующих категорий вроде «категории пространственного отношения», которая базировалась бы на предложно-падежных сочетаниях как «словоформах».

17.1.1. По внутреннему устройству бывают парадигмы трех основных типов. Первый: каждая из противопоставленных форм имеет собственный положительный показатель. Таковы, например, формы, образуемые так называемыми суффиксами притяжания в монгольских и

²⁹ Точнее было бы сказать, что существительное в сочетании с предлогом можно трактовать как форму, внешним показателем которой выступает предлог (см. об этом п. 19.2.1). Мы используем более традиционную формулировку исключительно для краткости. /284//285/

³⁰ Разумеется в этой формулировке содержится значительный элемент упрощения: не учтено, что нормально парадигма характеризует не одно слово, а класс однородных в данном отношении слов.

тюркских языках, ср. в монгольском языке: суффикс *-aa* для субъектного притяжания, которое указывает на принадлежность соответствующего объекта референту первого актанта, *-минь* ‘мой’, *-чинь* ‘твой’, *-мань* ‘наш’, *-тань* ‘ваш’, *-нь* ‘его’, ‘их’ (все суффиксы — для системы личного притяжания). Парадигма этого типа построена на эквиполентной оппозиции.

Второй тип: одна из форм в рамках парадигмы маркирована нулевым показателем, остальные — положительными, как, например, падежная парадигма одушевленных существительных мужского рода в русском языке. Если парадигма второго типа двучленна, она построена на базе привативной оппозиции.

Третий тип: одна из форм — словарная, лишенная показателя, причем его отсутствие не эквивалентно наличию показателя /180//181/ нулевого, другая форма (формы) снабжена (снабжены) положительными показателями.

Если первый и второй типы выделяются чисто формально, то третий всегда обладает семантической спецификой. «Нейтральная» словарная форма выступает как неохарактеризованная с точки зрения данной грамматической категории. В этом смысле она, в сущности, вообще не входит в парадигму, а служит своего рода фоном, относительно которого рассматриваются прочие формы данной лексемы [Сепир 1934: 23–24]. Словарная форма, следовательно, обладает лишь классифицирующими грамматическими признаками, но не формообразовательными. В то же время в определенных условиях, в тех или иных контекстах такая форма способна как бы принимать значение любой из противопоставленных ей «ненейтральных» форм или, вернее, наличие словарной формы не препятствует основанной на контексте семантической интерпретации высказывания, включающей значения «ненейтральных» форм.

Если парадигмам первого и второго типов свойственна линейная структура³¹, то парадигмам третьего — радиальная: каждая из форм противопоставляется словарной, «ненейтральной» — нейтральной как охарактеризованная с точки зрения данного грамматического значения — неохарактеризованной. Парадигмы третьего типа особенно свойственны агглютинативным и изолирующим языкам. Таковы обычно парадигмы числа, которые фактически часто оказываются одночленными: словарная форма просто нейтральна по отношению к значению числа, это результат акта «чистой номинации», а показатель типа тюркского *-лар* передает семантику множественного числа. Ситуация оказывается в известном

³¹ Говоря о линейной организации парадигмы, мы имеем в виду лишь способ (тип) соотношения словоформ, когда всю парадигму можно представить как цепочку форм, каждая из которых имеет ту или иную формальную помету. С точки зрения семантики парадигма может обнаруживать иерархически организованную и в этом смысле нелинейную структуру.

смысле парадоксальной: множественное число не предполагает единственного, есть множественное число и «никакое», т. е., в сущности, форма вне категории числа [Гузев 1987].

17.1.2. В ряде языков, преимущественно агглютинативных или с выраженными чертами агглютинации, в пределах словоформы сосуществуют показатели, относящиеся к разным парадигмам первого, второго или третьего типов. При этом показатели, относящиеся к парадигмам первого или второго типов, выступают первичными, они присутствуют в любой словоформе соответствующего класса, а показатели, относящиеся к парадигмам третьего типа, — вторичными.

Именно таков принцип устройства глагольной словоформы³² в таких языках, как тюркские или, скажем, бирманский. Так, крайнюю правую позицию в бирманской глагольной словоформе занимают показатели наклонения — времени или перфектности, присутствие одного, и только одного из них, включая нулевой, практически обязательно. Эти показатели, соответственно образуемые ими формы, и являются первичными. Пространство между глаголом и данным первичным показателем могут — но не должны! — занимать разнообразные вторичные показатели, передающие модальные, аспектуальные и иные значения. В системе глагола первичные формы служат одновременно нейтральными по отношению к вторичным, что можно видеть на таких примерах: *т̄ва³ми²* ‘пойдет’ (глагол *т̄ва³* ‘идти’ плюс показатель будущего времени *ми²*), *т̄ва³йа¹ми²* ‘должен будет идти’, *т̄ва³найн²ми²* ‘сможет идти’ и т. п.

В новых индоарийских языках первичные и вторичные формы обнаруживаются в системе именного склонения. Так называемый общекошвенный падеж выступает здесь своего рода основой, на которую налагаются другие падежные формы [Зограф 1976].

18. Грамматическую категорию традиционно определяют как единство грамматической формы и грамматического содержания. В сущности, можно было бы говорить о «триединстве»: единстве в области формы (в плане выражения), значения (в плане содержания) и в соотношении формы и содержания. Рассмотрим эти аспекты по отдельности.

18.1. Единство в плане выражения обеспечивается дополнительным распределением или свободным варьированием показателей, выступающих формообразующим средством. Естественно, что в этом смысле объединенными оказываются лишь разные варианты

³² Реально в таких ситуациях речь должна идти не о словоформе, а о квазислове (квазисловоформе).

(разновидности) той же формы в составе парадигмы, за пределы данной формы эти связи обычно не распространяются³³.

Дополнительное распределение показателей может проявляться двояким образом: если показатели распределены относительно некоторых фонологических условий, то мы имеем дело с разными вариантами (алломорфами) одного показателя, что типично для агглютинативных языков; если же показатели распределены относительно лексико-грамматических или лексических условий, то перед нами синонимия показателей, что типично для флективных языков. Примеры общеизвестны.

18.2. Несравненно сложнее ситуация с единством в плане содержания. Многие авторы понимают такое единство как обязательное наличие инвариантного значения, лежащего в основе каждой категории: предполагается, что все значения, присущие каждой форме в составе парадигмы, суть варианты, разновидности какого-то одного, общего значения, а отсюда и вся парадигма объединена общей семантикой, дизъюнктивно разделенной на «зоны», отвечающие противопоставленным формам.

18.2.1. Легче всего проиллюстрировать этот подход на материале парадигмы числа существительных в русском языке. Согласно А. В. Исаченко [Исаченко 1972], исходящему именно из необходимости отыскания в семантике категории инварианта, традиционная оппозиция «единичность/множественность» в действительности не должна трактоваться таким образом. Дело в том, что среди форм мн. ч. встречаются и такие, как *сани, ножницы, брюки, Карпаты*, применительно к которым вряд ли правомерно говорить о множественности, но можно — о расчлененно- /182//183/ сти: во всех приведенных и иных примерах усматривается отнесенность к денотатам, которые характеризуются именно как «составные», или расчлененные. Поскольку традиционная множественность также с необходимостью предполагает расчлененность — ряд однородных объектов, то множественность объявляется частным случаем по отношению к расчлененности, т. е. расчлененность оказывается инвариантным значением, а множественность — вариантом этого последнего. Аналогично формам единственного числа приписывается общее значение нерасчлененности, по отношению к которому единственность должна считаться частным значением, вариантом.

В принципе вкратце описанной концепции нельзя отказать в известной привлекательности. Действительно, идеально решение, когда

³³ Возможны и формальные признаки, чаще всего морфонологической природы которые охватывают формы, образующие субпарадигмы в составе парадигмы (см. об этом [Касевич 1986b]), но эти связи носят уже другой характер и не являются обязательными.

исследователь за пестрыми и разнообразными явлениями «на поверхности» обнаруживает некоторую фундаментальную общность, за внешне различающимися значениями — семантический инвариант, по отношению к которому «наблюдаемые» частные значения оказываются вариантами³⁴. Вместе с тем надо учитывать, что система языка не устроена по законам формальной логики, она — результат «наивного» восприятия мира и, к тому же, итог многовекового развития со всеми его историческими случайностями. Требование обязательной инвариантности для семантики любой грамматической категории — это, по-видимому, слишком строгое требование. Наличие такой инвариантности возможно, но не необходимо. Так, применительно к нашему конкретному примеру с категорией числа в русском языке достаточно несколько расширить привлекаемый материал, чтобы показать неуниверсальность трактовки, кладущей в основу семантики категории оппозицию «расчлененность/нерасчлененность». Как мы уже писали [Касевич 1977: 72], трудно, в частности, усмотреть значение расчлененности у таких *pluralia tantum*, как *сумерки, поминки, проводы* и т. п.

По поводу семантики видовых противопоставлений в славянских языках Ю. С. Маслов пишет: «Исследуя семантическое содержание славянского глагольного вида, не следует ограничиваться поисками или конструированием „общего значения“, или „семантического инварианта“. Полезнее обратить внимание на частные видовые значения СВ и НСВ, проявляющиеся в различных типах речевого контекста» [Маслов 1984: 70–71]. В своей первой фундаментальной работе, посвященной виду, Ю. С. Маслов выражается еще категоричнее и требует, чтобы лингвист, «исследуя семантику видов, не ограничивался поисками такой общей формулы, которая позволила бы ему охватить в едином определении все многообразие оттенков каждого из видов, но чтобы тщательным анализом самих этих оттенков и причин распространения каждого из них в рамках определенной части глагольной лексики, он вскрыл бы подлинное содержание и взаимоотношение конкретных понятийных категорий, сосуществующих под покровом /183//184/ единого формально-грамматического целого» [Маслов 1984: 50–51].

Здесь особенно важны два обстоятельства. Одно заключается в том, что Ю. С. Маслов фактически вообще отказывает категории вида в общем значении, когда он говорит о том, что формальное единство категории скрывает ее содержательную разноплановость. Другое состоит в указании на возможный источник диверсификации значений в рамках категории: одно и то же значение — в данном случае его реальность как будто бы не подвергается сомнению — модифицируется в зависимости от

³⁴ Вообще одну из существеннейших задач науки можно определить, вслед за У. Р. Эшби [Эшби 1959], как «ограничение разнообразия».

лексического значения слова, в рамках которого реализуется частная грамматическая категория. По существу, речь может идти о вариантах общего значения, дополнительно распределенных относительно соответствующих лексем.

Категорию вида мы специально обсудим несколько позднее (см. п. 20 и сл.). Сейчас же попытаемся выделить наиболее типичные структуры плана содержания грамматических категорий.

18.2.2. Первый тип заключается — все-таки! — в наличии инвариантного значения. Примеры отнюдь не единичны. Так, инвариантное значение, причем часто даже не «осложненное» наличием вариантов, довольно типично для таксисных категорий. Скажем, русское деепричастие неизменно указывает на предшествование (СВ) или одновременность (НСВ) безотносительно ко времени — настоящему, прошедшему или будущему, ср. *погуляв, встретил (встречаю, встречу)* — *гуляя, встретил (встречаю, встречу)*. В корейском языке деепричастию на *-адага/-адага* как будто бы во всех случаях соответствует следующая семантика: предшествование ситуации, называемой деепричастием по отношению к ситуации финитного глагола, соотношение, этих ситуаций как процесса и результата соответственно при кореферентности их объектов, пространственный и/или временной интервал между двумя ситуациями [Аткнин 1973].

Инвариантное значение можно усмотреть в основе парадигм наклонений. Хотя, например, значение императива «распадается» на целый ряд подзначений-вариантов — приказание, просьба, совет, разрешение и т. п. — их можно свести к одному: прямому волеизъявлению относительно реализации данной ситуации. Аналогично положение с каузативом. При всем многообразии каузативных подзначений, в основе категории лежит семантический инвариант «X каузирует Р», где Р — ситуация.

18.2.3. Второй тип — наличие семантического поля, соответствующего плану содержания категории. Полевая структура плана содержания грамматической категории предполагает, что имеется основное значение и вторичные, «отстоящие» от основного в большей или меньшей степени и распределенные тем или иным образом.

По-видимому, можно говорить о двух подтипах поля. При наличии поля одного подтипа вторичные значения связаны с /184//185/ основным непосредственно. Каждое из вторичных значений есть преобразование основного, возникающее в результате взаимодействия последнего с линейным или нелинейным контекстом. Линейный контекст — участие в той или иной конструкции, сочетание с лексемами тех или иных классов. Нелинейный — реализация в лексеме соответствующего класса или подкласса.

Когда мы имеем дело с полем другого подтипа, вторичные значения связаны не только с основным, но друг с другом; иначе говоря, значения образуют своего рода цепочечную структуру. В результате некоторые из

вторичных значений настолько далеко отходят от основного, что фактически теряют с ним всякую связь³⁵.

Во всех случаях следует тщательно различать собственные значения форм, пусть и модифицированные влиянием контекста, и значения, которые позволяет передавать — контекстом, конструкцией — данная форма и которые самой форме не принадлежат. Наконец, те или иные значения могут возникать как выводы, следствия из употребления данной формы с ее семантикой и некоторых наших знаний о мире, о типичных «правилах игры» при передаче информации типа коммуникативных постулатов Грайса [Грайс 1985]. Некоторые примеры могут быть найдены в разделах, посвященных описанию конкретных грамматических категорий, в частности категории времени (см. п. 22 и сл.).

18.2.4. Наконец, третий тип структуры плана содержания грамматической категории — выделение нескольких относительно самостоятельных семантических зон, которые уже не связаны как основные и вторичные (производные) значения, речь может идти только о большей/меньшей распространенности, т. е. либо о большем/меньшем охвате данного класса лексем, либо о степени представленности, распространенности в тексте. Именно так описывают в ряде работ семантику русского вида, выделяя четыре основных, наиболее распространенных и относительно самостоятельных значения [Гловинская 1982]³⁶.

Говоря о принципах установления значений, в нашем случае значений грамматических категорий, особенно же общих, инвариантных, нужно лишний раз напомнить: значения — внутриязыковые «ценности», они не всегда связаны «напрямую» с внеязыковой действительностью. Поэтому некорректно выводить значение формы непосредственно из того, какая ситуация соответствует ее употреблению в реальной действительности. Следует стремиться к выявлению именно тех значений, которые «имеет в виду» сообщить говорящий употреблением данной формы (ср. понятия *purport* у Л. Ельмслева [Ельмслев 1960], *das Gemeinte* у Э. Кошмидера [Koschmieder 1965])³⁷. Например, при употреблении формы

³⁵ Следует заметить, что цепочечные структуры, когда имеет место последовательный перенос признака с одного явления на другое по законам аналогии, ассоциации, чрезвычайно характерны для человеческой психики (особенно детской). В этом случае «крайние точки» цепочек тоже утрачивают связь друг с другом — во всяком случае, для некоторого наблюдателя, который не пользуется той же цепочечной структурой, а, может быть, и для «автора» последней [Выготский 1982].

³⁶ Когда при этом считают, что выделенные четыре значения суть варианты некоторого одного, перед нами первый тип структуры плана содержания грамматической категории.

³⁷ Мы уже писали ранее, что, «выясняя значение грамматических форм, мы должны исходить из того, что хочет сообщить говорящий употреблением данной формы, т. е. как он интерпретирует некоторый факт действительности» [Касевич 1977: 72]. Аналогичное утверждение находим у А. Вежбицкой: «Для меня значение — это то, что

будущего времени ситуация, называемая глаголом в данной форме, безусловно отсутствует в объективной действительности, однако из этого никак не следует делать вывод, что это /185//186/ и есть значение футуральной формы. С одной стороны, говорящий, высказыванием, например, *пойду* отнюдь не хочет сообщить, что в момент речи он не идет. С другой стороны, в языке существует отдельная отрицательная конструкция (или отрицательная форма глагола), значением которой как раз и является отсутствие ситуации, называемой глаголом, поэтому приписывание футуральной форме того же, по существу, значения нарушило бы реальные внутрисистемные отношения.

18.2.5. При обсуждении проблемы поля нельзя не упомянуть концепции функционально-семантических полей (ФСП), разрабатываемую в последнее время главным образом в работах А. В. Бондарко [Бондарко А. В. 1981; 1983; 1984 и др.]. Концепция ФСП кладет в свою основу положения о понятийных категориях О. Есперсена [Есперсен 1958], И. И. Мещанинова [Мещанинов 1945], в особенности же следующие рассуждения С. И. Бернштейна [Бернштейн С. И. 1922], цитируемые А. В. Бондарко в [Бондарко А. В. 1981 и 1984]: «...Отправной точкой синтаксического исследования должен служить материал, почерпаемый из физически осуществляемой и воспринимаемой внешней речи. От этой материальной данности исследователь восходит к ее психическому источнику — от звукового обнаружения мысли к значению. Так, наличие в языке формы повелительного наклонения позволяет заключить о существовании в психике данного языка категории повелительности. Но, с другой стороны, может оказаться, что эта категория находит выражение и в других формах — в других звуковых обнаружениях, — например, в форме инфинитива, произнесенной с соответствующей интонацией. Поэтому, установив при помощи формы известное значение, категорию, исследователь должен проделать обратный путь — и с точки зрения найденной категории вновь пересмотреть весь материал внешних обнаружений мысли в языке. В результате получается двойная система соответствий: 1) форма повелительного наклонения выражает грамматические категории повелительности, условности и т. д.; 2) категория повелительности выражается в форме повелительного наклонения, в форме инфинитива с определенной интонацией и т. д. ... И только в этой второй системе синтаксис получает завершение и достигает своей конечной цели — быть учением об определенной области явлений сознания и способах их внешнего обнаружения» [Бондарко А. В. 1984: 15–16].

Прежде всего, нужно внести уточнения в общее понимание того подхода, который обрисован в приведенном высказывании С. И. Бернштейна. В нем усматривают альтернативу по отношению к

имеют в виду говорящие, когда они употребляют данные слова» [Wierzbicka 1969: 37].

методам анализа от формы к значению и от значения к форме, а также, равным образом, синтез этих двух методов [Бондарко А. В. 1984: 15 и сл.]. Одновременно анализ по принципу «от формы к значению» приравнивается к «пассивной грамматике», а по принципу «от значения к форме» — к «активной грамматике» Щербы [Бондарко А. В. 1984: 12].

Действительная ситуация представляется более сложной и /186//187/ менее однозначной. В лингвистическом анализе исследователь не просто идет от формы к значению — он устанавливает систему категорий, где представлены и форма, и значение. Иначе говоря, мы имеем дело с переходом отнюдь не «форма → значение», а «текст → языковая система». Если ориентироваться на пример С. И. Бернштейна, то лингвистический анализ обнаружит систему, в которую входит особая глагольная форма, — противопоставляющаяся (в русском языке) двум другим — изъявительной и сослагательной. Кроме этого, будет выявлена неопределенная форма, инфинитив, входящая в другую систему. Одновременно будет установлено, что существуют контексты, языковые и внеязыковые, где две формы — повелительная и неопределенная — взаимозаменяемы: *Молчи!* ⇔ *Молчать!*, *Лежи!* ⇔ *Лежать!* и т. п. Из чего следует вывод, что две системы — та, в которую входит императив, и та, в которую включен инфинитив, — определенным образом связаны функционально и семантически.

Таким образом, строго говоря, в рамках рассуждения Бернштейна, — или, по крайней мере, в рамках его примеров, — нет «встречного» движения от формы к значению и наоборот: без анализа функционирования форм в различных контекстах систему вообще установить нельзя, речь идет, скорее, о расширении круга учитываемых контекстов, в результате чего выявляется своего рода интерференция языковых подсистем.

В концепции ФСП, развиваемой А. В. Бондарко, такое движение уже присутствует. По определению Бондарко, ФСП — «это система равноуровневых средств данного языка (морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексических, а также комбинированных — лексико-синтаксических и т. п.), объединенных на основе общности и взаимодействия их семантических функций» [Бондарко А. В. 1984: 21–23]. В этой же работе говорится о «межуровневых, равноуровневых системах, основанных на семантико-функциональном объединении грамматических и связанных с ними лексических элементов» [Бондарко А. В. 1984: 23].

Возникают, однако, некоторые вопросы, которые носят, как нам кажется, принципиальный характер. В рассуждении С. И. Бернштейна, хотя, как мы видели, оно нуждается в оговорках, речь все же шла всегда о формах: от формы императива с ее категориальным значением к форме же инфинитива на основании их частичной изофункциональности. В концепции ФСП от значения грамматической категории можно переходить

и к лексеме, тоже на базе общности, теперь уже скорее семантической, нежели функциональной. Но принадлежит ли лексика области формы? Если нет, то анализ вообще выходит за рамки соотношения значения и формы или, во всяком случае, непосредственно связываются грамматическая категория, являющаяся единством значения и формы, и лексические единицы, которые родственны категории — предположительно — лишь в области семантики. /187//188/

Последнее, возможно, требует только некоторых уточнений в формулировках. Но одновременно появляется еще один вопрос, более существенный. Что дает основания усматривать общность в значениях грамматических, с одной стороны, и лексических — с другой? Общая идея концепции такова: коль скоро в языке представлена грамматическая категория с таким-то значением, то вокруг нее группируются и разноплановые другие языковые элементы на базе сходства, общности значения. «Так, при изучении средств выражения временных отношений в русском языке, — например, темпоральной отнесенности к будущему, — учитываются ...грамматические формы времени и лексические показатели типа *завтра*, *вот-вот* и т. п. ...» [Бондарко А. В. 1984: 13]. Но действительно ли реальна семантическая общность между планом содержания категории будущего времени и значениями лексем *завтра*, *вот-вот* и т. п.? У них есть частичное совпадение, пересечение в денотативном плане, но в сигнификативном, которое определяется внутрисистемными отношениями и отражается, скажем, лексикографическим толкованием, такого совпадения как будто бы нет: значение будущего времени можно истолковать как ‘момент Т после момента речи’ (куда входит, кстати, и ‘сегодня’ как одна из разновидностей отрезков времени после момента речи), а значение, скажем, лексемы *завтра* — как ‘любой момент Т после истечения (окончания) суток, в рамках которых имеет место высказывание, содержащее слово *завтра*’.

Во всяком случае, тождество значений, выражаемых лексически и грамматически, не очевидно. Почти аксиоматично несовпадение таких значений в разных языках: хотя противопоставление, например, англ. *I walk* — *I am walking* более или менее поддается передаче лексическими средствами русского языка, из этого вовсе не следует, что русская лексическая семантика тождественна здесь английской грамматической. (Можно было бы даже сказать, что приравнивание соответствующих высказываний при переводе осуществляется на базе общности «денотативного опыта» носителей разных языков, т. е. оно просто выходит за пределы языковой семантики.) Но даже и внутри одного и того же языка значения, выраженные грамматически и лексически, возможно, не допускают слишком прямолинейного отождествления. Предположим, что в языке отсутствует категория будущего времени.

Означает ли это, что в таком языке лексемы типа *завтра*, *вот-вот* (допустим, что они в данном языке существуют) как-то семантически отличаются от аналогичных лексем в языке с категорией будущего времени? Ведь в нашем гипотетическом языке они уже не входят в ФСП футуральности. Если же различий в этом плане между лексемами языков нет, несмотря на их вхождение/невхождение в соответствующее ФСП, то не приходим ли мы к тому, что принадлежность лексических элементов к ФСП на базе семантической общности есть нечто скорее внешнее или даже искус-^{/188//189/}ственное? Ведь, пожалуй, единственное, что мы можем утверждать с уверенностью на данном этапе исследованности проблемы — это своего рода дистрибутивная общность разноплановых средств языка: вполне очевидно, что, например, *завтра* в типичном случае употребляется именно в контексте форм будущего времени и т. п. С этой точки зрения и в этом смысле существуют, надо полагать, и внутрисистемные, так сказать, словарно-грамматические связи между такими лексемами и формами, формирующиеся именно в результате их «коокуррентности». Но нужно ли связи этого рода трактовать как наличие особых полей — этот вопрос нуждается в изучении.

Наконец, еще труднее поддержать сближение анализа «от формы к значению» и «от значения к форме» с «пассивной» и «активной» грамматиками соответственно. Дело в том, что оба направления — от формы к значению и от значения к форме — это направления именно анализа, т. е. способы, методы исследования, деятельности лингвиста, здесь мы имеем дело с переходом «текст → языковая система». Что же касается понятий пассивной и активной грамматики, они ориентированы на речевую деятельность: пассивная — это то, что позднее Ч. Хоккетт назвал «грамматикой для слушающего» [Хоккетт 1965], а активная — «грамматика для говорящего»³⁸. Иными словами, в данном случае отражаются переход «текст → смысл» и «смысл → текст» соответственно, т. е. речевосприятие и речепроизводство.

Между тем, концепция ФСП, как нам представляется, может занять свое место в лингвистическом описании именно в применении к моделированию процессов речевой деятельности. А. В. Бондарко подчеркивает равноуровневость языковых средств, принадлежащих одному ФСП (см. выше). Но взаимодействие уровней осуществляется именно в речевой деятельности. Добавим только, что, помимо межуровневых операций, существует еще и взаимодействие межкомпонентное, причем в число компонентов входит и лексический (словарь).

³⁸ Первую из них, впрочем, нельзя трактовать как правила однонаправленного перехода от формы к значению, поскольку при восприятии речи уже на первых ее этапах представлены гипотезы относительно семантической интерпретации текста (подробнее см. в гл. V, раздел «Восприятие речи»).

При таком подходе окажется, что ФСП — это своего рода вертикальный срез в процессах, например, порождения речи, который мы получим, если проследим «путь прохождения» некоторого семантического элемента от смысла к тексту в его взаимодействии с другими элементами языковой системы. Так, если в семантической записи высказывания содержится компонент ‘будущее время’, то он предопределяет использование соответствующих глагольных форм, а одновременно активируются слои лексики, согласующиеся с данной семантикой, и т. п.

18.3. Остается сказать о грамматической категории как о единстве грамматической формы и грамматического значения с точки зрения регулярности соответствия выражения и содержания. Этот аспект, в свою очередь, имеет два подаспекта.

18.3.1. Первый из них сравнительно тривиален. Он сводится к тому, что, вообще говоря, фиксируется однородность пар (троек и т. д.) словоформ, принадлежащих некоторому классу /189//190/ лексем, с точки зрения содержательного отношения между членами пар (троек и т. д.). Так, в русском языке совершенный и несовершенный виды могут выражаться целой серией разных способов, к тому же для разных подклассов лексем значения СВ и НСВ не совпадают. Тем не менее, признается, что внутри каждой пары отношения на всем пространстве лексики единообразны³⁹. Именно к этому и сводится в данном случае регулярность.

18.3.2. Второй подаспект проблемы связан с вопросом о факультативности грамматических категорий и/или средств их выражения. Своего рода фоном, относительно которого рассматривается этот вопрос, выступает обычная, «нормальная» ситуация, которую мы находим в индоевропейских языках. Здесь налицо, как считается, регулярная двусторонняя зависимость между выражением и содержанием грамматической формы: когда употреблен тот или иной формальный показатель, налицо соответствующее ему значение; когда передается данное значение, должен присутствовать отвечающий ему показатель. Например, в русском языке мы нормально не можем употребить существительное в форме единственного числа, если передается значение множественности, равно как и наличие формы единственного числа или же множественного — это всегда указание на соответствующую семантическую характеристику⁴⁰.

³⁹ Разумеется, это справедливо, если признавать реальность семантического инварианта для оппозиции НСВ/СВ, с чем, как уже отмечалось, согласны не все исследователи.

⁴⁰ На самом деле такое описание в известной степени идеализировано, существуют контексты, когда грамматически единственное число (немаркированный член оппозиции) контекст заставляет трактовать как реально множественное и наоборот, ср., например, *Мы все только рот открыли от изумления* или *Ну, как мы себя чувствуем?*

В отличие от этого, в изолирующих и, отчасти и несколько по-иному, в агглютинативных языках, отсутствие данного формального показателя как будто бы еще не говорит о том, что отвечающее ему значение тоже отсутствует. Например, предложение с тюркским словом *эв* или бирманским *эйн²* 'дом' в большинстве случаев может быть употреблено как в ситуации, когда оно «прилагается» к одному дому, так и в ситуации, когда домов более одного. Именно это в литературе принято называть «факультативностью»: получается, что использование показателя множественного числа необязательно, значение множественности может быть выражено и без него. Аналогично бирманские предложения *нга² ха² са²оу⁴ коу² пха⁴ тэ²* и *нга² са²оу⁴ пха⁴ тэ²* 'я читаю книгу' в большинстве контекстов взаимозаменяемы, хотя в первом из них есть показатели подлежащего и дополнения (первого и второго актантов), а во втором — нет.

Между тем две приведенные иллюстрации допускают разное толкование. В первом случае, когда «опускается» показатель множественного числа, в действительности мы имеем дело с нейтральной словарной формой, которая просто вне количественной семантики (см. об этом выше, п. 17.1.1). Иначе говоря, в силу своей семантической неопределенности, эта форма может использоваться применительно к более широкому классу ситуаций, нежели форма, снабженная показателем множественного числа. Здесь нет опущения показателя множественного /190//191/ числа — налицо замена количественно-определенной формы на количественно-неопределенную, «универсальную». Поэтому неправомерно говорить и об асимметрии выражения и содержания, когда значение множественности присутствовало бы несмотря на отсутствие показателя множественного числа: в действительности этого значения просто нет, а есть возможность соответствия формы денотативной множественности, что, в свою очередь, объясняется нейтральностью словарной формы по отношению к количественной семантике.

Что касается второго бирманского примера с отсутствием синтаксических показателей, то возможно следующее рассуждение: хотя соответствующие показатели не употреблены, лишённые их слова выполняют свои функции. Если считать, что эти функции семантизованы, то, в нашем примере, несмотря на «опущение» показателей, сохраняются значения субъектности и объектности. Таким образом, факультативными оказываются сами служебные слова, но не передаваемые ими значения: их выражение берет на себя, вероятно, контекст (см. выше, п. 4.3.1).

Существенно также, что синтаксическая конструкция сохраняется и при неупотреблении показателей (хотя в принципе могут расширяться возможности ее семантизации). Следовательно, налицо либо разные способы оформления одной и той же конструкции (в этом случае «факультативность» сводится к вариантности), либо разные конструкции с разными, соответственно, семантическими потенциями.

В чем же все-таки состоит типологическая специфика соответствующих языков, которая безусловно им свойственна? Прежде всего, этим языкам присущи «нейтральные» формы слов — словарные или некоторые другие, которые обладают очень широкой дистрибуцией и/или семантикой. В силу широты и неопределенности своей семантики они могут использоваться применительно к разнообразным классам денотативных ситуаций.

Благодаря своим богатым дистрибутивным потенциям эти формы участвуют в самых разных синтаксических конструкциях, они в значительно меньшей степени связаны синтаксическим контекстом, чем формы флективных языков⁴¹. Поэтому вряд ли целесообразно говорить о факультативности морфологических показателей, вместо этого следует говорить об употреблении разных форм — с широкой семантикой (обычно словарных) и более узкой, т. е. с использованием соответствующего показателя. Что же касается синтаксических показателей, то, в тех случаях, когда их отсутствие приводит к возможности более широкой семантизации конструкции, ситуация фактически та же, что в морфологии: конструкция с более узким значением заменяется на конструкцию со значением, потенциально более широким. Когда же семантическая идентичность конструкции при опущении показателей сохраняется, ситуацию можно трактовать следующим образом. Синтаксические показатели существуют для того, чтобы ограничить возможности интерпретации конструкции. Когда в этом нет необходимости, они фактически и оказываются факультативными. Такого явления действительно нет во флективных языках, где синтаксическая конструкция налагает более жесткие ограничения на выбор входящей в нее формы.

Нужно только учитывать, что в изолирующих и агглютинативных языках обычно существуют разнообразные правила, вплоть до ритмических, ни для одного языка не изученные сколько-нибудь удовлетворительно, которые диктуют употребление/неупотребление синтаксических, иногда и морфологических показателей в тех случаях, когда коммуникативная задача допускает оба варианта — со словарными или в данном отношении эквивалентными им и специализированными

⁴¹ Эксперименты по свободным ассоциациям на материале английского и польского языков показали, что для польского более свойственны синтагматические (текстообразующие) ассоциации, а для английского — парадигматические; объясняется это тем, что польское слово, как правило, представлено в той или иной форме, предполагающей тип синтаксического функционирования, а английское выступает просто как член словаря [Grover-Stripp, Bellin 1983]. Иначе говоря, лексическая единица аналитического (тем более — изолирующего) языка существенно зависит от контекста для своей реализации, а единица флективного языка от контекста зависит относительно меньше в том смысле, что в определенной степени «несет его с собой».

формами (ср. [Восточное языкознание... 1972: 5 и 17–19]). О наличии таких правил говорят и эксперименты на материале китайского языка [Солнцева, Солнцев 1965], а также бирманского (результаты не опубликованы), которые состояли в том, что носителям языка предлагался текст, в котором, с одной стороны, были опущены служебные морфемы, а, с другой, введены таковые в позициях, где это в принципе допустимо. В значительном большинстве случаев испытуемые приводили текст к исходному виду, т. е. восстанавливали опущенные показатели и устраняли введенные.

Как можно видеть, обсуждая проблему факультативности, мы оказались вынужденными выйти за рамки морфологии. Возвращаясь к морфологической проблематике, мы можем констатировать, что единство формы и содержания для грамматической (морфологической) категории при всей своей «нетривиальности» сводимо к тому, что всякое языковое значение требует формального выражения, а формальное варьирование должно рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае: либо оно грамматически незначимо, будучи обусловлено стилистически, имея диахронические объяснения и т. п., — в этом случае варьирование не имеет импликаций в сфере грамматической семантики, либо же замена формы влечет за собой переход к иной «семантической зоне» (такие соотношения действительны, конечно, не только для морфологии).

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ (МОРФОЛОГИЧЕСКИХ) ЗНАЧЕНИЙ

19. Дадим сводку способов, — вероятно, не всех, а основных, — с помощью которых в различных языках выражаются грамматические (морфологические) значения.

19.1. Наиболее изученный в лингвистической литературе способ — аффиксация. Не будем повторять того, что выше было сказано о типах аффиксов — префиксах, суффиксах и т. д. (см. п. 9). Отметим лишь, что любая аффиксация — это необу-^{192/193}словленное варьирование одной из частей слова. Иначе говоря, в языках, где используется данный грамматический прием, в слове выделяются «зоны»: постоянная (неизменяющаяся), изменяющаяся необусловленно и изменяющаяся обусловленно. В разных словоформах одного и того же слова соотношение зон может меняться; ни одна из них не является абсолютно обязательной, поскольку даже в классе изменяемых слов обычно имеются и неизменяемые (см. об этом ниже).

19.2. Другой широко известный способ выражения грамматических значений — использование служебных слов. В таких случаях принято говорить об аналитических, или сложных, формах слова. Аналитические формы большинство исследователей считают равноправными по

отношению к синтетическим, т. е. аффиксальным. Это поддерживается широкой распространенностью парадигм, где часть форм образована синтетически, а часть — аналитически; примеры общеизвестны.

19.2.1. Необходимо, однако, уточнить, что некорректно считать, например, сочетание *буду работать* аналитической формой слова как целое: *буду работать* очевидным образом состоит из двух слов — *буду* и *работать*, и вряд ли можно разумно объяснить, каким образом два слова превращаются в словоформу, т. е. одно слово в одной из своих форм. Поэтому следует признать, что *буду* — и вообще любое морфологическое служебное слово — не является компонентом аналитической формы слова. В качестве последней выступает лишь форма *работать*, а ее аналитичность нужно понимать таким образом, что признак формы находится вне ее самой. Признаком формы выступает служебное слово, в нашем случае *буду* [Касевич 1977].

Из этого следует, в свою очередь, что русский инфинитив (если продолжать оперировать тем же примером) приобретает значение будущего времени в контексте вспомогательного глагола в соответствующей форме.

19.2.2. Служебные слова могут обладать большей или меньшей самостоятельностью, где под последней мы понимаем в данном случае способность служебного слова в эллиптических высказываниях выступать представителем (заместителем) сочетания «знаменательное слово + служебное». Отчасти это зависит от изменемости/неизменяемости: изменяемые служебные слова уже в силу наличия самого этого признака формально сближаются со знаменательными словами. Поэтому в эллиптических высказываниях они могут выступать представителями всего сочетания, как и полнозначный глагол, ср. *Ты будешь работать?* — *Буду* и *Что ты будешь делать?* — *Работать*. В отличие от этого, скажем, неизменяемое слово *бы* не обладает таким свойством, оно употребляемо только лишь в сочетании с глаголом.

Однако самой по себе неизменяемости еще недостаточно для приобретения служебным словом самостоятельности. Так, не являются самостоятельными немецкие артикли, несмотря на [/193//194/](#) свою изменимость. В то же время из неизменяемости еще не следует непременно несамостоятельности. Например, бирманские приглагольные модификаторы неизменяемы, однако в эллиптических высказываниях по крайней мере часть из них способны выступать представителями сочетания «полнозначный глагол + модификатор», ср. *йау⁴ тва³ тэ²* ‘прибыл’ — *тва³ то¹* ‘прибыв’, где в двух «соседних» предложениях (*йау⁴* ‘прибывать’, *тва³* — модификатор) второе содержит только модификатор плюс показатель глагольной формы, функционирующей как второстепенное сказуемое (показатель относится ко всему сочетанию, представленному модификатором).

Таким образом, служебные слова целесообразно разграничивать по двум признакам, на которые в литературе, кажется, не обращалось достаточного внимания: изменяемые/неизменяемые и самостоятельные/не-самостоятельные. В результате мы получаем четыре класса: изменяемые самостоятельные, изменяемые несамостоятельные, неизменяемые самостоятельные и неизменяемые несамостоятельные. Как уже сказано, более типичны изменяемые самостоятельные и неизменяемые несамостоятельные. Вспомогательные глаголы, связки чаще всего принадлежат к категории самостоятельных служебных слов, артикли — к категории несамостоятельных (как и предлоги и послелоги, которые относятся к синтаксическим служебным словам).

19.2.3. Когда служебное слово употребляется с изменяемым знаменательным, то автоматическое следствие заключается в том, что данное грамматическое значение фактически выражается сочетанием двух разнородных показателей — аффикса и служебного слова. Вместе с тем, роли их неодинаковы: служебное слово непосредственно указывает на то или иное грамматическое значение (обычно их набор), употребление же аффикса выступает в известном смысле обусловленным, поскольку его «требуется» данное служебное слово. Соответственно, функция аффикса здесь ослаблена, она приближается к морфонологической. Тем не менее, говорить о полной «морфонологизации» аффикса нельзя, так как (а) употребление аффикса в таких случаях универсально, в то время как морфонологические изменения могут распространяться и на часть словаря, (б) неупотребление аффикса есть грамматическая, а не фонологическая ошибка [Kuryłowicz 1968]; (в) за выбором аффикса не стоят какие бы то ни было фонологические закономерности (даже если учитывать диахронию).

19.3. Вне слова выражаются грамматические значения и тогда, когда средством этого выступает синтактика в узком смысле — комбинаторика слова. Поскольку синтактика — столь же неотъемлемое свойство знака, сколь и его означающее (экспонент) и означаемое, этот способ выражения грамматического значения должен рассматриваться как равноправный по отношению ко всем прочим. Тем не менее, там, где речь идет о /194//195/ морфологии, синтактика, очевидно, не выступает как основное, единственное средство для передачи соответствующего значения, она существует обычно на фоне других. Так, можно говорить о выражении множественного числа существительных в английском языке «через» согласование, т. е. синтактикой, ср. *the sheep is grazing* и *the sheep are grazing, the aircraft fly* и *the aircraft flies*. Однако трудно представить себе ситуацию, при которой множественное число выражалось бы исключительно синтактикой.

Аналогично положение с неизменяемыми существительными в русском языке. Их число, падеж, род определяются по согласованию и управлению, но если бы не было «обычных» аффиксальных форм, не

существовало бы и оснований для трактовки, скажем, слова *пальто* в сочетании *вижу пальто* как формы винительного падежа, а в сочетании *серые пальто* — как формы множественного числа именительного или винительного падежей (в этом случае не было бы и управления и согласования, а только лишь примыкание).

Вряд ли можно согласиться с точкой зрения, согласно которой число в англ. *sheep*, *aircraft*, число и падеж в рус. *пальто*, *какаду* выражаются нулевыми аффиксами (окончаниями) (если бы это было справедливо, тезис о синтактике как самостоятельном способе формального выражения грамматических значений утратил бы силу). Нулевой показатель входит в слово (словоформу), является его приметой и, подобно положительному показателю, не нуждается в контексте — а синтактика и есть тип контекста — для своей реализации. Поэтому в действительности следует говорить об омонимии форм; так, все формы в парадигмах лексем *пальто*, *какаду* и т. п. являются омонимами.

При омонимии словоформ можно говорить о своего рода скрытой грамматике в области формообразования, но, по-видимому, не о скрытых категориях (см. об этом в гл. IV, п. 3–3.3): сама, например, категория падежа в русском языке никак не может быть сочтена скрытой, только для небольшой части слов, главным образом заимствованных, падеж выводится из комбинаторики, не имея отдельного выражения ни в самом слове, ни за его пределами.

19.4. Еще одно средство передачи грамматических (морфологических) значений — морфологическая трансформация, о которой уже говорилось выше как о имеющей две основные разновидности: внутреннюю флексию и редупликацию (удвоение).

19.4.1. Внутренняя флексия — необусловленная модификация корня. Непростой вопрос — разграничение внутренней флексии и инфиксации либо трансфиксации. В самом деле: почему нельзя расценивать в качестве внутренней флексии, например, лат. *vinc(o)* ‘побеждаю’ по отношению к *vic(i)* ‘победил’ и под.? Вообще говоря, однозначного ответа, скорее всего, не существу-^{195/196}ет (во всяком случае, если тот же аффикс не используется и в качестве префикса, как в кхмерском или индонезийском языках, см. об этом выше, п. 9). Для латинского языка естественнее считать корнем не *vinc-*, а *vic-*, как повторяющуюся структуру в разных словоформах и, аналогично, *-n-*, на тех же основаниях квалифицировать в качестве инфикса.

Заметим, что здесь неприменим в качестве «универсального ключа» и метод квадрата. В принципе на основании этого метода можно было бы выделить «инфиксы» и корни в случаях наподобие англ. *teeth*, ибо реальна пропорция (квадрат) вида $/t-u:-\theta/ : /t-i:-\theta/ = /g-u:-s/ : /g-i:-s/$, позволяющая, казалось бы, выделить корни $/g...s/$, $/t...-\theta/$ и инфиксы $/u:/$, $/i:/$. Не случайно что такой анализ в англистике как будто бы не представлен. Вероятно,

основная причина заключается в том, что в других словах наблюдаются другие модификации, ср. *mouse* — *mice*, *louse* — *lice* и т. п., они указывают, что речь должна идти не о наборе инфиксов, каждый из которых используется в одном-двух словах, а об однотипной операции над корнем — чередовании гласных в составе его экспонента. А такая операция и является внутренней флексией.

19.4.2. Редупликация имеет ряд разновидностей. Они определяются: (а) тем, какая единица удваивается; (б) позицией, которую занимает воспроизводимая единица в исходной словоформе; (в) позицией, которую занимает воспроизводимая единица относительно того или иного структурного компонента слова; (г) возможностью (необходимостью) аффиксации, используемой одновременно с удвоением; (д) модификациями, которые имеют место одновременно с удвоением.

Удваиваться могут: словоформы в целом, основы, корни, аффиксы, морфотемы (обычно в составе корня).

Первый тип — наиболее простой, он дает так называемое полное удвоение. Иллюстрацией может служить бирманский язык, в котором глаголы качества и некоторые глаголы действия (состояния) могут приобретать особую форму редупликатива, использующуюся как определение или сирконстант, ср. *миан*² ‘быть быстрым’ → *миан*²*миан*²*пйэй*³ ‘быстро бежать’.

Пример показывает одновременно, что, хотя преимущественная семантическая сфера, обслуживаемая редупликацией, — значения количества и меры, удвоение вполне может использоваться и с другими функциями, в частности, и для создания синтаксически ориентированных форм.

Все прочие виды редупликации дают неполное или осложненное удвоение⁴².

Отметим отдельно удвоение морфотемы. Здесь можно выделить два подтипа. При первом сама морфотема выделяется единственно по «показаниям» удвоения. Например, в мадурском языке воспроизводится последний слог корня, который (слог) поэтому и является морфотемой; этот слог ставится перед корнем (точнее, перед исходной формой корня), в результате *-/196//197/* тате выражается значение множественного числа у существительных, например, *парао* ‘лодка’ → *о-парао* ‘лодки’ (мн. ч.) [Оглоблин 1986: 34].

Для второго подтипа вычленение морфотемы имеет независимые основания (по закономерностям аффиксации и т. п.). Такова ситуация в

⁴² Как можно видеть, мы не приравниваем понятия неполного удвоения и дивергентного повтора [Языки Юго-Восточной Азии 1980]: полное и неполное удвоения различаются воспроизводимой единицей — словоформой в целом или ее частью, а дивергентный и обычный повторы — наличием/отсутствием модификаций, сопровождающих удвоение.

семитских языках, где корень знаменательных слов обычно состоит из (согласных) морфотем, и один из согласных, чаще всего второй, может удваиваться, что служит планом выражения формо- и словообразовательных процессов, например, араб. *касара* 'он сломал' → *кассара* 'он разбил вдребезги' [Гранде 1974: 106].

ОСНОВНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

Вид и время

20. Вид принадлежит к числу морфологических категорий, семантическое устройство которых отличается значительной сложностью. Наиболее общим образом семантика вида описывается обычно как указание на то, «как протекает во времени или распределяется во времени» [Пешковский 1936: 105] ситуация, называемая глаголом. Это определение А. М. Пешковского через 40 лет почти повторяет дефиниция Б. Комри: «Виды — это разные способы представления (*viewing*) внутреннего временного устройства ситуации» [Comrie 1976: 3].

Столь широкие определения, по-видимому, по самой своей природе не могут быть достаточно информативными. Хотелось бы только сделать одно замечание по поводу той «привязки» к времени, которая в них присутствует. Безусловно справедливо, что любая ситуация существует и развертывается во времени, любое изменение в пределах ситуации происходит, естественно, во времени. Однако видовая семантика, скорее всего, относительно независима от временной. «...Вид связан с понятием времени, — пишет Ю. С. Маслов, — но в отличие от категории глагольного времени он имеет дело не с дейктической темпоральной локализацией обозначаемого „действия“, а с его внутренней темпоральной структурой как она понимается говорящим. Вид отражает „оценку“ говорящим временной структуры самого действия» [Маслов 1984: 5].

Французская грамматическая традиция различает «внешнее» и «внутреннее» время: вся ситуация в целом помещается во внешнем времени, т. е. располагается относительно момента речи: до, после него или одновременно с ним, но внутри самой ситуации могут быть свои соотношения во времени, и это последнее — внутреннее время. Если категория времени отражает время внешнее, то категория вида — внутреннее [Реферовская 1984: 91].

Как можно видеть, в имеющихся описаниях скорее подчеркивается, что «время» применительно к категории вида — «не то» время. Действительно, если в языке представлен, например, /197//198/ итеративный вид, то о каком изменении ситуации в ее «внутреннем» времени может идти речь? Такая видовая форма показывает лишь, что воспроизводится целостная ситуация — кстати, во «внешнем» времени, если уж вообще

привлекать временные соображения. Точно так же: если имеется «точечный» вид, то отражает ли он какие-то изменения по «внутренним часам» ситуации? Конечно, можно сказать, что отношение к внутреннему времени здесь отрицательное: форма указывает на своего рода нулевой временной интервал ситуации, но такое объяснение представляется не самым адекватным (ср. ниже). Наконец, категория времени — это всегда значение «до», «одновременно» или «после»; вид же явно не связан с такого рода семантикой (на это, собственно, и указывает Ю. С. Маслов, говоря об отсутствии в семантике вида дейктической локализации действия).

Относительную независимость вида от времени можно видеть и на материале диахронии, закономерностей развития языков. Категория времени часто выступает как сравнительно поздняя, ее истоки связаны, с одной стороны, именно с видовыми значениями, с другой — с пространственными (см., например, [Перельмутер 1977]). И это понятно: «идея времени» требует очень высокой степени абстрактности, поскольку она очень далека от фактов опыта. Гораздо более наглядными предстают легче наблюдаемые закономерные связи ситуаций по типу «действие → результат», воспроизводимость ситуаций, не говоря уже о пространственных представлениях наподобие «верх/низ», «впереди/сзади», которые вообще принадлежат к древнейшим оппозициям человеческой психики [Леви-Стросс 1985].

Можно упомянуть также, что как будто бы существуют языки, в которых представлена категория вида при отсутствии категории времени [Морев и др. 1972].

20.1. В чем же заключается специфика семантики вида? С нашей точки зрения, вид принадлежит к числу тех категорий, которые указывают на связь двух или более ситуаций: либо одна из ситуаций является отрицанием другой, и видовая форма выражает становление или устранение ситуации, либо одна ситуация соотносится с другой как абстрактная с конкретной, либо одна является следствием (результатом) другой, либо, наконец, налицо ряд однотипных ситуаций, связанных определенным образом. Подчеркнем, что типы значений, приблизительно и, вероятно, неполно описанные выше, относятся к частновидовым категориям, т. е. отражают не видовые оппозиции, а семантику отдельных видовых форм. Семантика категории вида данного языка в целом — это или общая часть (пересечение) значений отдельных видов, или объединение таких значений.

Так, семантика совершенного вида русского языка в его главном, точечном значении всегда включает значение ‘начать’, где последнее понимается как ‘в какой-то момент време-^{/198//199/}ни не существовать, в один из последующих моментов существовать’. Это и есть семантический инвариант совершенного вида для его главного значения (вернее, для его

главных значений) [Гловинская 1982: 107]. Здесь, как можно видеть, представлено именно противопоставление некоторой ситуации Р и другой, предшествующей ей, применительно к которой существенно лишь то, что она — не-Р. План содержания несовершенного вида русского глагола в его основных значениях, связанных с выражением актуально-длительной семантики, всегда включает смысл ‘существовать в каждый из ряда последовательных моментов’, что и является семантическим инвариантом для соответствующих словоформ [Гловинская 1982]. В данном случае можно говорить о своего рода цепочке однотипных микроситуаций в рамках макроситуации, называемой глаголом несовершенного вида. В целом же оказывается, что ‘начать’ ~ ‘существовать в каждый из последовательных моментов’ — это семантический инвариант, лежащий в основе видовой оппозиции русского глагола.

Противопоставление претерита и имперфекта во французском языке описывают, вслед за Г. Гийомом, так: «Претерит представляет действие как глобальное, целостное, а имперфект обозначает расчлененное действие в прошлом, действие, одна часть которого уже совершилась, а другая еще совершалась» [Реферовская 1984: 97]. При этом, впрочем, оговаривают, что и для претерита предполагается «членение на две части», только та часть, которая уже совершилась, как бы «не учитывается» [Реферовская 1984: 97]. И здесь мы видим, таким образом, соотношение двух ситуаций. В одном случае (претерит) ситуация противопоставляется предшествовавшим, и при этом тождественность/нетождественность ситуаций не существенны, в другом (имперфект) — предшествовавшая ситуация тождественна данной, совершавшейся.

Очевидный случай соотношения ситуаций, выражаемого видовыми формами, — итеративность, фреквентативность, узуальность. Семантика итеративности — ‘непервая ситуация данного типа’, фреквентативности — ‘ситуация данного типа повторяется через более или менее равные промежутки времени, и принимается, что эти промежутки — небольшие’, узуальности — ‘ситуация данного типа имеет место всякий раз, когда налицо некоторое условие’ (см. также гл. I, п. 13 и сл.).

В качестве иллюстрации соотношения конкретной и абстрактной ситуации, выражаемого видом, можно использовать вероятно, формы прогрессива в английском языке в их противопоставлении непрогрессиву: формы типа *to be going*, *to be walking* называют ситуации, которые можно считать конкретными экземплярами ситуаций *to go*, *to walk*⁴³.

20.2. Выше говорилось о принципах подхода к семантике вида. Что же касается описания конкретно-видовых значений, то мы примыкаем к

⁴³ В известном смысле оппозиция прогрессив/непрогрессив в английском /285//286/ языке семантически параллельна оппозиции определенности/неопределенности в сфере именных категорий.

точке зрения, согласно которой описание должно принимать форму развернутого толкования. Действительно, перечисление абстрактных признаков тех или иных /199//200/ видовых форм вроде традиционной 'целостности' применительно к совершенному виду довольно мало информативно. Очевидно, это неизбежное следствие максимального объема понятия: признаки такого рода появляются в результате попыток охватить инвариантным, общим значением весь круг конкретных форм во всех их употреблениях, а чем шире объем понятия, тем беднее его содержание. Трудно также судить, могут ли претендовать подобные «суперпризнаки» на психологическую реальность, т. е. действительно ли мы адекватно «переводим» на эксплицитный язык теории то, что имплицитно подразумевает говорящий употреблением формы типа *сделать*, когда характеризуем содержание этой формы через понятие целостности⁴⁴.

Толкование представляется гораздо более продуктивным приемом. Не занимаясь специально этим вопросом, приведем лишь некоторые конкретные толкования, заимствованные из соответствующих аспектологических работ. Для глаголов изменения состояния в русском языке предлагается следующее толкование семантики видовых пар: '*X начал быть P*' = 'В какой-то момент времени X не имеет свойств P, в один из последующих моментов X имеет свойство P'; '*X начинает быть P*' = '(1) В какой-то момент времени X не имеет свойства P, (2) в один из последующих моментов X имеет свойство P в каком-то количестве, (3) в каждый из последующих моментов X имеет свойство P в большем количестве, чем в каждый из предыдущих, (4) если процесс (3) не прекратится до некоторого момента, в этот момент X начнет иметь

⁴⁴ Нет необходимости объяснять, что традиционные семантические признаки грамматических категорий, фигурирующие в лингвистических трудах, имеют мало шансов на выход в практику, в частности, преподавательскую. Учащийся, как правило, просто «не знает, что делать» с семантическими признаками наподобие той же целостности, и не случайно теоретические объяснения преподавателя не ведут к адекватному употреблению соответствующих форм в речи учащихся. Последнее достигается (если достигается вообще) лишь практикой, ведущей к интуитивному, внесознательному формированию навыка правильного употребления видов. Конечно, сам по себе навык, когда языком владеют как родным или достаточно близко к этому, и должен быть внесознательным. Речь идет о том, как он формируется. Например, если преподаватель хорошо объяснил, что, скажем, увулярные согласные произносятся с помощью таких-то движений артикуляторов, учащийся правильно воспроизвел их сознательно, а потом практикой довел до автоматизма, то такой путь адекватен и естествен. Дело в том, что традиционное объяснение значения видов (и иных значений) с использованием семантических признаков типа «целостность» вряд ли может служить начальной точкой пути, в конце которого — правильное автоматическое употребление видовых форм. Реально практика не закрепляет сознательное освоение материала, а заменяет его.

свойство Р' [Гловинская 1982: 78]. Применительно к конкретным глаголам, например, *высыхать* и *высохнуть*, толкование приобретает следующий вид: *Белье высохло* = 'В какой-то момент времени белье не сухое (влажное), в один из последующих моментов белье сухое'; *Белье высыхает* = '(1) В какой-то момент времени белье было не сухое (влажное), (2) в один из последующих моментов белье суше (менее влажное), (3) в каждый из последующих моментов белье суше, чем в каждый предшествующий момент, (4) если процесс (3) не прекратится до некоторого момента, то в этот момент белье начнет быть сухим (= высохнет)' [Гловинская 1982].

21. В русском языке каждая глагольная словоформа характеризуется с точки зрения категории вида. Однако, как известно, это не значит, что у любой глагольной словоформы несовершенного вида есть коррелят, противопоставленный ей только как словоформа совершенного вида и наоборот. Достаточно обычна ситуация, когда данный глагол имеет формы только совершенного или только несовершенного вида, т. е. принадлежит к *perfectiva tantum* или к *imperfectiva tantum*. Например, *кричать* — глагол несовершенного вида, а *закричать* и *крикнуть* — совершенного. В то же время каждый из этих глаголов составляет особую лексему, они не противопоставлены как формы одного и того же слова. Разница между ними не сводится /200//201/ к видовой, а включает и различия в способах действия — начинательном для *закричать* и точечном (единичном) — для *крикнуть*. В отличие от этого, скажем, *делать* — *сделать*, *решать* — *решить* могут служить примерами видовых пар, составленных словоформами одной и той же лексемы каждая.

22. Другая важнейшая глагольная категория — категория времени. Как уже упоминалось выше, семантика времени связана с отнесенностью времени описываемой высказыванием ситуации к времени речевого акта (моменту речи) или к какому-либо иному моменту, служащему точкой отсчета. Принято различать абсолютные и относительные времена. Абсолютное время выражает отношение действия (ситуации) к моменту речи с точки зрения предшествования, совпадения или следования. Точкой отсчета здесь служит время коммуникативного акта. Если контекст не указывает на существование какой-либо иной точки отсчета, то употребление формы настоящего, например, времени, как в *Иван пишет письмо*, означает, что описываемая высказыванием ситуация происходит именно тогда, когда произносится это высказывание⁴⁵.

⁴⁵ Многообразие значений, в которых формы настоящего времени употребляются в разных контекстах, вызывает к жизни особую проблему семантики презенса: «Если одна и та же форма может выражать и „будущее“, и „настоящее“, и „прошедшее“, то спрашивается: имеет ли данная форма вообще какое-бы то ни было положительное „временное“ значение и не является ли она своеобразной „атемпоральной“ формой?» [Исаченко 1965, II: 446]. Б. Комри [Comrie 1981], впрочем, считает, что сохраняет

22.1. Относительное время выражает отношение действия к некоторому другому моменту, нежели момент речи, здесь точка отсчета перемещается в какое-то другое, по сравнению с коммуникативным актом, время. Таково так называемое настоящее историческое, например, *В 1933 г. к власти в Германии приходят нацисты, и начинается черная полоса в истории этой страны.* Здесь ситуация ‘приход к власти нацистов’ (равно как и ситуация ‘начало черной полосы в истории этой страны’) не одновременны коммуникативному акту, который может иметь место, например, в 1987 г., время их реализации оговорено особо. Нужно заметить, что «историчность» такого употребления временных форм не следует понимать слишком буквально. Они могут употребляться не только применительно к реальному прошедшему, т. е. истории как таковой, но и к реальному будущему, например, *Представь себе: через 20 лет ты покупаешь билет для полета по маршруту Земля — Марс.* Точка отсчета в данном случае перенесена в будущее, причем функции такого переноса те же, что и при обратном по направлению переносе — употреблением формы настоящего времени сделать слушающего (читающего) как бы современником-очевидцем сообщаемого⁴⁶.

Об относительных временах как таковых следует говорить тогда, когда в языке существуют специальные формы для выражения временного соотношения описываемой ситуации с моментом, не совпадающим с моментом речи. Если таких специальных форм нет, то мы имеем дело с относительным употреблением абсолютных времен. Например, именно такой характер носит «настоящее историческое» русского языка, о котором уже упоминалось выше. Относительное употребление абсолютных времен в русском языке представлено и в случаях наподобие *Еще вчера Иван понял, что Маша не придет*: ситуация прихода (в данном случае неприхода) Маши следует не за моментом речи, а за

силу положение, согласно которому «буквальное» значение презенса — совпадение с моментом речи — всегда действительно, а все прочие выводимы из него с поправкой на контекст (ср. также [Пешковский 1936: 208–209; Потеня 1958: 271–273; Бондарко А. В. 1971: 130]). Любопытно в связи с этим употребление презенса для выражения так называемого абстрактного настоящего, или вневременных (всевременных) ситуаций типа *Волга впадает в Каспийское море, Лошади едят овес.* В действительности здесь скорее значение настояще-прошедшего, т. е. семантика ‘было и есть верно, что...’: вряд ли естественно высказывание наподобие *Мамонты едят растительную пищу.* Для некоторых контекстов нужно, вероятно, учитывать семантику лексического окружения. Так, в высказываниях вроде *Попов — изобретатель радио* важно толкование имени *изобретатель*: *изобретатель X* = ‘Y, который изобрел X’, т. е. значение прошедшего времени «встроено» в семантику именно лексемы, поэтому и возможно употребление настоящего времени связки.

⁴⁶ Характерно, что во французской грамматической традиции для описания такого употребления презенса используется термин «живописное (живописующее) настоящее» (*présent pittoresque*).

моментом ‘вчера’, когда реализовалась некоторая другая ситуация (‘Иван понял’); тем не менее, употреблена форма будущего времени.

Формы относительных времен могут быть производными от форм абсолютных, например, Future in the Past в английском языке и futur dans la passé во французском, ср. в английском *He will come* ‘Он придет’, но *I thought he would come* ‘Я думал, что он придет’, где форма «будущего в прошедшем» *would come* образуется от абсолютного будущего *will come*.

Семантическую специфику обнаруживают такие частные глагольные категории, как Plusquamperfect в немецком языке, plus-que-parfait, passé antérieur во французском, Futurum II в немецком и futur antérieur во французском. По существу, правильнее было бы говорить, что эти времена носят абсолютно-относительный характер: они специально указывают на отношение одной ситуации к другой, как правило, предшествование; в этом проявляется их относительный характер; в то же время предшествование обязательно «привязано» к соответствующему времени по отношению к моменту речи, т. е. это всегда предшествование в пределах либо абсолютного прошедшего, либо абсолютного будущего; в этом проявляется абсолютный характер времен указанного типа. Можно сказать, что абсолютно-относительные времена служат для того, чтобы обеспечить более дробное членение временного континуума до или после момента речи, когда необходимо указать на временную последовательность разных ситуаций. В качестве примера можно привести функционирование некоторых абсолютно-относительных временных форм в немецком языке. Ср. например: *Nachdem die Oktoberrevolution gesiegt hatte, ging unser Volk zum Aufbau einer neuen Gesellschaft über* ‘После того как победила Октябрьская революция, наш народ приступил к строительству нового общества’. Здесь форма плюсквамперфекта от глагола *siegen* ‘побеждать’ обозначает действие, предшествующее действию, выраженному претеритом от глагола *übergehen* ‘приступать’. Но применительно к будущему времени предшествование не может быть выражено тем же способом, в этом случае употребляется Futurum II (или перфект), например, *Viel brennender wird das Problem werden, wie Menschheit sich selbst und ihre Errungenschaften rettet, wenn die drohenden Gefahren eingetreten sein werden, von denen ich in meinen Buche gesprochen habe* ‘Гораздо актуальнее станет проблема, каким образом человечество спасет себя и свои достижения, когда осуществляются те угрозы, о которых я говорил в моей книге’.

22.2. Возникает вопрос: реальны ли чисто-относительные времена, т. е. не абсолютно-относительные? По-видимому, допустимы два ответа. Первый будет заключаться в том, что если временные формы употребляются для указания на предшество-^{/202//203/}вание, совпадение во времени или следование, причем безразлично, что выбирается точкой отсчета — момент речи или какой-то другой момент, то в плане

содержания эти формы должны быть признаны относительно-временными. В этом случае окажется, что категория времени русского глагола — относительная, а не абсолютная. Второй ответ может основываться на связи категорий времени и таксиса. Можно утверждать, вероятно, что если семантика некоторых глагольных форм сводится к выражению предшествования/следования вне зависимости от времени, то такие формы вообще не принадлежат категории времени, они должны считаться таксисными (см. раздел «Таксис», п. 25 и сл.). Так, по мнению некоторых исследователей, времена японского языка, которые квалифицируются ими как «предшествующее» и «непредшествующее», отражают предшествование или непредшествование как таковое, по отношению к любому данному моменту. Например, форма предшествующего времени от глагола *сину* ‘умирать’ (*синда*) в разных контекстах может означать и ‘умер’, и ‘(когда) умрет...’, ‘умирает (но еще не умер)’ — во всех случаях обозначается предшествование некоторому моменту, хотя отношение к моменту речи, да и, собственно, ко времени вообще, везде разное. В отличие от формы на *-та/-да*, форма на *-у* всегда передает непредшествование некоторому моменту, т. е. одновременность или следование (опять-таки не обязательно по отношению к моменту речи) [Сыромятников 1971]. Если это так, то, вероятно, оппозицию форм на *-та/-да* формам на *-у* следует трактовать содержательно как таксисную, а не временную.

Два ответа, кратко обрисованные выше, не противопоставлены друг другу. Проблема эта нуждается в дальнейшем изучении.

23. Категории времени и вида часто оказываются взаимосвязанными. Такая связь может быть двоякого рода.

Первый случай представляет собой, по существу, своего рода синкретическое, или кумулятивное, выражение в пределах одной временной формы частных категорий времени и вида⁴⁷. Такой тип взаимодействия времени и вида представлен, например, в английском языке. Здесь каждая глагольная форма характеризуется в терминах трех оппозиций (помимо лица в числе): троичной временной (настоящее/прошедшее/будущее время) и двух видовых — перфект/неперфект и прогрессив/непрогрессив. Ср. *have been writing* — настоящее время, перфект, прогрессив.

Другой тип взаимодействия категорий вида и времени заключается в том, что в данном языке определенные глагольные формы по своей семантике не являются чисто-временными — семантика времени в них «осложнена», как принято говорить, семантикой вида. Такого рода формы и соответствующие категории называют видо-временными.

⁴⁷ Положение примерно такое же, как в случае выражения разных категорий — падежа, числа — одной именной флексией.

Видо-временные категории свойственны, вероятно, китайско-^{/203//204/}языку. В китайском языке выделяются две формы прошедшего времени, которые отличаются друг от друга именно значениями типа видовых: одна из этих форм (образующаяся при помощи суффикса *-ла*) имеет дополнительное значение завершенности действия, другая же (с показателем *-го*) лишена этого семантического оттенка, она не связывает действие в прошлом с настоящим, нередко обозначая повторявшиеся в прошлом ситуации, ср. *кэжэнь лайла* 'Гости пришли' и *кэжэнь лайго* 'Гости приходили'.

Наклонение

24. Наклонение считают обычно частным — но в то же время основным — грамматическим способом передачи модальности. В главе I («Семантический компонент языка») говорилось, что традиционную модальность — категорию очень широкую, неопределенную — целесообразно эксплицировать через понятие модальной рамки, прежде всего внутренней, которую образуют два функтора — реальности и ирреальности (см. I, п. 9 и сл.). Соотносятся ли с ними и, если да, то каким образом, семантика наклонений?

Сразу же можно заметить, что одно из традиционных наклонений — императив — соотносится не с модальной, а с коммуникативной рамкой, обеспечивая выражение побудительности как прямого волеизъявления, в противопоставлении сообщению и вопросу (см. об этом также ниже, п. 24.2).

Что же касается остальных наклонений, то о семантике «третьего» из них по значимости и распространенности (после индикатива и императива) — сослагательного наклонения отчасти уже говорилось в главе I (п. 8.2, 11): изъявительное наклонение относит пропозицию, вместе с модальной рамкой, к действительному миру, в то время как сослагательное — к одному из возможных миров, отличных от действительного, причем обычно одновременно указывается условие, при котором ситуация реализуется в соответствующем мире. Так, *Если бы он пришел, мы бы ему все показали* означает '(1) он не пришел и мы ему ничего не показали, но такая ситуация могла реализоваться, и при выполнении этого условия реальной становилась и вторая ситуация (мы бы ему все показали)' или же '(2) обе ситуации, тоже связанные условием выполнения первой из них, возможны в будущем' (*если бы он завтра пришел, мы бы ему все показали*).

Самостоятельность наклонения по отношению к модальной рамке и его «надстроечный» характер (как сказано, семантика наклонения наслаивается на семантику пропозиции вместе с ее модальной рамкой) видны также из того, что формы наклонений наблюдаются и у модальных

глаголов, которые служат экспонентами модального фактора ирреальности, ср. *Если бы он смог прийти, мы бы ему все показали.* /204/205/

24.1. Наклонение не принадлежит к числу универсальных глагольных категорий. Универсально разграничение изъявительных и императивных конструкций, но их противопоставление может обеспечиваться не специальными формами глагола, а некоторыми синтаксическими и интонационными средствами. Например, в английском языке индикативные и императивные конструкции содержат одну и ту же форму глагола (см. об этом также ниже). Если в языке повествовательные и побудительные (императивные) конструкции различаются не за счет глагольных форм, то в таком языке наклонение как категория отсутствует. Такой была бы ситуация в каренских языках, если бы в запретительных конструкциях не использовалась глагольная форма, отличающаяся от отрицательных индикативных.

24.2. Императив иногда вообще выводят за рамки категории наклонения [Храковский, Володин 1986]. Основания для этого есть. Мы уже видели, что если прочие наклонения не связаны с коммуникативной рамкой, то императив существует специально для отражения одного из коммуникативных факторов. Есть и морфологические причины не считать императив членом той же парадигмы, что индикатив и другие наклонения: в некоторых языках формы императива могут различаться по лицу, числу, инклюзивности/эксклюзивности и некоторым другим признакам, иррелевантным для индикатива.

Вместе с тем нельзя отрицать, что показатели императива и других наклонений исключают друг друга, а это свидетельство принадлежности соответствующих форм к одной и той же парадигме. Форма и содержание в языке, как правило, асимметричны, и это не сводится к существованию синонимов и омонимов. Формальная принадлежность императива к той же парадигме, что индикатив, скорее всего соответствует ее прагматической важности, прагматическому рангу. Поскольку главные режимы речевой деятельности — это передача информации и использование информации в целях управления, то формально однопорядковыми выступают словоформы, которые предназначены именно для этих целей — индикатив и императив соответственно. Все остальные аспекты сложной семантики высказывания, относящиеся к коммуникативной и модальной рамкам и связанным с ними семантическим «надстройкам», распределяются таким образом, что либо попадают в ту же парадигму, либо образуют собственные.

Семантика императива — это прямое волеизъявление говорящего, результатом которого, с точки зрения говорящего, должно стать совпадение пропозиционального содержания его высказывания с действительностью. Иначе можно сказать, что, с семантической точки зрения, использованием императивного высказывания говорящий

выражает свою волю придать функтор реальности пропозиции, лежащей в основе этого высказывания.

Императивность — это побуждение, но оно отличается от побуждения, передаваемого каузативностью (см. п. 27 и сл.): при /205//206/ использовании повелительного наклонения говорящий непосредственно осуществляет собственное побуждение по отношению к слушающему или другому лицу, это и имеется в виду под «прямым волеизъявлением»; при употреблении же каузативных конструкций говорящий сообщает о побуждении (причем не обязательно именно побуждении как таковом, см. п. 27), которое осуществляется любым каузатором, по отношению к любому (каузируемому) субъекту.

Императивы сходны с перформативами (и интеррогативами) в том, что они находятся в особых отношениях с категорией отрицания. Если в ответ на перформативное высказывание типа *Обещаю вам, что...* невозможно ответить *Нет, вы не обещаете* (см. гл. I, п. 7.3), то применение отрицания ‘неверно, что’ к императиву вообще лишено смысла. В семантике императивных конструкций оператор отрицания указывает на прохибитивность (запрещение), т. е. волеизъявление говорящего, согласно которому пропозициональное содержание его высказывания не должно реализоваться.

24.3. В «императивной ситуации», т. е. в ситуации использования императивного высказывания, нормально фигурируют три участника: говорящий, слушающий и исполнитель. Совпадение говорящего и исполнителя дает императив 1-го л. (самопобуждение, ср. *пойду-ка я*). Совпадение слушающего и исполнителя имеет результатом императив 2-го л., наиболее распространенный вариант, а несовпадение исполнителя ни с говорящим, ни со слушающим — это семантика императива 3-го л., ср. *пусть он пойдет* [Храковский, Володин 1986].

Трактовка форм, которые могут квалифицироваться как императив не-вторых лиц, т. е. 1-го л., 3-го л., нередко вызывает затруднения. Одна из них — разграничение таких форм и каузативных форм 2-го л. императива. Например, как следует трактовать *let me go* или *let him go* — как 1-е и 3-е л. императива соответственно или же как 2-е л. каузатива в повелительном наклонении? Ср. *you let me go ~ let me go* и *you let him go ~ let him go* (отвлекаемся от вопроса о том, является ли вообще английский императив глагольной формой). Для сравнения можно обратиться к русскому материалу. *Пусть он пойдет* следует считать именно аналитической формой императива 3-го л. ед. ч., потому что, даже если заподозрить *пусть* в принадлежности к показателям каузатива, от этого варианта придется отказаться, поскольку при каузативе следовало бы ожидать *пусть его*, а не *пусть он*; к тому же, конечно, нужно учитывать, что *пусть* трудно возвести к индикативной форме того же глагола.

Другая трудность заключается в том, что семантика императива 1-го и 3-го л. может соответствовать особому наклонению — оптативу и возникает вопрос: как различить императив и оптатив (или, скажем, юссив)? Решение вопроса должно опираться на формальные критерии. Если в языке противопоставлены формы оптатива и императива хотя бы для одного лица, можно говорить о существовании двух парадигм — императива и оптатива, а не одной — императива. Например, в санскрите *vadatu* ‘пусть он скажет’ — императив 3-го л. ед. ч., а *vadet* ‘да скажет он’, ‘пусть он скажет’ — оптатив 3-го л. ед. ч. (в санскрите это противопоставление распространяется на всю парадигму). Как и в других случаях, семантическое различие, противопоставление — оборотная сторона формального, без последнего о нем говорить трудно.

24.4. Средством выражения императива нередко выступает нулевой показатель, как в рус. *стой*, монг. *яв* ‘иди’. Это объясняется, вероятно, прагматической важностью императива, для выражения которого язык часто (хотя, конечно, не всегда) резервирует наиболее экономные средства.

Выше уже говорилось, что императив может выражаться и синтаксически, в связи с чем упоминался английский язык. Чаще всего считают, что средством различения индикатива/императива выступает двусоставность/односоставность предложения соответственно, ср. *You go* — *Go*. Однако односоставность побудительных конструкций типична, но не обязательна, ср. *You better go, will you?* (Подробное обсуждение этой проблемы см. в [Ермолаева 1987: 100 и сл.]). Вероятно, надо допустить, что императивность в английском языке выражается не просто односоставностью, а односоставностью и/или соответствующей интонацией; когда не реализуется односоставность, использование данного интонационного типа становится обязательным.

Таксис

25. Понятие таксиса, предложенное Л. Блумфилдом [Блумфилд 1968] и поддержанное Р. Якобсоном [Якобсон 1972], лишь недавно стало объектом пристального исследования. Р. Якобсон считал, что одной из разновидностей таксиса является категория относительного времени [Якобсон 1972: 101], т. е. понятие относительного времени входит в понятие таксиса. Однако, с нашей точки зрения, прав А. В. Бондарко: категории относительного времени и таксиса пересекаются, а не вкладываются одна в другую [Бондарко А. В. 1984: 75–77]⁴⁸. По мнению А. В. Бондарко, которое автор обосновывает примерами из русского языка, «можно выделить три типа отношений между понятиями относительного

⁴⁸ Правда, Бондарко тоже пишет, что «в целом таксис — более широкое понятие, чем относительное время» [Бондарко А. В. 1984: 76].

времени и таксиса: данный языковой факт представляет собой а) относительное время, но не таксис; б) таксис, но не относительное время; в) таксис и вместе с тем относительное время» [Бондарко А. В. 1984: 76].

Действительно, категория таксиса указывает на связь двух (или более) ситуаций с точки зрения их одновременности/неодновременности, а для последнего варианта, неодновременности, — также предшествования/следования.

25.1. Принято различать зависимый и независимый таксис. Считается, что при зависимом таксисе имеет место «яв-^{/207/208/}но выраженная асимметрия основной (первичной) и вторичной предикации, распределение рангов главного и сопутствующего (побочного, зависимого) действия», в то время как при независимом таксисе «каждый из компонентов сложной предикации характеризуется относительной самостоятельностью» [Бондарко А. В. 1984: 80]⁴⁹.

Представляется, однако, что различие зависимого и независимого таксиса носит формально-грамматический, а не семантический характер. А. В. Бондарко приводит целый ряд примеров, показывающих возможности взаимозамены деепричастных оборотов и придаточных предложений, сочетаний финитных форм без каких бы то ни было последствий для семантики, наподобие *Михаил не утерпел и подергал мать за плечо...* (В. Распутин) → *Не утерпев, Михаил подергал мать за плечо* [Бондарко А. В. 1984: 81]. Стоит добавить, что в разговорном русском языке деепричастия практически неупотребимы, но вряд ли из этого следует, что разговорный язык семантически обеднен по сравнению с кодифицированным литературным. В отличие от этого, во многих языках, преимущественно агглютинативных, наоборот, практически неупотребимы придаточные предложения, и единственное средство выражения «полипредикативности» в рамках одного высказывания — разнообразные формы типа деепричастных и причастных. Опять-таки, вряд ли здесь можно усмотреть некий семантический дефицит, в данном случае невозможность представления действий, состояний как относительно равноправных.

Если говорить о таксисе как морфологической категории, то она налицо только там, где существуют специальные формы глагола — безразлично финитные или нефинитные, — которые специализируются на выражении значения, описанного выше. Придаточные предложения времени, именные обороты с участием слов вроде *сразу же, после* не имеют отношения к категории таксиса. Частичная синонимия структурно и

⁴⁹ Описание в приведенной цитате ориентировано на русский материал — деепричастные формы, с одной стороны, и однородные сказуемые, сложноподчиненные предложения с придаточным времени — с другой.

функционально разнородных грамматических и лексических средств, которая объясняет возможность взаимозамен, еще не свидетельствует о принадлежности к одной категории. Приведем аналогию: возможность взаимозамен типа *ленинградец* ⇔ *житель Ленинграда* вовсе не говорит о том, что лексема *житель* функционально эквивалентна словообразовательному суффиксу *-ец* и наоборот, что они входят в некое общее для них функционально-семантическое поле. Это всего лишь синонимия, которая может иметь место между самыми разными языковыми образованиями⁵⁰. Придаточные предложения входят в принципиально иную систему, члены которой по своей семантике — но не по структурно-функциональным свойствам — могут коррелировать с членами морфологических парадигм.

Итак, о зависимом и независимом таксисе можно говорить лишь применительно к противопоставлению нефинитных и финитных форм соответственно: если в языке есть финитная /208//209/ форма, специально предназначенная для выражения значения одновременности/неодновременности (предшествования/следования) по отношению к некоторой ситуации, необязательно ситуации общения (коммуникативного акта), то такая форма есть форма независимого таксиса.

По-видимому, независимый таксис обычно выражается вторичными показателями, наслаивающимися на первичные (см. об этом выше, п. 17.1.2). Например, в бирманском языке существует вторичный показатель *-хнин¹*, который передает значение предшествования по отношению к некоторой другой ситуации. Последняя может быть как ситуацией общения, так и какой-либо иной ситуацией, выраженной в том же высказывании, например: *ту² майау⁴ кхин² чано² йау⁴ хнин¹ тэ²* ‘Я пришел до того, как пришел он’.

Более распространен зависимый таксис. Нефинитные глагольные формы, служащие средством его выражения, нередко осложнены дополнительными значениями. Вероятно, наиболее типичное — это выражение совпадения/несовпадения субъектов двух ситуаций. В современном русском языке, как известно, для деепричастных оборотов — а русское деепричастие и есть форма с семантикой зависимого таксиса — обязательна кореферентность субъектов ситуаций, называемых деепричастием и финитной формой глагола (точнее, кореферентность участников ситуаций, которые — участники — выражены первыми актантами). Еще в XVIII в. этого правила в русском языке не было, ср. *Я ища необыкновенен, того ради ты от меня теперь, кроме сердечного в Новый год тебе поздравления и всегдашнего по должности моей почтения, пожалуй не требуй* (Ф. Коржавин).

⁵⁰ Заметим, что словообразование ближе лексике, нежели морфология, но, тем не менее, и здесь нельзя приравнять выражение близкого значения словообразовательным и лексическим средствами.

25.2. Иногда возникает вопрос, является ли таксис грамматической категорией (ср. [Бондарко А. В. 1984: 85–87]). Разумеется, вопрос законен лишь в форме «является ли таксис грамматической категорией в языке X?» Коль скоро речь идет о морфологической категории, исследователи, в согласии с установившейся традицией, пытаются обнаружить оппозицию по крайней мере двух форм, противопоставляющихся по некоторому семантическому признаку, связанному со значениями одновременности/неодновременности. Если, допустим, в языке имеется одна-единственная деепричастная форма, т. е. в сфере нефинитных форм она ничему не противопоставлена, то это, вероятно, и есть источник сомнений в категориальном статусе соответствующей формы. Однако мы видели на материале агглютинативных языков, что форма может противопоставляться и отсутствию формы данного типа, а не однопорядковой с ней другой форме, наличие некоторого формального показателя — его отсутствию, а не присутствию другого показателя. Повидимому, именно такое положение достаточно типично для таксиса. Все формы типа деепричастия если их несколько, противопоставлены финитным (если других нефинитных, кроме деепричастных, нет), а уже друг другу они /209//210/ противопоставляются по некоторым другим, формальным и содержательным, признакам.

Есть и еще один вопрос. Достаточно часто формы типа деепричастных, причастных передают таксисные значения скорее как частный, пусть даже и типичный случай. Основное их назначение — служить средством введения зависимого глагольного ядра, так называемого второстепенного сказуемого в традиции изучения целого ряда языков, которое вовсе не обязательно связано со значением порядка ситуаций. Это относится и к русскому языку: хорошо известно, что деепричастие нередко передает и «характеризующие» и т. п. ситуации — вернее даже, признаки ситуаций, ср. хрестоматийный пример *Пятак покатился звеня и подпрыгивая*. Если положение таково, что основная функция формы — именно подчинение одной глагольной конструкции другой, а отношение порядка на множестве ситуаций — лишь одно из возможных значений, скорее «выводных», а не ингерентных, то вряд ли мы имеем дело с категорией таксиса. Это — некоторая морфологическая категория, полностью ориентированная на обслуживание синтаксиса.

Залог

26. Наиболее известны, вероятно, два определения залога. Согласно одному, более традиционному, «залог характеризует отношение между сообщаемым фактом и его участниками» [Якобсон 1972: 101] (см. также [Буланин 1983]). Согласно другому, залог есть маркированная в глаголе диатеза [Холодович 1979].

При первом взгляде на оба определения возникает впечатление, что более традиционное из них не выходит за рамки семантики, другое же, данное А. А. Холодовичем, квалифицирует залог как средство установления связи между семантикой и синтаксисом посредством морфологии. В действительности, конечно, это не совсем так: любая категория обращена и к форме, и к содержанию. Только в теории Холодовича содержание (семантика) и форма (синтаксис плюс морфология) соотнесены эксплицитно, другое же определение исходит из формы — формы глагола — как данного и делает акцент на ее семантической интерпретации. Но природа интерпретации остается не вполне ясной, поэтому обсуждать эту точку зрения затруднительно⁵¹.

В теории Холодовича принимается, как сказано, что залоговая форма есть средство указания на то, какова схема соответствия синтаксических и семантических единиц для данной глагольной лексемы в данной конструкции. Иначе говоря, если глагольная лексема допускает разные семантические интерпретации своих синтаксических актантов, то в залоговых языках форма глагола указывает, какой именно должна быть семантическая интерпретация в данном случае.

В перифразировании, к которому мы прибегли, намеренно несколько смещены акценты. Дело в том, что носителя языка, /210//211/ в частности, слушающего, разумеется, интересует не «схема соответствия», а семантическая интерпретация, здесь — проблема выбора: если интерпретация неединственна, то воспринимающий речь человек ищет опору для разрешения неоднозначности и, среди прочего, находит ее в залоговой форме.

26.1. Поскольку наиболее распространены и наиболее изучены из залоговых форм пассивные, то удобнее всего начать с них. Итак, какова семантика пассивных форм глагола и, шире, пассивных конструкций?

26.1.1. Если исходить из того, что пассивный залог (как и залог вообще) ограничивает возможные семантические интерпретации актантов, а нередко актант остается один — первый (традиционное подлежащее), то вопрос во многом сводится к семантической характеристике этого актанта. По-видимому, единственное, что объединяет все случаи употребления пассива, это невозможность для первого актанта получить семантическую интерпретацию субъекта (агенса). Это и приводит к закономерному выводу о том, что семантическая специфика пассива — «уход субъекта с позиции подлежащего» [Храковский 1974]. В результате правда, оказывается, что к пассиву должны быть причислены также безличные и

⁵¹ Для Р. Якобсона, в чьей редакции процитировано определение залога, более существенным было другое: то, что отношение, о котором идет речь, устанавливается залоговой формой «безотносительно к факту сообщения» [Якобсон 1985: 101], т. е. что залог является нешифтерной категорией.

неопределенно-личные формы глагола (там, естественно, где они имеются), поскольку их характеризует в точности то же семантическое свойство [Храковский 1974].

Если перейти на точку зрения говорящего, т. е. к аспекту речепорождения, то из изложенной концепции следует, вероятно, что пассив употребляется тогда, когда говорящий либо вообще опускает информацию о субъекте, агенте (не обладает ею или считает избыточной), либо передает эту информацию более низким по синтаксической иерархии актантом как менее существенную⁵².

Последнему, однако, вряд ли вполне соответствуют некоторые факты залоговых языков, в частности русского: например, в высказывании наподобие *Сразу видно, что эта вещь сделана настоящим мастером* именно информация об агенте выступает как наиболее существенная, несмотря на пассив.

26.1.2. Из других трактовок пассива с функционально-семантической точки зрения известны «тематическая» и «интенциональная». Правда, это трактовки не столько пассива, сколько подлежащего, но выше уже говорилось, что фактически именно в интерпретацию подлежащего (первого актанта) упирается вопрос о сущности пассива. «Тематическая» концепция предполагает, что пассив, в отличие от актива, избирается тогда, когда не-агент выступает темой сообщения, потому что тематичность — конститутивное свойство подлежащего. Однако в литературе обращалось внимание на два возможных обстоятельства, противоречащих данной точке зрения [Лейкина 1978]. Во-первых, тема, актуальное членение — категории текста, в то время как залог — морфологическая категория, функционирующая в рамках предложения, иногда даже словосочетания, для определения подлежащего тоже не нужно выходить за рамки предложения. Во-вторых, подлежащее в пассивных конструкциях (равно и в активных) вообще не всегда соответствует теме, ср. англ. *John was awarded the prize (not Peter)* [Лейкина 1978: 130].

Вообще говоря, первое возражение не абсолютно. Так, падеж — член морфологической парадигмы, как и залоговые формы глагола, однако несомненно преобладающее использование существительного в именительном падеже в качестве слова-темы. Второе возражение серьезнее. Если пассив существует именно как одно из средств тематизации неагентивного (несубъектного) компонента, то любая пассивная конструкция должна соответствовать этой функции, иначе ее употребление неоправданно. Но, как мы видели, данное условие нарушается.

⁵² Этому отвечают данные, известные еще из работы Есперсена [Есперсен 1958], согласно которым в английском языке 70–94 % пассивных предложений (в литературных текстах) не содержат информации об агенте.

Об интенциональной трактовке уже говорилось в гл. II (п. 6.2.3) в контексте проблемы семантизации актантов. Не повторяя того, что изложено в указанном разделе, ограничимся признанием: интенциональный подход также не дает окончательного решения проблемы, которая, видимо, требует дальнейшего изучения⁵³.

26.1.3. Известно, что языки различаются по способности образовывать пассивные конструкции. Опуская вариант, где есть пассивные конструкции, но нет пассивных форм глагола, отметим следующие основные типы.

1) Наличие классных и/или морфологических ограничений на образование пассива. Например, в литовском языке «если глагол является бесприставочным возвратным прямопереходным, то пассив от него возможен только в том случае, если подлежащим становятся местоимения *kas* ‘что’, *tai* ‘(э)то’, *viskas* ‘все’; причастие в этом случае имеет форму среднего рода: *Viskas skolintasi* ‘всё взято в долг’, но не *Knyga skolintasi*» [Генюшене 1978: 208]. Здесь, как видим, классные и морфолого-словообразовательные ограничения сочетаются с комбинаторно-лексическими.

2) Наличие синтаксических ограничений на образование пассива. Этот источник неуниверсальности пассива наиболее распространен. Типичнее всего ограничения, связанные с возможностью перевода на позицию первого актанта пассивной конструкции таких актантов активной, которые имеют ранг ниже второго. В русском языке, как хорошо известно, картина именно такова, что только второй актант исходной (активной) конструкции может занять позицию первого пассивной. Например, *Петя подарил Маше книгу* → *Книга подарена Маше Петей*, но не **Маша подарена книгой*⁵⁴. В отличие от этого, в английском языке таких ограничений нет, возможно *Mary was given a book by Peter* и даже *The bed has never been slept in by anybody*.

В ряде австронезийских языков, например, тагальском, маранао, пассивных форм глагола несколько, чаще всего три, и выбор между ними зависит именно от того, какой актант активной конструкции переводится в

⁵³ Нужно учитывать, что наряду с универсальной семантикой оппозиции актив/пассив возможны и конкретно-языковые особенности. Так, в индонезийских языках, в которых пассив вообще обнаруживает существенную специфичность, велика роль пассива в обеспечении связности текста: так, в индонезийском языке непервые предложения обычно строятся на базе пассива, например: *Saleh mengangkat mukanya dari koran, diambilnya sebatang sigaret dari meja...* ‘Салех поднял лицо от газеты, взял сигарету со стола... (букв. взята им сигарета...)’ [Полозова 1978: 273].

⁵⁴ Давно отмечено, что для конструкций наподобие *Рабочие наполняли бочку водой* возможно преобразование или *Бочка наполнялась водой*, или *Бочка наполнялась рабочими*, но не **Бочка наполнялась водой рабочими*. Здесь ограничение уже касается того, что может занять позицию второго актанта. Впрочем, в данном случае конструкция *Бочка наполнялась водой*, скорее, выступает трансформом актива *Вода наполняла бочку*, а не *[Некто] наполнял бочку водой*.

позицию первого пассивной. Со-^{/212/213/}ответственно различают объектный, адресатный, инструментальный и др. пассивы [Рачков 1981; Холодович 1979].

3) Наличие семантических ограничений на образование пассива. Так, в грузинском языке пассивная трансформация невозможна, если семантически первый актант исходной (активной) конструкции не соответствует активному производителю («реальному агенсу») действия. Поэтому, например, невозможен пассив от *setoecata mas is* ‘он съел невольно, не желая этого’ [Ревзина, Чанишвили 1978: 236]. В монгольском языке преобразование в пассив практически исключено, если объект ситуации характеризуется неодушевленностью, а субъект — одушевленностью [Кузьменков 1984].

26.2. Наряду с пассивом во многих языках распространен в качестве особого залога рефлексив. Известны два основных подвида рефлексива: собственно рефлексив и бенефактивный рефлексив. В обоих случаях наложен запрет на синтаксическое выражение участника ситуации, который кореферентен субъекту (в некоторых случаях, см. об этом ниже, его выражение возможно, но нетипично). При собственно рефлексиве этот участник ситуации играет роль пациенса, а при бенефактивном рефлексиве — бенефициента.

Пример собственно рефлексива дают русские высказывания типа *Иван моется*: здесь, при употреблении данной формы глагола, невозможно ввести в конструкцию актанта, который бы соответствовал пациенсу (*Ивана, себя*), причем пациент кореферентен субъекту (агенсу), выраженному первым актантом (*Иван*).

Бенефактивный рефлексив можно также проиллюстрировать русским примером, который, однако, отнюдь не отражает какую-либо продуктивную модель: *Иван строится*. В данном случае имеется в виду, что ‘Иван строит себе [дом]’⁵⁵, однако адресат ‘себе’, выполняющий семантическую роль бенефициента, кореферентного субъекту, не может получить синтаксического выражения.

Широко распространен бенефактивный рефлексив в литовском языке. Здесь отмечаются конструкции, когда вместе с рефлексивным глаголом, в целях эмфатизации, употребляется и возвратное местоимение, ср. *Petras nusipirko sau knyga* букв. ‘Петр купил-себе себе книгу’ [Генюшене 1981: 178].

26.3. Еще одна достаточно распространенная залоговая категория — реципрок. Глагол в форме реципрока (или дериват-реципрок, см. ниже) называет сложную ситуацию, которая является результатом совмещения

⁵⁵ Высказывание *Иван строится* может соответствовать и ситуации, когда Иван не сам строит дом, а каузирует строить дом (для себя) кого-либо. Но это — свойство и ряда других глаголов, ср. *Иван шьет [себе] костюм, Маша делает [себе] прическу* и т. п.

двух идентичных простых, причем субъект одной из них выступает объектом (реже — адресатом или же в качестве иной роли) другой и наоборот. Например, *Саша и Маша целуются* ← *Саша целует Машу* + *Маша целует Сашу*.

Синтаксис реципрока характеризуется тем, что либо первый актанта является сложным — выраженным двумя именами, /213//214/ обычно с союзом *и*, либо второй — предложный или послеложный со служебным словом типа *с* (или в комитативном и под. падеже), ср. *Саша и Маша целуются*, *Саша целуется с Машей*, *Маша целуется с Сашей*.

Как можно видеть из изложенного, соотношение семантики и синтаксиса, выводимое из наличия реципрокной формы глагола, заключается в том, что либо сложный первый актанта соответствует субъектам-объектам обеих простых ситуаций, либо один из субъектов получает выражение в качестве первого актанта, а другой — второго.

По-видимому, образование реципрока чаще выступает как процесс слово-, а не формообразования. Даже там, где существуют показатели, специально выражающие реципрок (например, в монгольском, японском и других языках), отнюдь не редко положение, когда просто отсутствуют непрямые аналоги этих глаголов, как это имеет место и на материале русского языка, ср.: *Саша и Маша дерутся* удовлетворяет с семантической точки зрения определению реципрока, однако невозможно, без введения фиктивных лексем, утверждать, что *Саша и Маша дерутся* ← **Саша дерет Машу* + **Маша дерет Сашу*.

Каузатив

27. К числу залогов в грамматиках разных языков нередко причисляют и каузатив (под именем понудительного залога). Употребление каузатива можно проиллюстрировать таким монгольским примером: *нохой нэг үнэг барив* ‘Собака поймала лису’ → *дорж нохой гоороо нэг үнэг бариулав* ‘Дорж с помощью собаки поймал лису’ [Кузьменков 1984: 43], т. е. ‘сделал так, что собака поймала лису’. Значение ‘сделать так, чтобы X сделал Р (сделался таким-то)’ и является типичным для каузатива. Кратко его принято передавать как ‘каузировать Р’. В приведенном примере *бариулав* ‘каузировал поймать’ — каузатив от глагола *барив* ‘поймал’. Вполне понятно, что о морфологическом каузативе можно говорить только тогда, когда в глаголе выражается формально семантика данного типа, синтетически или аналитически.

Решение вопроса о правомерности залоговой трактовки каузатива и вообще о том, какова должна быть эта трактовка, зависит от ряда факторов, формальных и содержательных. Прежде всего, приходится обратиться к тому, формообразовательным или словообразовательным процессом выступает производство каузативов: залоговость принято

связывать с формообразованием. В зависимости от избранного ответа по-разному будет пониматься не только формальная, но и содержательная сторона каузативации. Если это формообразование, то одновременно признается, что сохраняется лексема и, стало быть, называется /214//215/ та же ситуация. При выборе словообразовательной трактовки понимание каузативации, естественно, противоположное.

С формальной точки зрения каузативы в тех языках, где они имеются, по своим свойствам близки к словоформам соответствующих лексем: им присущи обычно высокая регулярность, каузативы образуются от любого или почти любого глагола. В словарь каузативы, за редкими исключениями, не включаются, не упоминаются, как правило, в словарной статье именно в силу своей формальной и семантической регулярности.

Однако если исходить из другого критерия, который применяют для разграничения формо- и словообразования, — возможности замены безаффиксальным глаголом [Гладкий 1985; Квантитативная типология... 1982], то результат может оказаться другим (хотя, вообще говоря, и неоднозначным). Поскольку каузатив, как о том еще пойдет речь ниже, всегда или почти всегда увеличивает валентность глагола на единицу, то проба на замену сводится к поиску явно производного глагола той же валентности. Например, от бирманского глагола *пйэй*³ ‘бежать’ образуется каузатив *пйэй*³ *сэй*² ‘каузировать бежать’, который нетрудно заменить почти любым двухвалентным глаголом, скажем, *са*³ ‘есть’⁵⁶. Однако существуют глаголы максимальной валентности, например, бирм. *хнга*³ ‘арендовать’, от которых также образуется каузатив, но в этом случае, по понятным причинам, уже нет производных глаголов той же валентности.

Непрост и вопрос об «односитуационности» исходного и каузативного глаголов, если мы попытаемся решить его как самостоятельный, отвлекаясь от формальных соображений. Обычно считается, что при каузативации имеем каузирующую и каузируемую ситуации, которые связаны причинно-следственными отношениями [Типология каузативных конструкций 1969]. В то же время уже на материале приведенного выше монгольского примера видно, что ситуация по отношению к той, что названа исходной конструкцией, сохраняется, в данном случае это ситуация ‘Собака поймала лису’.

Таким образом, и с формальной, и с содержательной точек зрения каузативные глаголы и образуемые ими конструкции обнаруживают известную сложность и неоднозначность. Описание каузатива и должно отражать эту реальную специфичность.

27.1. Прежде всего, каузатив, подобно многим другим глагольным категориям, действительно указывает на связь двух ситуаций, из которых одна каузирующая, а другая — каузируемая. Однако особенность первой

⁵⁶ Надо заметить, что глагол-замена сам сочетается с показателем каузатива.

состоит в том, что это абстрактная ситуация-константа: ее единственный и постоянный семантический признак сводится к факту каузации как таковому. Каузативный глагол сам по себе не называет те действия и т. п., — т. е. ту реальную ситуацию, — которые явились средством каузации (они при необходимости могут быть выражены лишь отдельно). Именно поэтому ситуация, называемая /215//216/ глаголом лексически, «внешне» сохраняется: не обозначенная «по имени» абстрактная ситуация каузации присутствует лишь в виде грамматико-семантической надбавки.

В этом, думается, и заключается семантическая специфика каузатива. Можно привести аналогию с тематизацией в синтаксисе: средства последней вводят в действие имплицитный предикат ‘является темой’, который тоже является константой при любом субъекте. Но при тематизации нет оснований говорить об особой ситуации — лишь об отдельной пропозиции в сложной семантике высказывания. В случае употребления каузатива особая самостоятельная ситуация присутствует, но все возможные типы ситуаций, с помощью которых субъект-каузатор оказывает воздействие на субъекта каузируемой ситуации, как бы совмещены в одном абстрактном действии каузации, средства ее реализации для говорящего оказываются несущественными.

Таким образом, семантика каузативности предполагает две пропозиции: одну с субъектом-каузатором и предикатом ‘каузирует’, вторую — с каузируемым субъектом и любым предикатом (плюс возможные другие аргументы).

27.2. Основная особенность синтаксиса каузатива заключается в том, что при каузативации валентность исходного глагола повышается на единицу или же второй актанта глагола-каузатива приобретает морфологическую форму более высокого ранга. Иначе говоря, с точки зрения синтаксиса каузативация — частный случай акцессивности, а глагол-каузатив — частный случай акцессива [Касевич 1981]⁵⁷. Последнюю возможность — сохранение валентности при изменении ранга первого актанта — можно проиллюстрировать примером из монгольского языка: *дайсан биднээс айна* ‘Враг нас боится’ → *бид дайсныг айлгана* ‘Мы ущемляем врага’ (т. е. ‘Мы каузируем врага бояться [нас]’) [Кузьменков 1984: 42]; здесь в исходной конструкции второй актанта *биднээс* ‘нас’ имеет аблативный падеж, а в каузативной — *дайсныг* ‘врага’ — винительный.

Соотношение семантики и синтаксиса для каузативных конструкций предполагает, прежде всего, что первый актанта каузативной конструкции семантически интерпретируется как каузатор. Субъект может быть

⁵⁷ В указанной работе [Касевич 1981] мы определили акцессивность как повышение валентности глагола или синтаксического ранга его второго актанта, имея в виду, например, замену косвенного дополнения на прямое. Определение сохраняет силу при замене понятия синтаксического ранга на понятие ранга морфологического, поскольку, скажем, традиционные прямое и косвенное дополнения имеют разные оформления.

выражен как вторым, так и третьим актантом. В случае использования третьего актанта для выражения субъекта, например, в монгольском языке он может приобретать форму орудного или адресатно-местного падежа, ср. *дорж нохой гоороо нэг үнэг бариулав* ‘Дорж с помощью своей собаки поймал лису’, букв. ‘Дорж своей собакой лису каузировал поймать’ или *би зочиндоо цай уулгав* ‘Я напоил гостя чаем’, букв. ‘Я гостю чай каузировал выпить’ [Кузьменков 1984: 43] (ср. рус. *Я напоил гостю чай*).

Каузативные глаголы могут образовываться синтетически и аналитически. Так, в английском, французском, немецком языках представлен аналитический каузатив, получаемый с по-^{/216//217/}мощью служебных глаголов *let, make* (англ.), *faire* (франц.), *lassen* (нем.).

27.3. После освещения основных свойств каузатива вернемся к вопросу о «номенклатуре» — о его статусе: залог это или нет, форма или дериват?

Если считать, что при образовании залогов сохраняется односитуационность, то каузатив не должен считаться залогом: как явствует из изложенного выше, каузативация сопряжена с добавлением ситуации, хотя и специфической абстрактной ситуации-константы. Что касается другого аспекта — вопроса о формо- или словообразовательной трактовке, — то, несмотря на его тесную связанность с первым, из незалоговости еще не следует словообразовательной природы: сохранение той же ситуации — это сохранение лексемы, т. е. отрицание деривационного процесса, но добавление ситуации не обязательно отрицает формообразование, так как для формы глагола вполне типично указывать на связь двух или более ситуаций.

Учитывая все аспекты, можно прийти к общему выводу: там, где каузатив регулярен, его уместнее считать формой. При отсутствии регулярности можно говорить о каузативах-дериватах.

Заметим в заключение, что, как уже упоминалось, в таких языках, как русский, категория каузатива отсутствует. Строго говоря, в русском языке каузативное значение не поддается выражению. При переводе на русский с языков, обладающих категорией каузатива, передаются с помощью тех или иных лексических средств, контекста, его частные значения, такие, как понуждение, способствование, позволение и т. п.

^{/217//218/}

Глава IV
НОМИНАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ЯЗЫКА

1. В настоящей главе речь пойдет о субкомпонентах, которые заключают в себе основной «алфавит» языка, т. е. те его единицы, из которых непосредственно строятся синтагмы и высказывания. Прежде всего это словарь, или лексикон. Название компонента, вообще говоря, не означает, что входящие в него единицы непременно являются словами: как уже говорилось, в словарь, с одной стороны, не входят слова, если они — конструктивные единицы, образующиеся по правилам, а, с другой, входят не-слова — словоформы и фразеологизмы, которые невыводимы из словарных единиц по регулярным правилам. Наконец, в изолирующих языках, где представлены особые единицы — слогоморфемы, именно эти последние выступают основными единицами словаря, а в агглютинативных языках словарь содержит, вероятно, и квазиаффиксы.

Лингвистической дисциплиной, которая призвана изучать лексический компонент языка, естественно считать лексикологию. В настоящее время то, что именуется в литературе лексикологией, имеет довольно неясные очертания. Если же объектом этой единицы считать именно лексический компонент языка, т. е. словарь, лексикон, то ее задачей и станет комплексное всестороннее изучение единиц словаря. Для языка флективного типа, где основная единица — слово, задачи лексикологии будут конкретизированы следующим образом. Во-первых, это грамматика слова в словаре, т. е. выделение всех классов и подклассов слов по их грамматическим признакам. Как можно видеть, традиционная проблема частей речи в этом случае относится к лексикологии. Чаще всего части речи изучают и описывают в морфологии, но это не более чем дань традиции, исходящей из материала флективных языков, где основные признаки частей речи носят морфологический характер. Во-вторых, это семантика слова в словаре, т. е. выделение всех классов и подклассов слов по их семантическим признакам. Частично семантическая классификация будет совпадать с грамматической, т. е. классы будут охарактеризованы в плане выражения и плане содержания, частично семантическая классификация будет носить идеографический характер.

Поскольку семантические свойства слова, естественно, не исчерпываются его принадлежностью к тому или иному классу /218//219/ и подклассу, в лексикологию, по-видимому, должна входить и семантика словаря в более узком смысле — интерпретация значения каждого слова путем толкования, как это делается в обычном толковом словаре, но только с использованием особого семантического языка, позволяющего эксплицировать индивидуальную семантику слова последовательно,

единообразным образом, без «кругов» в определениях и с «настройкой» на взаимодействие с грамматикой [Апресян 1980; 1986].

Особый раздел лексикологии — изучение и описание не-слов, входящих в словарь, в частности учет их типов и удельного веса, который принадлежит в словаре каждому из типов.

Возможно, к лексикологии можно было бы отнести и фонологию слова в словаре, т. е. фиксирование фонологических признаков, которые отличают те или иные классы и подклассы слов, их связанность с грамматическими характеристиками. Традиционно эта сфера трактуется как принадлежащая морфонологии — одному из разделов последней [Трубецкой 1967], но по крайней мере пересечение с лексикологией (в указанном смысле) здесь налицо.

2. Как известно, классификация слов по их грамматическим признакам — это, иначе, установление классифицирующих категорий. В рамках последних слова противопоставлены как лексемы.

Наиболее известные классифицирующие категории — части речи. По словам Б. Уорфа [Уорф 1972: 51], части речи представляют собой первичные лексемные категории, т. е. такие, по отношению к которым ближайшим классом членения оказывается словарь языка в целом. Части речи, таким образом, это «наиболее крупные классы слов, выделяемые по грамматическим признакам» [Касевич 1977: 73].

В литературе широко представлены работы, в которых ставится задача выявить признаки, могущие послужить основанием для выделения частей речи в конкретных языках. Очень важно правильно понимать сущность такого рода анализа. С одной стороны, кажется естественным, что, коль скоро распределение лексики по частям речи — это классификация, необходимы основания классификации, т. е. именно соответствующие признаки. С другой стороны, классификация лексики как таковая отнюдь не является самоцелью. Функциональный подход и здесь во главу угла ставит вопрос «зачем?». Действительно: зачем необходима информация о том, что данное слово принадлежит к части речи «существительное» или «глагол», «прилагательное»? С точки зрения речепорождения знание части речи предопределяет важные аспекты, признаки грамматического функционирования слова; например, располагая информацией о том, что данное слово есть наречие, мы уже знаем, что оно, в зависимости от языка, либо вообще не изменяется, либо имеет только формы степеней сравнения, а синтаксически участвует в особых конструкциях, главным образом как сирконстант, подчиняясь глагольным словам и определяя их. С точки зрения речевосприятия, определение частеречной принадлежности слова может также оказаться полезным для смысловой интерпретации текста. Например, в лат. *est gladius* 'является мечом' для верного истолкования соответствующей фразы нужно знать, что *gladius* — существительное, а не

прилагательное, которое может быть в той же позиции и в такой же форме (пример в несколько ином контексте приводит Б. Уорф [Уорф 1972: 53]). Однако в самом слове, равно как и в его окружении, ничто не указывает на субстантивность. Поэтому единственный выход — обращение к словарю, где должна содержаться необходимая информация. Но в словаре одновременно указано значение, так что информация о субстантивности как своего рода промежуточная и вспомогательная фактически становится ненужной.

Она понадобится только тогда, когда налицо лексико-грамматическая полисемия или омонимия. Так, англ. *cork* означает ‘пробка’ и ‘закрывать бутылку’ (‘затыкать бутылку пробкой’). В контексте наподобие *cork it!* реализуется лишь второе значение, так что контекст (тип синтаксической конструкции) указывает на глагольность, а из последней вытекает выбор значения.

2.1. Простые примеры, приведенные выше, уже демонстрируют, как представляется, сущность классификации на части речи и роль признаков для такой классификации. Последние должны носить операционный характер: если, скажем, отнесенность слова к классу наречий эквивалентна информации о том, что слово имеет формы степеней сравнения и используется в соответствующих синтаксических функциях, то именно и только это и служит признаками наречия. Помета в словаре «наречие», «существительное», «глагол» и т. д. — чисто лингвистический, исследовательский прием: дать в сокращенном виде указание на то, какими грамматическими свойствами, признаками обладает слово, несущее такую помету.

Могут ли классы слов, отвечающие частям речи, пересекаться, или, иначе, возможны ли слова, принадлежащие одновременно к двум (или более) частям речи? Пересечение классов, вообще говоря, реально только тогда, когда мы имеем дело с классами разных классификаций, т. е. выделенными по разным основаниям. Поскольку, занимаясь распределением лексики по частям речи, мы просто фиксируем признаки, свойства слов, такая ситуация, когда слова разных классов (частей речи) выделены по разным основаниям, отнюдь не исключена, а отсюда и потенциальная возможность пересечения классов.

Вероятно, один из наиболее известных примеров такого рода — русское причастие. Причастие, с одной стороны, обладает признаками глагола, изменяясь по временам, видам и залогам (*делающий* ~ *делавший* ~ *сделавший* ~ *делаемый*), с другой же — прилагательного, обладая аналогично последнему формами падежа, числа и рода. Следует ли из этого, что классы гла-*/220/ /221/*гола и прилагательного пересекаются, т. е. причастие входит одновременно в тот и другой?

По существу, важно только лишь то, что причастие обладает указанными признаками (плюс некоторые другие). Но это, однако, еще не

решение проблемы: описать причастие как класс слов, которым свойственны такие-то признаки, частично совпадающие с глагольными, частично — с именными (адъективными). Необходимо вспомнить о том, что части речи, по приводившемуся выше определению Уорфа, — первичные лексемные категории, т. е. классы самостоятельных слов, на которые непосредственно делится словарь языка. Ведь причастие нормально не входит в словарь. Уже это говорит о том, что причастия не принадлежат к самостоятельной части речи, следовательно, вопрос должен ставиться иначе: причастия относятся к той части речи, от слов которой они образуются (если только мы не имеем дело с лексемами — конструктивными единицами, которые именно в силу этого не входят в словарь). Вполне понятно, что при таком подходе, когда проблема перемещается в сферу различения формо- и словообразования, и причастия оказываются словоформами, а не лексемами-дериватами, они получают помету «глагол», поскольку образуются от глаголов. В словаре при этом требуется отдельная информация о том, образуются ли от данного глагола причастные формы и какие именно.

Соответственно, можно сказать, что специфические признаки причастий войдут в частеречную характеристику глагола, которая (для русского языка) примет приблизительно следующий вид: «глагол — часть речи, к которой принадлежат слова, изменяющиеся по временам, видам, наклонениям, лицам; в форме прошедшего времени — не по лицам, а по родам; в форме причастия — не по лицам, а по числу, роду, падежу» и т. д.

Из сказанного явствует, что попытки разграничить слова по частям речи с помощью минимального числа признаков в общем случае не могут приветствоваться. С точки зрения порождения речи они просто не имеют смысла и даже, так сказать, вредны, так как лишают грамматическое описание релевантной морфологической, синтаксической и иной информации. С точки зрения восприятия речи наличие простых признаков, позволяющих идентифицировать часть речи, уже может оказаться полезным, но только лишь в том случае, когда знание части речи — ключ к толкованию конструкции или непосредственно к пониманию смысла. Как уже говорилось, такое знание не имеет самостоятельной ценности, оно носит ярко выраженный служебный характер.

2.2. Не очень проста ситуация с частями речи в таких языках, где едва ли не любое слово может как будто бы выступать в любых функциях, а опоры на формо- и словообразование нет ввиду отсутствия аффиксации. Примерами могут служить древнекитайский язык, языки манде и некоторые другие /221/ /222/ языки Западной Африки. Например, в древнекитайском языке слово, имеющее в одной конструкции значение 'вода', в другой может означать 'затопить водой', употребляясь с глагольными свойствами; аналогично 'лак' и 'покрывать лаком', 'рукав' и 'спрятать в рукав' и т. д. и т. п. [Никитина 1982].

Еще сравнительно недавно исследователи высказывали мнение об отсутствии частей речи даже применительно к современному китайскому языку, поскольку в нем отсутствует синтетическое формо- и словообразование [Гао Мин-кай 1955]. Однако было убедительно показано, что в современном китайском языке (аналогично и в других языках сино-тибетской, тайской семей) части речи достаточно четко выделяются по синтаксическим признакам. Так, несколько упрощая, можно сказать, что глагол (часто, называемый «предикативом») образует ядро предикативной синтаксической конструкции, а имя — нет [Драгунов 1952]¹. В современном китайском языке слова в целом удовлетворительно распределяются по классам имени и глагола (предикатива) как обладающие/не обладающие указанным признаком. Но в древнекитайском, как мы только что видели, «амбивалентность» слов такова, что, действительно, порождает особую проблему. Как следует ее решать?

2.2.1. Может быть, сначала стоит обратиться к более известному материалу — английскому. Ведь в английском языке тоже теоретически любое существительное может быть, хотя бы чисто-окказионально, превращено в глагол и использовано соответственно в глагольных функциях². Между тем, применительно к английскому языку никто, кажется, не высказывал экстремистских мнений, которые отрицали бы существование в английском языке частей речи.

Однако есть два важных отличия между ситуацией в английском и древнекитайском языках (равно и в западноафриканских). Первое — формально-грамматическое. Английский язык, в отличие от древнекитайского или языков Западной Африки, не принадлежит к числу изолирующих. В нем представлены синтетические формы слов и синтетические способы словообразования. Поэтому при переходе существительного или слова иной части речи в глагол или обратном по направлению переходу неизменной остается словарная форма слова (и некоторые другие), в целом же слово меняет парадигму и словообразовательные потенции. Например, глагол *light* ‘зажигать’, ‘освещать’ от существительного *light* ‘свет’ имеет всю обычную глагольную парадигму (*lighting, have lit* и т. д.), от него образуется и существительное *lighter* ‘зажигалка’. В изолирующих языках глагольные или какие-либо иные категориальные признаки слова проявляются лишь в их синтаксическом функционировании, поскольку аффиксальное формо- и словообразование здесь может и отсутствовать. Но трудно сказать, достаточное ли это основание для того, чтобы говорить о переходе,

¹ Мы несколько переформулируем традиционное утверждение, которое состоит в том, что глагол (предикатив) образует сказуемое без помощи связки, а имя — с помощью последней [Драгунов 1952].

² Ср. у Дж. Даррела шутивную «глаголизацию» заимствованного *siesta* в форме прошедшего времени *siesta-ed*.

скажем, существительного в глагол, если вся разница — в синтаксическом упо- /222//223/треблении. Продолжая аналогию с английским языком, можно заметить, что употребление существительных в качестве неоформленного препозитивного определения, т. е. в позиции и функции, типичных для прилагательных, абсолютным большинством англистов не трактуется как образование прилагательных от существительных: считается, что в примерах наподобие *jet fighter*, *stone wall* слова *jet*, *stone* — существительные³.

Более того: говорить о глагольных, субстантивных, адъективных и иных функциях, оставаясь на внутриязыковой почве, возможно лишь тогда, когда в языке есть слова, употребительные только как глаголы, существительные, прилагательные и т. д. Тогда о слове, которое, скажем, отмечено и в функциях существительного, и в функциях глагола, уместно говорить, что это существительное, выступающее в глагольных функциях — или же наоборот. В английском языке безусловно есть «монофункциональные» слова. Но если — фактически или хотя бы теоретически — любое слово может выполнять любые функции (а именно так описывают ситуацию для древнекитайского и западноафриканских языков), то говорить об «именных», «глагольных» и пр. функциях можно как будто бы только по аналогии с какими-то другими языками, что, конечно, ничего не дает для описания грамматики данных языков как таковых.

Второе отличие между английским и древнекитайским материалом (западноафриканский изучен менее) носит семантический характер. В английском языке, когда, скажем, существительное, меняя часть речи, переходит в глагол, то изменения в значении часто не ограничиваются категориальным сдвигом типа «субстантивность → ситуативность»: появляются еще какие-то семантические надбавки, которые к тому же не предсказуемы. Например, *cork* ‘пробка’ → ‘закрывать (бутылку)’ (теоретически вполне было бы допустимо и ‘открывать’, однако этот вариант не реализован), *dog* ‘собака’ → ‘выслеживать’, *man* ‘человек’ → ‘обслуживать (например, станок, орудие и т. п.)’ и т. п. Этого как будто бы нет при употреблении английских существительных в функции препозитивного неоформленного определения к другому существительному, когда семантический сдвиг полностью укладывается в переход «субстантивность → признаковость»: *concrete building* ‘бетонное здание’, *steel sword* ‘стальной меч’ и т. д. и т. п.⁴.

³ Любопытно, что в существующих словарях тюркских языков точно такие же слова с такими же функциями иногда подаются как одна лексема, иногда расщепляются на две.

⁴ Мы, конечно, не учитываем развитие переносных значений в случаях типа *the iron lady*, которые не противопоставлены существительному как таковому.

Ситуация в древнекитайском языке приближается к употреблению английских существительных в определительной функции. Когда, скажем, слово, обычно трактуемое как существительное, выступает в качестве ядра предикативной конструкции, сопровождающий это употребление семантический сдвиг либо исчерпывается сменой категориального признака, либо включает достаточно строго предсказуемые «надбавки» к значению. Последние определяются подклассом слова и местом в конструкции, которое это слово занимает. Так, существительные со значением звания, должности, ранга и т. п., будучи употребленны в качестве ядра предикативной конструкции, всегда значат ‘быть (становиться) X’, где X — звание, должность, ранг и т. п. Например, *ван* ‘князь’ → ‘княжить’ [Никитина 1982].

2.2.2. Каким же должен быть общий вывод для решения вопроса о частях речи в таких последовательно изолирующих языках, как древнекитайский и (некоторые) западноафриканские? Исследователи, говорящие о полифункциональности слов в этих языках, обычно делают оговорки относительно того, что разные слова меняют свой обычный набор функций с неодинаковой легкостью. По-видимому, именно это обстоятельство должно быть положено в основу анализа. Скажем, существительным признается слово, которое, допустим, в 85 % случаев занимает позиции первого и второго актантов в конструкции со связкой, единственного актанта в конструкции «ядерная синтаксема — актантная синтаксема» и т. д. (иначе: для этого слова вероятность выполнения указанных функций равна 0,85). Если в 15 % случаев это же слово употребляется в позиции ядерной синтаксемы, причем, как говорилось выше, сопровождающий такое употребление семантический сдвиг достаточно строго предсказуем, то переход в другую часть речи не имеет места: просто существительное выступает в одной из своих периферийных функций [Никитина 1982]. Если же вероятность употребления слова в разных синтаксических функциях приблизительно одинакова, то мы имеем дело с особой — полифункциональной — частью речи.

Нелишним кажется еще раз напомнить: определение части речи слова не есть самостоятельная задача. Опора на частотность для частеречной классификации слов, конечно, ни в коем случае не мыслится как руководство для воспринимающего речь человека (что было бы по понятным причинам просто абсурдно). Это возможный метод анализа для исследователя-лингвиста; результаты такого анализа отражаются в словаре в виде обычной пометы и могут быть использованы «потребителем» как руководство для построения или понимания текста. Помета о частеречной принадлежности слова в этом случае должна быть, впрочем, расширена: следует также указать, к каким семантическим сдвигам закономерно приводит употребление данного слова в соответствующих конструкциях.

2.3. Части речи, как уже отмечалось, — наиболее важный, но все же лишь частный случай классифицирующих категорий. Классифицирующие категории присутствуют всюду, где имеются любые парадигматические группировки лексем, отражающие их формо- и словообразовательные свойства, семантику, иногда — особенности фонологии (морфонологии) и почти всегда — синтаксиса, включая комбинаторику любого типа. Мы уже видели в главе о синтаксическом компоненте языка, какую важную роль играет классификация глаголов. В традиционной грамматике классификация глаголов нередко не идет дальше выделения глаголов переходных и непереходных, причем этот вопрос ставит-^{/224/225/}ся и решается обычно вне теоретического контекста классифицирующих категорий. Категорию переходности/непереходности относят нередко исключительно к синтаксису.

То, что переходность/непереходность проявляется в синтаксисе, безусловно, справедливо. Но мы видели, что, скажем, разница между именем и глаголом в языках типа китайского тоже находит свое выражение преимущественно в синтаксисе. Между тем, имя и глагол — традиционные лексико-грамматические, или классифицирующие, категории. Точно так же обстоит дело и с переходностью: эта оппозиция существенна для синтаксиса, но, поскольку она делит на классы глагольные лексемы, существует классифицирующая (лексико-грамматическая) категория переходности/непереходности.

Классификация глаголов далеко не исчерпывается выделением глаголов переходных и непереходных (последние вообще чаще всего не составляют однородного класса, выделяясь чисто отрицательно в противоположность переходным). Напомним некоторые из классов, выделяемых в большинстве, вероятно, языков: каузативные глаголы, глаголы давания и отнимания (передачи объекта), глаголы речи, мысли, чувства, направленного и ненаправленного движения и т. д. и т. п. Обозначения семантического характера не должны вести к заключению, что глаголы выделяются исключительно по значению. Глаголы выделяются, классифицируются по своим грамматическим особенностям, при этом обычно обнаруживается, что формально группирующиеся глаголы обладают и некоторой семантической общностью, это и позволяет говорить о существовании тех или иных классифицирующих категорий (ср. также ниже).

В сфере имени классифицирующие категории представлены такими известными примерами, как род существительных, класс существительных, как в языках банту, выделение одушевленных и неодушевленных имен, считаемых и несчитаемых, классы существительных по типу референта (люди, животные, круглые, длинные, продолговатые, кольцеобразные предметы и т. п.), что выявляется в языках

Китая и Юго-Восточной Азии при точном количественном счете и т. д. и т. п.

2.4. По-видимому, о классифицирующих категориях можно говорить и применительно к типам склонения и спряжения, как в славянских языках, литовском, латинском, санскрите и многих других. Здесь также мы имеем группировки слов, выделяемые по грамматическим признакам (не морфонологическим, когда правило формулируется наподобие «слова с аусллаутом основы на такую-то гласную/согласную отличаются таким-то набором окончаний»).

Однозначному решению вопроса о том, следует ли считать, что типы склонения или спряжения представляют особые классифицирующие категории, мешает их асемантичность: за оппозицией этих типов не стоит какого бы то ни было значения.

2.4.1. Прежде чем обратиться к вопросу о семантике классифицирующих категорий, как упомянутых выше, так и в более общем плане, рассмотрим еще один вид классификации глаголов, который в известном смысле выступает антиподом по отношению к выделению типов спряжения или склонения. Мы имеем в виду различие предельных и неопредельных глаголов. Дело в том, что классификация глаголов на предельные и неопредельные, вероятно, в большинстве языков носит преимущественно-семантический характер. Точнее, она находит то или иное выражение в правилах смыслообразования при получении видовых, например, форм, в сочетаемости/несочетаемости с показателями частных видовых категорий, с определенными константами и т. п., однако сколько-нибудь единообразное, регулярное соотношение формы и содержания чаще всего отсутствует.

Суть различия предельных и неопредельных глаголов сводится к следующему. Предельный глагол называет ситуацию, развитие которой характеризуется, по словам А. А. Холодовича, «одной степенью свободы»: при нормальном течении событий результат здесь всегда предсказуем, он может представлять собой ситуацию единственного типа [Холодович 1963]. Например, глагол *садиться* называет ситуацию, для которой, при условии отсутствия помех, возможен один-единственный исход: тот, кто садится, сядет и будет сидеть. Заметим здесь же, что предлагают различать предел действия или состояния и его результат. Для семантики глагола *садиться* предел отражен словоформой *сел*, а результат — словоформой *сидит*, для глагола *падать* предел обозначен формой *упал*, а результат — глаголом *лежит* или *валяется* [Гловинская 1982].

Неопредельный глагол, в отличие от предельного, называет ситуацию — действие или состояние, которые обладают «многими степенями свободы». Так, глагол *петь*: невозможно сказать, чем кончится, во что выльется ситуация, называемая глаголом, теоретически она может перейти в любую другую.

Семантика предельности/непредельности в разных языках, да и внутри одного и того же языка, сопровождается, как в общем виде уже упоминалось выше, различными грамматико-семантическими явлениями. Если ограничиться обзором того, как выражается обозначение предельной ситуации, ее предела и результата, то возможны следующие варианты (ср. [Холодович 1963]): предельная ситуация и ее предел (передаются разными словоформами одного и того же глагола, результат — отдельной лексемой (см. русские примеры выше); предельную ситуацию отражает одна словоформа, а предел и результат (нерасчлененно) — другая, ср. рус. *перепрыгивал* — *перепрыгнул*⁵; всем трем стадиям соответствуют разные словоформы одной лексемы, ср. япон. *сину* ‘умирает’ — *синда* ‘умер’ — *синдэ иру* ‘мертвый’; всем трем стадиям отвечают разные лексемы, например, *ловил* — *поймал* — *имеет* (или *держит*); все три стадии передаются нерасчлененно одной лексемой, ср. бирм. *тхайн*² ‘садиться’, ‘сесть’ и ‘сидеть’. /226//227/

Существуют и другие проявления различий предельных и непредельных глаголов, иные способы формальной реализации соответствующих семантических противопоставлений, на чем мы не имеем возможности останавливаться.

2.4.2. Итак, категория, повторим, есть единство грамматического выражения и содержания, это относится и к категориям классифицирующим, но в том, что касается предельности/непредельности, налицо содержание без систематического, регулярного выражения, хотя о его реальности говорит необходимость учета предельности/непредельности при истолковании ряда грамматико-семантических явлений; в случае же типов склонения или спряжения систематические формальные различия не коррелируют с различиями семантическими. Как следует трактовать указанные ситуации?

Категорию порождает форма (в широком смысле). Поэтому в русском языке есть предельные глаголы, но, по-видимому, нет категории предельности. Эта категория появляется тогда и там, когда и где форма и семантика скоррелированы: либо существуют особые формы глаголов с семантикой предельности как таковой — в этом случае налицо формообразующая, морфологическая категория предельности, либо представлен класс предельных глаголов, обнаруживающих более или менее единообразные формально-грамматические особенности, что дает классифицирующую категорию предельности.

⁵ Интерпретация будет другой, если в качестве результата рассматривать ситуацию ‘находиться по другую сторону того, через что перепрыгивал и перепрыгнул’ (для чего, как можно видеть, не существует не только специальной словоформы, но и лексемы).

Сложнее вопрос о статусе разных склонений и спряжений, «унилатеральность», асемантичность которых — существенное препятствие для безоговорочного признания соответствующих категорий. Вероятно, наиболее адекватным будет следующее решение. Релевантностью и всеобщностью обладает классификация лексики как таковая. Классификация лексики дает своего рода континуум перехода от выделения чисто-семантических группировок слов (таких, например, как имена родства, цветообозначения и т. п.) до чисто-формальных. Между этими двумя полюсами располагается обширная и лингвистически (грамматически) наиболее важная зона, включающая билатеральные классы слов, которым и отвечают традиционные классифицирующие категории. Классы слов, соответствующие лексико-грамматическим (классифицирующим) категориям, обладают общностью и в грамматическом, и в семантическом планах. Собственно, вполне можно было бы говорить о трех типах классифицирующих категорий: семантических, формальных и формально-семантических. Лишь стремление сохранить преемственность по отношению к традиции, которая требует от категории формально-семантического двуединства, побуждает нас отказать чисто-семантическому и чисто-формальному способам классификации лексики в статусе базы особых категорий.

Признание существования постепенного перехода от собственно содержательных к формальным основаниям разбиения словаря (вплоть до выделения морфонологических классов) по-[/227/228/](#)могает понять, почему для многих лексико-грамматических категорий довольно трудно установить естественную семантическую интерпретацию. Причем степень трудности отнюдь не коррелирует с рангом класса/подкласса: нельзя утверждать, что крупные классы обладают более определенной семантической характеристикой, а мелкие — менее или же наоборот.

2.4.3. Уже при установлении семантики классов, отвечающих частям речи, могут возникать трудности. Хорошо известно, что категориальные и денотативные признаки слов могут не совпадать. Так, слово *бег* — имя существительное, это его категориальный признак, предполагающий субстантивность, предметность, однако с денотативной точки зрения это слово называет ситуацию точно так же, как и глагол *бегать*. В таких случаях принято говорить об «опредмечивании» действия, состояния, признака-свойства (*красный* → *краснота*), что вряд ли вполне и окончательно проясняет положение дел.

В объективной действительности существуют вещи (предметы), свойства (признаки) и отношения [Уемов 1963]. Язык должен располагать словами, предназначенными для обозначения всех этих категорий внешнего мира: существительные исконно обозначают вещи-предметы, прилагательные — свойства-признаки, глаголы — частично свойства-признаки, частично — отношения; во многих языках, как известно,

свойства и отношения в принципе передаются словами одной части речи — глаголом (предикативом). Соответственно категориальный признак существительных как класса — предметность, или субстантивность, прилагательных — признаковость, глаголов — ситуативность; последнее обозначение призвано показать, что глаголы называют ситуацию, в основе которой может быть как признак, так и отношение. Когда категориальная и денотативная (т. е. с точки зрения соответствия вещам, свойствам, отношениям) отнесенность слов совпадают, можно утверждать, что субстантивность, признаковость или ситуативность выступают их лексическими и грамматическими значениями одновременно. Например, слову *медь* присущи лексические и грамматические значения субстантивности. Но у слова *медный* лексическое значение, носитель которого — корень, — это значение субстантивности, а грамматическое, передаваемое словообразовательным суффиксом и словоизменительной (формообразовательной) парадигмой, — значение признаковости. Аналогично у слова *бег* лексическое значение — ситуативности, а грамматическое — субстантивности.

2.4.4. Если согласиться с подобным анализом, то придется признать возможность синонимии лексического и грамматического: то, что в словах типа *медь* выражено лексически и грамматически, в словах типа *бег* — только грамматически. Это — важное положение, притом небесспорное. Более обычный (и, возможно, более естественный) подход к языковым фактам заключается в том, что в данном языке сферы семантики, выразимой его средствами, разделены между лексикой и грамматической так, что одни значения передаются лексически, а другие — грамматически.

Обратим внимание и на то, что подобные расхождения возникают при переходе слов разных частей речи в существительные, но не при обратных переходах, которые во многих языках представлены столь же широко. Действительно, при образовании прилагательного *медный* от существительного *медь* прилагательное, как ему и «полагается», обозначает признак; глагол *краснеть*, хотя он и произведен от прилагательного, называет ситуацию подобно любому глаголу и т. д. и т. п. Указанная асимметрия не случайна. Хотя человек воспринимает внешний мир как мир явлений, процессов [Витгенштейн 1958], последние никогда не воспринимаются сами по себе, но вместе с вовлеченными в них вещами-предметами. Процессы, явления «описываются» поэтому как бы через участвующие в них предметы, и именно на предметах всегда фокусируется внимание (отсюда и этимология слова предмет вслед за его латинским прообразом). Иначе говоря, с точки зрения закономерностей человеческого восприятия «быть в фокусе внимания» и «быть предметом» оказываются функционально приравненными, что и объясняет широко распространенный в разных языках грамматический прием «опредме-

чивания» путем субстантивации разных частей речи: когда ситуация и т. п. оказываются в фокусе внимания как нечто качественно своеобразное, соответствующие слова «удобно» грамматически употреблять так же, как и слова, исконная семантика которых — предметность, т. е. как существительные. Однако свою лексическую семантику субстантивированные единицы, вероятно, сохраняют, т. е. оставляют ее той же, какой она была в исходном слове.

2.4.5. В других случаях, например, при классификации глаголов, семантические свойства выделяемых классов могут быть сравнительно простыми и однозначными. Такова семантика глаголов местоположения в пространстве, направленного/ненаправленного движения, обладания и т. п. Отмечается общая закономерность, заключающаяся в том, что чем большим числом валентностей объединены глаголы подкласса, т. е. чем больше, фактически, у них общих признаков, тем уже и определеннее объединяющее их значение [Апресян 1967]. Например, в монгольском языке класс трехвалентных глаголов включает слова самой разной семантики — такие, как *өгөх* ‘давать’, *аврах* ‘спасать’, *үзүүрлэх* ‘затачивать’, *цохих* ‘бить’ и пр. При введении дополнительного признака — наличия в окружении глагола третьего актанта с семантической ролью ‘инструмент’ выделяется более узкий подкласс с соответственно более узким и определенным значением ‘воздействовать на что-л. посредством чего-л.’, куда попадут, из упомянутых выше, *үзүүрлэх* ‘затачивать’ и *цохих* ‘бить’. Прибавление еще одной характеристики — возможности переменного окружения, выражающегося в чередовании аккузативного актанта с дативным, выделяет подкласс глаголов с общим значением ‘бить что-л. или по чему-л. чем-л.’: *цохих* ‘бить’, *өшиглэх* ‘пинать’, *чихих* ‘тыкать’ и др. [Кузьменков 1984: 31].

Особое положение обнаруживается в сфере именных классов, в том числе и применительно к категории рода в славянских и под. языках. Семантизация таких классов может носить «исчезающий» характер, причем не только с точки зрения диахронии⁶. В восприятии носителя языка существительным мужского рода, женского, среднего приписывается соответствующий семантический признак, об этом говорят, например, приложения наподобие *матушка-Волга*, *отец-Дон* при абсолютной невозможности взаимозамены⁷. В то же время нет необходимости

⁶ С диахронической точки зрения такие классы нередко отражают релевантное для прастадий языкового развития деление предметов и, отсюда, имен на активные, инактивные и т. п.

⁷ О наличии таких признаков знают переводчики, причем даже в случаях взаимодействия «родового» языка с «безродовым», ср. ситуацию, когда англ. *Father-Thames* не поддается прямому переводу в силу женского рода имени собственного *Темза* в русском языке (ср. также анализ «Сосны» Лермонтова в известной статье Щербы [Щерба 1936]).

доказывать, что семантическая окрашенность родовых классов — их явно периферийный признак, «всплывающий» лишь в некоторых особых условиях. Как можно видеть, в общей системе словарной таксономии классы типа родовых приближаются по своему характеру к чисто формальным, сохраняя лишь остаточно и пережиточно определенные черты семантизации.

3. Особое место принадлежит категориям, которые Б. Уорф назвал «скрытыми» и которые в типичном случае также относятся к числу классифицирующих. Можно выделить три основные ситуации, когда есть основания говорить о скрытых категориях.

3.1. Первая — это выделение классов слов по возможности субституции. Так, Уорф утверждает, что, вопреки традиционной точке зрения, в английском языке существует грамматическая категория рода. Аргументом служит то, что имеются правила замены существительных на местоимения *he*, *she* или *it*, которые являются достаточно строгими и не определяются полностью биологическим полом референта, если речь идет об одушевленных существительных. «...Знание естественного пола не подскажет ... наблюдателю, что сами названия биологических классов (например, *animal*, *bird*, *fish* и т. д.) относятся к *it*-классу; при этом молодые животные обычно также *it*, а взрослые часто *he*; кошки и крапивницы (птицы) обычно *she*; части тела и весь растительный мир — *it*; страны и штаты ... — *she*, а города, общества и корпорации — *it*; тело человека — *it*, привидения — также *it*, природа — *she*, судно с парусом или двигателем и имеющие названия маленькие суда — *she*, безымянные гребные лодки, каноэ, плоты — *it* и т. д.» [Уорф 1972: 48].

3.2. Вторая ситуация — выделение классов слов по их комбинаторике, или валентностным свойствам. Валентности бывают активные и пассивные. Для классов слов, выделяемых по активным валентностям, можно говорить о двух подтипах, разновидностях такого способа классификации лексики. Первый выделяется отрицательно как не связанный ни с управлением, ни с согласованием. Наиболее яркий и известный пример — выделение классов существительных по сочетаемости с классификаторами. Закономерности такого рода в большинстве языков обнаруживаются только при счете, когда существительное сочетается с числительным не непосредственно, а «через» так называемые счетные слова (они могут быть счетными суффиксами), или классификаторы, и выбор последних определяется классом существительного. Обычные классы — классы слов, называющих людей, животных, круглые предметы, растения и т. п. Причем, что существенно, отнесенность слова к классу далеко не всегда обусловлена денотативными признаками, свойствами самого предмета-референта. Например, в бирманском языке существительные со значением предметов мебели, независимо от реальной формы последних, попадают в класс

круглых предметов, в восточном сго-каренском в класс со значением плоских предметов попадают слова, обозначающие предметы одежды, книги, птиц, лодки и корабли, удары грома, мотыги, страны и др. Как можно видеть, налицо внутриязыковая условность, близкая той, что относит, скажем, англ. *ship* к существительным женского рода, только проявляется она не в правилах замены местоимениями, а в сочетаемости с определенными счетными словами-классификаторами и только в этих контекстах.

Второй подтип наиболее важен, он, по-видимому, универсален: выделение классов (подклассов) слов по закономерностям управления и/или согласования, если под управлением в данном случае понимать присоединение грамматически зависимых слов, принимают они при этом определенные грамматические формы или нет. Самый простой пример — классификация глаголов по валентностям, о чем уже говорилось неоднократно. Глаголы разделяются на классы (подклассы) именно по комбинаторным, или сочетаемым, потенциям, когда выделяются переходные глаголы, непереходные и целый ряд других более мелких группировок. Если, как это чаще всего и бывает, в самих глаголах нет никаких формально выраженных признаков, указывающих на тип сочетаемости, то перед нами — скрытая категория: подклассы носят грамматический характер, т. е. соответствуют особой лексико-грамматической, классифицирующей категории, обладающей планом выражения и содержания, но — скрытой.

Если активные валентности отражают закономерности, по которым слова или их формы присоединяют к себе другие слова (словоформы), то пассивные указывают, к каким словам (словоформам) могут присоединяться данные. Классификация глаголов, о которой упоминалось выше, осуществляется по их активным валентностям. Примером пассивных валентностей может быть сочетаемость некоторых существительных с глаголами, которые в данной позиции предполагают употребление одушевленных существительных. Так, имена *полк, отряд, отдел, сектор* — неодушевленные, например, *Я люблю свой полк (отряд, отдел, сектор)*, но они выступают в качестве первого актанта при активных глаголах оценки, эмоционального отношения *восхищаться, гордиться, обожать, ненавидеть, презирать* и т. п., например, *Весь класс (полк, отряд, отдел, сектор) обо- /231/ /232/ жает (ненавидит, презирает) его* [Арсеньева и др. 1966]. Пассивная валентность таких существительных, равно как и некоторые другие признаки, позволяет выделить их в особый подкласс и говорить о самостоятельной — скрытой — категории.

3.3. О третьей ситуации можно говорить как о присутствии «полускрытых» категорий. Мы имеем в виду такие случаи, когда слова принадлежат к разным классам по типу парадигм, однако в словарной форме грамматические различия между ними никак не обнаруживают себя.

Например, *Рязань* — женского рода, *Суздаль* — мужского, ср. *под Рязанью*, но *под Суздалем*, однако по словарной форме род определить нельзя. Если бы таково было положение с родом для всех русских существительных, то их род был бы «полускрытой» категорией.

«Полускрытыми» категориями выступают части речи в английском языке (в то время как в изолирующих языках части речи — скрытые категории, признаками выделения которых служат активные и пассивные валентности слов).

4. Классификация лексики очевидным образом связана со словообразованием: дериваты, полученные одним и тем же словообразовательным средством, тем самым образуют особый класс, выделяющийся формально и семантически. Хотя применительно к словообразовательным классам, кажется, не принято говорить о классифицирующих категориях, такая трактовка в принципе не исключена. Возражением может послужить отсутствие оппозиций, но часто и они налицо: например, имена деятеля противопоставляются именам действия и т. п. Правда, противопоставленность эта с грамматической точки зрения обычно исчерпывается самим фактом наличия разных словообразовательных средств, здесь совсем не обязательны морфологические (формообразовательные) и синтаксические различия, как это имеет место для несомненных классифицирующих категорий — частей речи, именных подклассов и т. п. Так что включение дериватов в систему классифицирующих категорий потребовало бы определенных оговорок.

В русском и многих других языках существует особая классификация глаголов по так называемым способам действия. Под общим именем способа действия понимают характеристику ситуации с точки зрения типа ее внутреннего устройства, связи с некоторой другой ситуацией и т. п.: выделяют начинательный, пердуративный (*проработать*), длительно-смягчительный (*поработать*) и целый ряд других [Русская грамматика 1982]. Семантика способа действия близка к видовой, поэтому классифицирующую категорию способа действия и формообразующую категорию вида предлагают включать в некоторую общую «надкатегорию», или поле, аспектуальности [Бондарко А. В. 1983].

Способ действия, как уже сказано, принадлежит, с одной стороны, к классифицирующим категориям, по крайней мере, в тех случаях, когда глаголы одного способа действия отличаются от другого формально-грамматически. С другой стороны, /232/233/ глаголы одного способа действия нередко выделяются в особый словообразовательный класс (часто именно в этом проявляется их грамматическая особенность). Так, среди глаголов начинательного способа действия в русском языке значительная часть образована при помощи приставки *за-* (*закричать*, *запеть*, *закипеть* и т. п.).

5. В связи с последней разновидностью способа действия хочется еще раз поставить вопрос, который не раз уже возникал у нас в других контекстах. Начинательность в русском языке выражается не только особым словообразовательным типом, но также и лексически — глаголом *начинать*⁸; кроме того, значения ‘начинать’, ‘начать’ входят в семантику видов глагола [Гловинская 1982]⁹. Имеем ли мы дело с синонимией лексического и грамматического?

В принципе в том, что касается словообразования, грань между лексикой и грамматикой (ее словообразовательным субкомпонентом) наименее отчетлива. Если значения, присущие формообразовательным категориям, зачастую лишь с большим трудом и ценой утраты специфики поддаются переводу на «язык лексики», то словообразовательные значения менее специфичны, они во многих случаях служат как бы удобными «аббревиатурами» для более громоздких лексических оборотов, семантика которых «с точки зрения» данного языка «заслуживает» включения в грамматику по тем или иным причинам, чаще всего — по причине ее прагматической важности. Например, трудно усмотреть семантические потери в замене *ленинградец* на *житель Ленинграда* и т. п.

Однако что касается соотношения приставочных глаголов начинательного способа действия и конструкций с глаголом *начинать*, то здесь ситуация представляется менее однозначной. Чтобы решить этот конкретный вопрос, нужно, по-видимому, выяснить два обстоятельства. Первое — определение дистрибуции начинательных глаголов и конструкций, возможность их взаимозамены. Это покажет сам факт наличия или отсутствия синонимичности. Второе — совпадение или несовпадение семантики интересующих нас образований, как она эксплицируется через толкование; это позволит выяснить, в чем именно заключаются различия в семантике, если они имеются.

Уже сравнение простых контекстов показывает, что вряд ли можно говорить о свободном варьировании начинательных глаголов и конструкций: ср. *Труба лопнула, и из нее забил фонтан воды* ↔ *Труба лопнула, и из нее начал бить фонтан воды, В этот момент она внезапно заплакала* ↔ *В этот момент она внезапно начала плакать, Перестань, а то я закричу!* ↔ *Перестань, а то я начну кричать!* и т. п.

Вероятно, разница заключается в том, что семантика начинательных конструкций включает элемент значения ‘после некоторого момента Т существовало (имело место) Р’, а начинательных глаголов — ‘в некоторый момент Т появились первые признаки Р’.

⁸ Глагол *начинать* можно считать полувспомогательным, но в любом случае это особая лексема.

⁹ Правда, слова семантического языка типа ‘начать’ в толковании вида не эквивалентны «естественным» словарным единицам, однако в данном случае расхождение, видимо, минимально и касается главным образом дистрибуции.

Значение ‘после’ охватывает некоторый период, следующий за точкой отсчета, поэтому нередко семантика конструкций с *начинать* легко сочетается со значением ‘продолжать’ и даже предполагает его: *В этот момент она внезапно начала плакать = В этот момент она внезапно заплакала и продолжала плакать [пока я не ушел и т. п.]*.

Таким образом, и здесь не решая в общем виде очень сложный и важный вопрос о возможности синонимии лексического и грамматического, отметим, что на материале словообразования — особой области грамматики, по своей природе близкой к лексике, — такая синонимия как будто бы проявляется (катойконимы), иногда же о подлинной синонимии говорить трудно.

6. Говоря о классификации лексики, нельзя не упомянуть, что разные классификации, действительные для словаря, могут вступать во взаимодействие того или иного типа. В результате возникает своего рода интерференция классов и категорий [Касевич 1973]. Так, например, в тех языках, где выделяются глаголы действия-состояния и качества-количества, непереходные глаголы, фигурирующие в рамках другой классификации, полностью включают глаголы качества-количества, а сами оказываются одним из подклассов глаголов действия-состояния.

7. Выше уже упоминались некоторые аспекты словообразовательной проблематики и по существу уже говорилось, что словообразование в определенном смысле лежит на пересечении лексики и грамматики. К грамматике словообразование относится постольку, поскольку в эту последнюю язык «выносит» все неиндивидуальное, все, что образуется по правилам, а не дается списком. Словообразование удовлетворяет этому условию, хотя данная тенденция — использование правил вместо добавления единицы к набору, алфавиту — в словообразовании носит менее ярко выраженный характер, чем в морфологии. С лексикой словообразование сближает то, что по деривационным правилам создаются новые единицы словаря или, во всяком случае, единицы, которые во многих отношениях аналогичны, параллельны единицам словаря (если это конструктивного характера лексемы, не включаемые в словарь).

Как указывал Л. В. Щерба, в словообразовании различаются два аспекта: как сделаны имеющиеся, «готовые» слова и как образуются новые [Щерба 1974]. Противопоставление это, впрочем, условно: если модель, по которой «сделаны» имеющиеся в словаре слова, продуктивна, то одновременно она является средством производства новых слов. Под продуктивностью в словообразовании следует понимать именно возможность образования новых слов, даже ограниченную. Например, рус. существительные с суффиксом *-арь* построены по модели, в определенной степени продуктивной уже потому, что в языке представлено не только слово *вратарь* (известное, хотя и в другом значении, с XVIII в.), но и (жаргонное) *технарь*, появившееся сравнительно недавно. Но

продуктивность модели с суффиксом *-арь* весьма ограничена — скажем, вряд ли было бы принято существительное *фон-арь* как обозначающее специалиста по фонетике¹⁰.

В словообразовании нас должны главным образом интересовать три момента: что является исходной единицей, что выступает словообразующим средством и каков результат данного процесса. Не имея возможности рассматривать все эти аспекты сколько-нибудь подробно (см. [Гинзбург 1979; Моисеев 1985; Сахарный 1985] и др. специальные работы), выделим лишь те случаи, которые, как представляется, относительно меньше освещены в литературе.

Ту единицу, которая служит исходной в словообразовательном процессе, принято называть мотивирующей. Можно различать мотивирующие основы, слова и словосочетания. Более точно: исходными единицами всегда выступают слова, реже, вероятно, словосочетания, о мотивирующих основах говорят тогда, когда словообразовательный процесс удобно представить как присоединение той или иной словообразовательной морфемы именно к основе слова (см. ниже); однако по крайней мере во флективных языках, где в словаре «хранятся» слова, а не основы, основа, строго говоря, не является исходной единицей.

Понятие мотивирующей основы уместно, например, при описании образования русских отглагольных существительных типа *вытеснение*: здесь ко второй глагольной основе присоединяется суффикс *-ениj(e)* (по другой трактовке — сочетание суффиксов *-ен-* и *-иj-*).

Мы не будем специально останавливаться на проблеме разграничения формо- и словообразования. Выше уже говорилось о двух основных подходах для выработки критериев такого разграничения: регулярность формообразования, т. е. открытость класса лексем, образующих соответствующие формы, и отсутствие так понимаемой регулярности для словообразования, возможность замены непроизводным словом того же класса в составе высказывания для словообразования и отсутствие такой способности для формообразования. Добавим лишь, что словообразование вряд ли отделено от формообразования непроходимой гранью. Как и во многих других случаях, важнее не «этикетка» — место в лингвистической классификации, а «поведение» в реальной речевой деятельности. С этой точки зрения словарь должен содержать как

¹⁰ Можно заметить, что одно и то же словообразовательное средство в /287//288/ разных словах иногда выступает в неодинаковом качестве. Например, рус. суффикс *-в(о)* обладает определенной продуктивностью, на это указывают слова наподобие *чтиво*, *хлебово* наряду с литературными *месиво*, *варево*. Но в составе слова *пиво* тот же суффикс вообще не выделяется, здесь произошло опрощение, и по семантическим причинам нельзя составить пропорцию **месить : месиво = пить : пиво*, поскольку для современного языка недействительно толкование *пиво* — ‘то, что пьют’ (*пиво* — это действительно то, что пьют, но не все, что пьют, — пиво).

информацию о том, какие формы образуются от данной лексемы, так и сведения о ее способности служить мотивирующим словом для образования других лексем — конструктивных единиц. Все же непродуктивно образованные лексемы входят в словарь на правах самостоятельных вокабул, и уже лексикология изучает вопрос о том, какие парадигматические связи в лексике вызывает к жизни существование таких лексем, какие и как устроенные словообразовательные гнезда при этом возникают. /235//236/

Несколько замечаний о словосочетаниях как источнике образования новых слов. Не все исследователи согласны с самой постановкой вопроса, ибо традиционно считается, что словообразование — это отношение между словами. Однако, с нашей точки зрения, такое априорное убеждение вряд ли оправданно. Уже простые и вполне типичные примеры наподобие *первомайский*, *землеройка* говорят, по-видимому, что они непосредственно восходят к словосочетаниям *Первое мая*, *рыть землю*. Таково положение, вероятно, со всеми сложными словами: как уже говорилось, в языках типа русского ни корень, ни основа не являются единицами словаря, поэтому словообразование — это всегда либо преобразование слова по определенным правилам с получением нового слова, либо такое же преобразование, где необходимые операции производятся по отношению к нескольким словам, нормально двум, т. е. по отношению к словосочетанию. /236//237/

Глава V

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Система языка существует, как неоднократно подчеркивалось, прежде всего для того, чтобы сделать возможной речевую деятельность. Правила, по которым функционируют языковые единицы, принадлежат языку, но реализуются в речевой деятельности. Если языковая система описана достаточно полно, то это описание, естественно, включает и правила «поведения» единиц языка. Что же в этом случае остается на долю описания речевой деятельности?

Можно было бы считать, что такого отдельного аспекта просто не существует: поскольку речевая деятельность — это функционирование системы языка, то, соответственно, ее описание — это та часть представления языка, которая имеет дело с динамикой системы, а не ее статикой. По-видимому, такой подход в известной мере оправдан. Но даже и при изложенном возможном понимании специфика деятельностного, динамического, процессуального аспекта системы столь велика, что безусловно оправдывает его автономность в рамках общего описания языка. К тому же речевая деятельность осуществляется в широком контексте психической и социальной активности человека, что лишь ограниченно отражает описание и моделирование системы как таковой. Наконец, для реальной речевой деятельности человека исключительно важна гибкость стратегий, эвристичность используемых процедур, а все эти аспекты по понятным причинам не могут быть охвачены моделью языковой системы, даже если в ней достаточным образом учтен динамический характер языка.

Последнее можно изложить и несколько иначе. Реальна своего рода релятивизация стратегий использования языка относительно типа речевого акта. Система предоставляет в распоряжение говорящего/слушающего некоторый набор правил, которыми он может воспользоваться; однако по крайней мере часть этих правил, притом значительная, оставляет за носителем языка право выбора, на который свои ограничения налагает тип речевого акта (речевой ситуации). Эти сложные взаимозависимости «прав» и ограничений уже не принадлежат языку как таковому; их естественнее относить к собственным закономерностям речевой деятельности. К ним же принадлежат уже упомянутые эвристики, используемые, главным образом, [/237//238/](#) слушающим для повышения эффективности и быстродействия коммуникативного процесса.

Все сказанное, думается, объясняет, почему целесообразно обсуждать отдельно проблемы речевой деятельности, даже признавая, что

основное содержание ее составляет реализация правил, с необходимостью присутствующих в самой языковой системе.

Занимаясь вопросами речевой деятельности, невозможно не разграничивать две ее стороны: восприятие и порождение речи. Хотя общность соответствующих процессов несомненна, а еще более несомненна их теснейшая связь, — достаточно сказать, что говорящий слушает не только партнера при смене ролей, но и самого себя с целью самоконтроля, — специфичность речепорождения и речевосприятия требует их раздельного рассмотрения.

ПОРОЖДЕНИЕ РЕЧИ

2. В настоящем небольшом разделе будут сформулированы лишь некоторые положения, представляющиеся наиболее общезначимыми. В основном мы сохраняем подход, представленный в наших предыдущих работах [Касевич 1977; 1983], в отдельных аспектах развивая и дополняя его и лишь кое-где модифицируя.

Порождение речи есть переход «смысл → текст». Смысл, вслед за А. Н. Леонтьевым [Леонтьев 1972], мы понимаем как объект когнитивной природы, носящий личностный характер и, как таковой, действительный в полном объеме лишь для его носителя. Смысл принадлежит преимущественно образно-чувственной сфере и поэтому, строго говоря, он некоммуницируем¹. Смысл лежит за пределами дискурсивного мышления и за пределами языка.

Однако формирование смысла — еще не самый «глубокий» этап речепорождения. Соотношение «смысл — текст» встраивается в более широкую схему. Отправным пунктом выступает взаимодействие (потенциального) говорящего с действительностью, а конечным — воздействие того или иного рода на партнера по коммуникации. Взаимодействие с действительностью создает проблемную ситуацию, в самом широком смысле этого термина, причем такую, что для разрешения проблемы уместно, с точки зрения данного индивида, использовать речь в качестве единственного или промежуточного инструмента. Воздействие проблемной ситуации, иначе говоря, выступает фактором мотивации, обуславливающим применение речи как средства, пригодного для

¹ Очень характерно определение К. Чуковским творческого метода раннего Пастернака — Чуковский обозначил его как «реализм для себя, а не для других»: «Но тогда (на раннем этапе творчества. — В. К.) его реализм был субъективен и замкнут, — реализм для себя, а не для других. Пытаясь запечатлеть наиболее точно, во всей полноте, во всей сложности то или иное мгновение своего бытия, он, ошеломленный хаосом запахов, красок, звучаний и чувств, торопился воплотить всю сумятицу впечатлений в стихах, нисколько не заботясь о том, чтобы они были поняты всеми» (*Чуковский К. Борис Пастернак. — Пастернак Б. Стихи. М., 1966, с. 15–16.*)

выполнения некоторой задачи. Взаимодействие ситуации и индивида, принадлежащего к определенной культуре, порождает смысл.

Оговорка о принадлежности к определенной культуре важна. То, какой смысл будет порожден в каждом данном случае как реакция на ситуацию, определяется не только самой ситуацией, сугубо индивидуальными чертами данной личности, но и ее [/238/ /239/](#)миологическими установками, а последние зависят от типа культуры, носителем которой личность является. Поскольку культура не существует вне языка, этапы мотивации и порождения смысла, не принадлежа миру языка, опосредованно с ним все же связаны.

2.1. По-видимому, уже на уровне смысла, который мы назвали уровнем глубинной семантики [Касевич 1977]², должно выделяться то, о чем пойдет речь в «будущем» высказывании, и то, что будет сообщено о данном предмете. Приведенные формулировки, как можно видеть, совпадают с обычными определениями темы (субъекта) и ремы (предиката) (ср. [Кубрякова 1986: 120–121]). Однако, коль скоро на уровне глубинной семантики мы имеем дело не с дискурсивным мышлением, а с такой психической деятельностью, по отношению к которой понятия субъекта и предиката просто неприменимы (ввиду общей аморфности когнитивных структур), то и говорить, вероятно, можно только о прототеме и протореме. Прототема и проторема — это «зародыши» темы и ремы, наметившиеся в общем диффузном образе, области первичного расслоения последнего.

«Седалищем» глубинной семантики служит, надо полагать, субдоминантное полушарие головного мозга. Именно оно контролирует психическую деятельность, в которой человек оперирует целостными образованиями, имеющими эмотивно-волевую природу и личностно, аффективно окрашенными.

Между тем, как показали данные В. Л. Деглина и Т. В. Черниговской, правое (субдоминантное) полушарие контролирует и тему как таковую, о которой принято говорить в лингвистических работах в рамках теории актуального членения. Испытуемые с угнетением левого полушария в результате унилатерального электрошока, применяемого в качестве лечебной процедуры в психиатрической клинике, группировали предложенные им высказывания «по теме»: в одну группу при такой классификации попадали предложения с одинаковым первым словом вне зависимости от его семантической роли (в узком смысле) и синтаксической функции, например, *Петя избил Ваню, Петя избит Ваней, Петю избил Ваня* [Chernigovskaya, Deglin 1986]. Данные демонстрируют,

² Ю. Д. Апресяном тот же термин был применен в другом смысле — как обозначение универсальной семантики в отличие от идиоэтнической [Апресян 1980].

что правое полушарие способно изолировать тему и, отсюда, что эта операция осуществляется в недрах глубинной семантики.

Можно предположить, что если первоначально на стадии глубинной семантики имеет место максимально аморфная своего рода «предсемантическая туманность» со «сгущениями» в виде прототемы и проторемы, то в дальнейшем происходит обособление последних, разрыв, если угодно, с образованием двух — соответствующих теме и реме.

Разумеется, метафоры такого рода не могут заменить точного описания соответствующих процессов. Но наши позитивные знания об этих процессах столь скудны, что на сегодняшний день приходится прибегать к языку, который сам ближе по /239//240/ своему семантическому наполнению и типу к продуктам работы субдоминантного полушария.

Тема и рема, обособившиеся на уровне глубинной семантики, — это еще не те одноименные категории, с которыми привыкла иметь дело лингвистика. Как утверждалось в главе I, наличие темы и ремы предполагает существование двух отдельных пропозиций: *Петя избил Ваню* строится на базе пропозиций ‘Петя есть тема [моего сообщения]’ и ‘Ваня избил Петю’. Но пропозиционирование, судя по всему, — функция доминантного полушария. Чтобы «правополушарные» темы и ремы стали «левополушарными» — приобрели дискурсивно-языковой характер, — они и должны быть переданы доминантному полушарию, где осуществляется операция пропозиционирования. И порождение, и восприятие речи основаны, как можно думать, на диалоге полушарий. На разных уровнях речевой деятельности языковые (и, как только что говорилось, «предъязыковые») сущности имеют двойное представительство: как целостные гештальты, в известной степени диффузные — в субдоминантном полушарии и как расчлененные, структурно организованные, с поэлементным строением — в доминантном.

Пропозиционирование, о котором шла речь выше, вероятно, не затрагивает одинаковым образом рему и тему, но сначала прилагается лишь к последней: тема обособляется в составе отдельной пропозиции с предикатом ‘является темой’ (‘есть тема’), а рема по-прежнему носит глобально-нерасчлененный характер. Первый этап ее расчленения — установление семантических ролей.

2.2. Как мы помним из изложения в главе «Семантический компонент языка», семантические роли — это принятые для данного языка типичные терминалы фреймов. Говорящий воспринимает ситуацию в терминах тех или иных фреймов, а это значит, что уже акт восприятия вызывает к жизни фреймы с их терминалами и, следовательно, потенциальными семантическими ролями. «Потенциальными» потому, что обычное сенсорное восприятие (зрительное, слуховое) оперирует

неязыковыми фреймами, которые, однако, поддаются с известными потерями перекодированию в языковую форму.

Нужно, конечно, иметь в виду, что говорящий отнюдь не всегда (и даже не чаще всего) в своем высказывании вербально описывает непосредственно воспринимаемую ситуацию. Последняя выступает лишь одним из источников порождения смысла (причем она может быть отличной от той, которую говорящий воспринимает в момент продуцирования высказывания). Тем не менее, та или иная проблемная ситуация, актуальная или в данный момент не представленная, с необходимостью служит источником порождения смысла, «поставляя» материал для вычленения семантических ролей.

Семантические роли — набор основных персонажей, которые, «с точки зрения» данного языка, участвуют в разнообразных /240//241/ сценариях-ситуациях. Нерасчлененная рема — представление ситуации *en bloc*, когда не существует, в частности, отдельно состояния и отдельно — его носителя, а есть своего рода семантический (предсемантический) инкорпоративный комплекс: не ‘луна появилась’, а ‘луно-появилось’, не ‘сети ставят’ а ‘сете-ставят’³.

В принципе название ситуации уже имплицитно включает в себя набор соответствующих аргументов, которые должны быть лишь конкретизированы. Обратная зависимость носит менее определенный характер: одни и те же аргументы могут соответствовать целому ряду ситуаций. Здесь же, в том предсемантическом инкорпоративном комплексе, о котором идет речь, представлены и ситуация и ее участники, но в нерасчленном диффузном виде. Комплекс превращается в структуру именно за счет наложения на него набора семантических ролей, которые вытесняют одноименные им «встроенные» в комплекс «протороли»⁴.

Как явствует из предыдущего, источником семантических ролей служат те проблемные ситуации, реакцией на которые выступает планируемое высказывание. Это — важное обстоятельство: семантические роли в конкретном процессе речепорождения появляются не «из вакуума» и даже не непосредственно из самой языковой системы, а представляют собой продукт наложения лингвистического (точнее, языкового) фрейма на неязыковой — перцептивный, когнитивный.

Вычленение семантических ролей превращает глобальную рему в пропозицию. Разумеется, это именно пропозиция с установленным отношением иерархичности на множестве аргументов — семантических

³ Таковую архаическую стадию в развитии языка и мышления, когда ситуации воспринимались и передавались в языке как глобальные нерасчлененные образования, постулировал Адам Смит; см. об этом [Кацнельсон 1982] (см. также [Касевич 1983: 276]).

⁴ Протороли и роли соотносятся, скорее всего, как смыслы и значения.

ролей. Иерархия задана самим по себе набором семантических ролей, в котором ранг Агенса всегда выше ранга Пациенса и т. д. В конкретном процессе порождения речи нет места пропозициональной форме (пропозициональной функции), поскольку говорящий с самого начала знает, каким участникам ситуации будет посвящено планируемое высказывание. Пропозициональная форма, где места конкретных аргументов занимают переменные, иерархизированные, но не идентифицированные даже в отношении семантических ролей, — это элемент системы, словаря, где пропозициональная форма есть план содержания глагола.

3. От набора пропозиций с их рамками, операторами необходимо перейти к синтаксическому представлению высказывания и его лексическому наполнению. Мы не будем обсуждать этап глубинного синтаксиса, сущность которого заключается, по всей вероятности, в том, что синтаксические структуры в виде элементарных предикативных конструкций максимально воспроизводят семантические структуры пропозиций (см. гл. III, п. 1). Переход от глубинного синтаксиса к поверхностному осуществляется за счет трансформаций, в частности, операции редукции (опущения), когда «вычеркиваются» элементы, не под-
/241//242/лежащие поверхностному выражению [Бергельсон, Кибрик 1980], на основании анафорических связей и целого ряда иных факторов.

3.1. Во многих работах можно найти мысль о том, что в синтаксисе⁵ важны две операции: отбор единиц из словаря (слов) и их комбинирование; первая связана с номинативным аспектом, вторая — с собственно синтаксическим. Каким образом эти представления применимы к реальным процессам порождения речи? Действительно ли синтаксический компонент речеворения заключается в том, что человек отбирает слова из словаря и комбинирует их по правилам грамматики данного языка?

Разумеется, любой ответ будет сугубо гипотетическим, поскольку у нас нет способов непосредственно проникнуть в «механику» речепроизводства. Тем не менее, некоторые предположения могут быть сделаны.

Простая схема, исходящая из подбора слов и компиляции из них высказываний, плохо согласуется с положением об уровне характере речевой деятельности. Процесс построения высказывания, его синтаксиса, должен быть управляем семантическим уровнем, на котором представлена основная смысловая структура будущего высказывания. От

⁵ Термин «синтаксис» в таких случаях употребляется в очень широком смысле — как процесс построения высказывания, но в то же время и в очень узком — поскольку сам процесс сводится к отбору и комбинированию слов (в частности, при этом нет места для трансформаций).

характера смысловой структуры и зависит то, каким будет высказывание, в частности, его синтаксис. Но такой структуре — семантической — должна соответствовать структура же — только синтаксическая. Следовательно, говорящий должен подбирать прежде всего не слова, а синтаксическую структуру.

Мысль, согласно которой реальнее «перевод» структуры в структуру — семантической в синтаксическую, а не подбор слов с дальнейшим их связыванием, подтверждается и тем, что слово вне синтаксической конструкции, даже грамматически оформленное, неопределенно и синтаксически и семантически. Семантическим потенциалом, который пригоден для «совмещения» — частичного — с подлежащей выражению семантической структурой, обладает только синтаксическая конструкция в целом.

Эти последние положения, в целом кажущиеся справедливыми, тоже не следует понимать слишком прямолинейно: вряд ли уместно считать, что генерируется абстрактная синтаксическая структура, узлы которой затем заполняются лексемами, а лексемы, в свою очередь, далее принимают необходимые формы (схема, достаточно естественная, вероятно, для «чистой» лингвистики, но не для психолингвистики). Какой характер могла бы носить абстрактная синтаксическая структура? Всякая структура — в этом смысле — есть набор элементов, связанных определенными отношениями. Проще всего говорить об абстрактной синтаксической структуре, если существуют абстрактные элементы-единицы типа традиционных подлежащего, дополнений и т. п. Тогда такая структура — это, например, П — Д — С («подлежащее — дополнение — сказуемое») и т. п. Но мы видели, что сущности, называемые «подлежащее», «дополнение», совсем не просто поддаются экспликации и вряд ли могут служить категориями, заполняющими узлы гипотетических абстрактных структур, которые налагаются в процессе речепорождения на структуры семантические. Синтаксическая структура (конструкция) — множество словоформ, помеченных направлением зависимости; при этом каждый член структуры охарактеризован с точки зрения категориальной принадлежности. Лишь структура в целом, напомним еще раз, обладает соответствующим семантическим потенциалом.

Из сказанного опять-таки следует, что вряд ли реалистичны представления о подборе слов, их компилировании и взаимном согласовании форм сообразно с характером синтаксической структуры: выявив (подобрав) синтаксическую структуру, синтаксическую конструкцию, говорящий тем самым определил формы слов в ее составе.

Что же касается последовательности операций — определения конструкции и ее заполнения конкретными лексемами в нужных формах, — то ее, скорее всего, просто не существует. Обе операции реализуются одновременно, параллельно. Дело, в том, что способ существования в

языковых механизмах человека автономных синтаксических структур, вероятно, достаточно специфичен. Можно предположить, что в системе представлены не столько сами структуры наподобие $N_{nom} — V — N_{acc}$ (вряд ли человек оперирует какими-то аналогами лингвистических символов N_{nom} , V , N_{acc} и т. п.), сколько способность оценивать, правильность порождаемых (порожденных) структур, т. е. прежде всего знание о том, что и каким образом сочетается, а что — нет. Способность оценки (акцептор результата действия по П. К. Анохину [Анохин 1970]) не предполагает, вообще говоря, неперменного наличия образца, эталона для сличения. Достаточно, если известны правила с заданным результатом и существует механизм контроля за соблюдением правил. Например, предлог *у* требует родительного падежа, поэтому *у сестры* приемлемо, а *у сестре* (для литературного языка) — нет.

Впрочем, проблема далека еще от сколько-нибудь полной ясности. Не исключен и такой вариант, когда акцептор результата действия представлен фреймом с терминалами, заполненными типичными, наиболее частотными и т. п. категориями (см. об этом в гл. I).

Принципы протекания процессов синтаксирования при речепорождении, по всей вероятности, во многом аналогичны основным механизмам распознавания при восприятии речи (см. об этом в следующем разделе). А именно, производится очень быстрый перебор разных конфигураций, составленных из словоформ, пока одна из них не будет удовлетворять одновременно и смысловому заданию: оно диктуется выходом семантического компонента, и правилам (возможно, и фреймам-образцам), которыми руководствуется акцептор результата действия. Однотипность работы механизмов порождения и восприятия речи об-
/243/244/ладает большой приспособительной ценностью, поэтому уже возможность ее установления говорит в пользу развиваемых здесь представлений.

3.2. Выше говорилось о синтаксической структуре как о множестве словоформ, помеченных направлением зависимости. Такого рода синтаксическая структура явно не обладает еще окончательным видом в том смысле, что в тексте должно быть представлено не просто множество, а цепочка (кортеж) словоформ. Иначе говоря, необходимы особые процедуры линеаризации синтаксического графа. В синтаксисе эта проблема имеет давнюю традицию как вопрос о порядке слов. К сожалению, от рассмотрения словопорядка мы вынуждены были отказаться в главе «Синтаксический компонент языка», лишь очень коротко скажем и об операциях линеаризации.

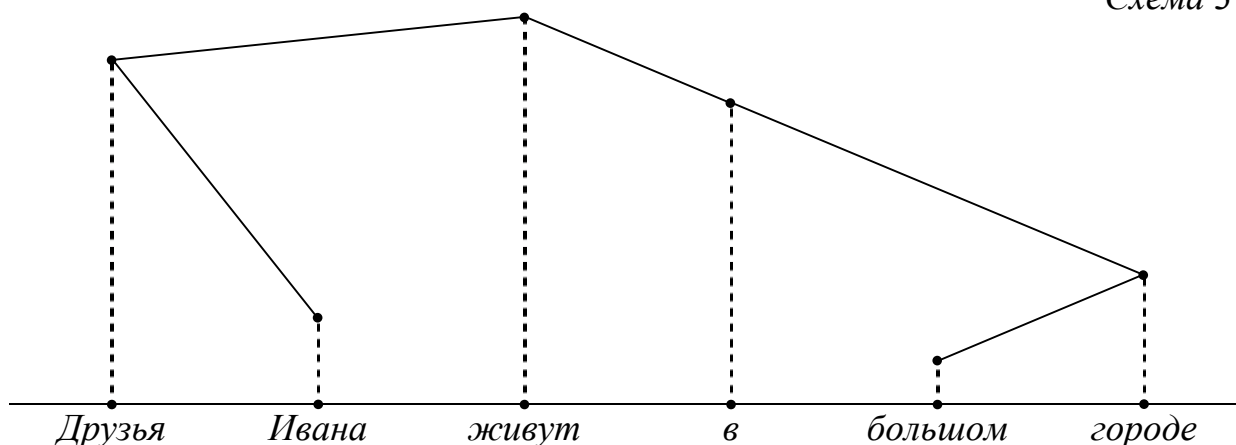
Эти операции управляются, как известно, различными по своей природе закономерностями. С одной стороны, существуют более или менее жесткие правила линейного распределения актантов, когда, скажем, синтаксическая функция ядерной синтаксемы полностью предопределяет

ее конечное положение в высказывании, как в монгольских или тибето-бирманских языках. С другой стороны, порядок может определяться семантикой, ср. примеры типа *три метра* и *метра три* или роль начальной позиции для тематизации. Существует и ряд других факторов, влияющих на порядок слов, прежде всего прагматических.

Иначе говоря, линейная структура высказывания регулируется отчасти собственно-синтаксической структурой, отчасти семантикой и прагматикой. Имеются и закономерности, относящиеся к линейному синтаксису как таковому, когда, например, из двух определений количественное должно предшествовать качественному (или наоборот), и т. п.

Поскольку, как можно видеть, сама по себе синтаксическая структура часто не содержит полной информации о структуре линейной, предлагаются специальные способы ее формального представления, когда синтаксическое дерево зависимостей строится так, чтобы отразить и порядок слов [Гладкий 1985; Падучева 1964] (см. схему 3). Если учесть, что словопорядок автоматически отражается в дереве НС, то в каком-то смысле можно сказать, что представление типа приведенного на схеме 3 вносит элемент НС-грамматики в грамматику зависимостей. Ясно, что такое представление уже может служить основой для перехода к тексту при порождении речи.

Схема 3



ВОСПРИЯТИЕ РЕЧИ

4. Восприятие речи изучено, пожалуй, относительно более глубоко в сравнении с речепорождением, к тому же интересы автора в большей степени связаны с этой стороной речевой деятельности. Поэтому данный раздел дает более детальное освещение проблемы.

Уже в самом начале следует затронуть вопрос о «направлении» восприятия. Еще сравнительно недавно этот вопрос практически не возникал: представлялось само собой разумеющимся, что стадии

восприятия речи упорядочены по принципу «снизу вверх», когда человек сначала перекодирует поступающую акустическую информацию в цепочку дискретных элементов — фонем, снабженную определенными просодическими метками типа ударения, затем фонемы организуются в некоторые блоки, соответствующие экспонентам слов (или, возможно, морфем), между ними устанавливаются синтаксические связи и в конечном итоге выясняется смысл высказывания⁶.

Схема, приблизительно описанная выше, казалась не только естественной, но и единственно возможной: ведь слушающий «на входе» действительно не имеет ничего, кроме акустической информации, от которой и приходится отправляться, чтобы «на выходе» получить смысл.

В последнее время все большее распространение получили идеи о возможности и другого типа восприятия, организованного по принципу «сверху вниз». Как и в некоторых других наших работах, мы будем в дальнейшем говорить о восходящем и нисходящем восприятии соответственно.

4.1. По-видимому, одним из первых толчков к смене представлений о направлении восприятия речи послужили данные о разрешающей способности слухового анализатора человека. Согласно этим данным, пофонемное восприятие, которое лежит в основе восходящей модели, просто невозможно: сегменты, отвечающие фонемам и их сочетаниям, сменяют друг друга в речевом потоке с такой скоростью, каждый из них несет столько подлежащей обработке в единицу времени информации, что человек с таким объемом информации справиться объективно не может [Либерман и др. 1967]⁷. Следовательно, необходимо предположить существование перцептивного механизма, который бы каким-то образом квантовал речевой поток на сегменты более крупные, ~~нежели~~ /245//246/ ли отвечающие отдельным фонемам, и уже этими отрезками оперировал. Такой подход хорошо соответствовал бы и положениям психологии, в которых утверждалось, что человеку вообще свойственна тенденция к укрупнению единиц восприятия: с приспособительной точки зрения человеку «выгодно» воспринимать информацию настолько крупными блоками, насколько это возможно без потери каких-то существенных ее аспектов. Этим достигается быстрое действие и эффективность работы

⁶ Ср., например, высказывание Д. Нормана: «...Обычно считают, что восприятие речи предполагает уровни абстракции. Например, звуки речи перекодируются в фонемы, а фонемы — в слова» [Norman 1980: 338].

⁷ Правда, Д. Клатт ссылается на неопубликованные данные Либермана и Накатани, согласно которым испытуемые в состоянии транскрибировать с точностью, превышающей 90 %, незначительные слова, составленные по правилам английской фонотактики и включенные в предложения [Klatt 1980: 243]. Однако без описания программы и условий эксперимента трудно судить о том, как следует интерпретировать эти данные (ср. ниже, прим. 11).

перцептивных механизмов, хотя обратной стороной выступает утрата точности (вернее, детальности) восприятия и определенная возможность ошибок [Грановская 1974].

Наиболее просто было предположить, что такой укрупненной единицей восприятия может служить слово. Именно применительно к слову обнаруживаются важные закономерности, связанные с его строением, оформлением, для слова действительны корреляции внешних, фонетических, и внутренних, семантических, признаков, наконец, слово определенно обладает «субъективной ценностью» для носителя языка, который язык и речь склонен воспринимать именно как «слова». Неудивительно, что слово у ряда авторов выдвинулось в центр языкового материала, который изучается в рамках анализа проблем восприятия речи, и во многом слово занимает эти позиции до сих пор.

Одновременно ясно, что признание за словом роли единицы, с которой прежде всего имеет дело слушающий, и явилось появлением в теории восприятия речи существенного элемента нисходящего восприятия в отличие от восходящего: по крайней мере для данного «участка» перцептивных процессов признавалось движение от единицы более высокого уровня, слова, к единицам более низкого уровня — фонемам.

Этот ответ на теоретические затруднения, одно из которых было кратко описано выше (ограниченность разрешающей способности слухового анализатора человека)⁸, лишал, однако, картину восприятия былой простоты и ясности. Приходилось допустить, что существует своего рода алфавит слов как целостных единиц либо (с большей степенью реалистичности) алфавит признаков слов как таких единиц; в то же время число работ, в которых эксплицитной целью ставилось бы обнаружение данного алфавита было — и остается — относительно незначительным (см., например, [Штерн 1981] и некоторые другие работы).

Признание алфавита слов делает неясным статус более традиционного алфавита — фонемного. Если слова распознаются не «через» фонемы, а как целостные единицы, то в чем тогда роль фонем? Целый ряд исследователей пришел к выводу о том, что фонеме, соответственно, в реальных речевых механизмах ничего не отвечает, что это — фиктивная единица, не более чем чисто теоретический конструкт (скорее в дерогативном употреблении этого термина), используемый лингвистами для создания более простых моделей (ср., например, [Ludtke 1969; Marcel 1980]). При других [/246/ /247/](#) вариантах дезавуирования фонемы допускалось, что в терминах фонем записаны единицы словаря, опять-таки в целях использования экономного кода, но в речевой деятельности

⁸ Мы не описываем здесь соотношение концепций, смену одних из них другими с точки зрения истории науки, речь идет, скорее, о возможном логическом соотношении различных подходов, большинство из которых сосуществуют и в настоящее время.

фонема реального участия не принимает. Чтобы проиллюстрировать такого рода подход, приведем довольно длинную цитату, принадлежащую известному специалисту в области распознавания речи: «...Фонемы в некотором смысле синтетические образования, они выводятся как следствие распознавания и идентификации более крупных структур. [...] В чем же тогда заключается роль индивидуальных фонем, если они не воспринимаются как таковые в речи, а производятся как следствие распознавания слогов⁹ и слов? Создается впечатление, что, будучи полезными конструктами для транскрибирования и анализа [слов], фонемы не имеют коррелятов в восприятии речи (they are without direct perceptual basis). Возможно, как предлагают считать некоторые лингвисты (например, Людтке¹⁰), фонемы — фиктивные единицы, основанные на алфавитном письме. Разумно и полезно исходить при составлении алфавита из ограниченного числа дискретных артикуляторных типов, которые носители языка могут идентифицировать, когда речевые произведения произносятся медленно и отчетливо (analytically). [...] Похоже [однако], что они не соответствуют какой бы то ни было стадии в структуре перцептивного процесса, ведущего к пониманию речи. Многие излишние трудности, как представляется, появились в теориях речевосприятия именно из-за смешения единиц транскрибирования с единицами восприятия речи» [Warren 1976: 711].

В этой книге мы не занимаемся специально фонологическими аспектами восприятия (см. об этом [Касевич 1983: 198 и сл.]. Здесь отметим лишь, что рассуждения типа приведенного выше вызывают серьезные возражения. Во-первых, если фонемы — действительно фиктивные единицы, перцептивно иррелевантные, то трудно оправдать их сохранение в теории; одних соображений относительно удобства и полезности при транскрибировании, конечно, недостаточно. Во-вторых, авторами существующих алфавитов в абсолютном большинстве случаев были не теоретики-лингвисты, исходящие из представлений об экономности диакритических средств, а проницательные практики — носители языка (в ряде случаев с гениальной языковой интуицией), они с неизбежностью должны были ориентироваться на те единицы, которыми реально оперировали именно в своем качестве носителей языка. Наконец, в-третьих, говоря о том, что носители языка могут идентифицировать фонемы («дискретные артикуляторные типы») в медленной и отчетливой речи, автор приведенного высказывания объективно признает, что по крайней мере в некоторых режимах речевой деятельности носитель языка

⁹ Мы оставляем в стороне представления о слоге как единице восприятия речи, этот вопрос довольно подробно освещался в наших предыдущих работах [Касевич 1983 и др.].

¹⁰ Имеется в виду статья Л. Людтке, опубликованная в 1969 г. в журнале «Фонетика» [Ludtke 1969].

все же пользуется фонемным кодом (алфавитом), которому, стало быть, нельзя отказать в реальности¹¹.

4.2. Вопрос об обоснованности концепции восприятия по принципу «сверху вниз» не сводится, однако, к выяснению соотношения слова и фонемы. Концепция нисходящего восприятия имеет и более широкое прочтение, согласно которому процесс восприятия в принципе начинается с гипотезы о семантической характеристике воспринимаемого высказывания, затем эта гипотеза верифицируется и одновременно конкретизируется путем обращения к информации, относящейся к свойствам, признакам единиц нижележащих уровней [Касевич 1983].

Такой подход также хорошо согласуется с некоторыми основополагающими идеями психологии, философии, нейрофизиологии. Известно, что восприятие обычно проходит стадии от грубого, абстрактного представления объекта до конкретного перцепта, воспроизводящего все богатство воспринимаемого «с точностью до актуальной установки». По существу, так же обрисовывается процесс познания в философии (гносеологии), что со времен К. Маркса принято определять как «восхождение от абстрактного к конкретному». Наконец, достаточно широко известны теории Н. А. Бернштейна, П. К. Анохина и др. об антиципирующем характере любой деятельности, в особенности же когнитивной, перцептивной.

Пожалуй, специфика восприятия речи во многом заключается в том, что слушающему приходится иметь дело с объектом — текстом, который по природе своей динамичен: текст развертывается во времени, и восприятие должно быть непременно текущим, в каждый данный момент времени слушающий имеет дело с некоторым фрагментом находящегося в процессе становления объекта (текста), в то время как распознаванию подлежит весь объект в целом¹².

Излагаемая концепция порождает свои вопросы. Рассмотрим основные из них, на некоторые давая предварительные ответы, некоторые же формулируя как задачи для дальнейшего исследования.

¹¹ Оговорка относительно «медленной и отчетливой» речи важна: учитывая данные об ограниченности разрешающей способности слухового аппарата человека, которые упоминались выше, естественно предположить, что при уменьшении количества информации, передаваемой медленной речью в единицу времени, указанная ограниченность соответственно в меньшей степени препятствует использованию фонемного кода.

¹² Конечно, человеку вообще приходится сталкиваться прежде всего с процессами, т. е. с некоторыми изменяющимися состояниями внешней действительности; однако эти состояния все же в типичном случае присущи объектам, сохраняющим тождественность себе: в каждый последующий момент воспринимающий некоторую ситуацию человек имеет дело с другим состоянием того же объекта. /288//289/

4.2.1. На основании чего выдвигается гипотеза о возможном содержании высказывания? По-видимому, здесь играют очень большую роль ситуативные факторы, о чем свидетельствует, например, известный эксперимент Брюса, когда испытуемым предлагали одну и ту же зашумленную запись речи, предварительно сообщая, о чем пойдет в ней речь, и испытуемые «слышали» совершенно разные высказывания в зависимости от установки, формируемой сообщением экспериментатора [Bruce 1956]. Разумеется, чрезвычайно важны и фоновые знания воспринимающего речь человека и т. д. и т. п. Что же касается тех «опорных точек» для выдвижения предварительной гипотезы о содержании сообщения, которые имеются в самом воспринимаемом тексте, то к ним нужно в первую очередь отнести просодические признаки последнего: интонацию, ритмические структуры [Касевич 1983]; вероятно, велико значение опоры на ключевые слова, которым тоже свойственна просодическая специфичность [Касевич 1986a]. Несколько подробнее этот вопрос будет освещен ниже. Пока же нам важно оговорить, что принцип нисходящего восприятия, конечно, не означает некоторого «мистического» проникновения в смысл сообщения «поверх» его материального субстрата. Элементы материального субстрата — фактического звукового оформления текста — безусловно играют решающую роль, вместе с информацией о ситуации речевого акта и фоновыми знаниями, в формировании начальной семантической гипотезы.

Сам по себе факт выдвижения гипотезы тоже можно толковать двояким образом. Первое толкование — вариант теории анализа через синтез: человек порождает не столько гипотезу о содержании высказывания, сколько само высказывание, и затем проверяет на совпадение с этим последним характеристики реального сообщения, подлежащего распознаванию. Такой подход может быть полезным для автоматического распознавания речи, преимущественно при резком сужении круга сигналов, на которые должна реагировать система: система генерирует некоторый сигнал, и все поступающие на ее вход сигналы извне проверяются на сходство с этим последним по какому-то набору признаков; при достижении сходства, соответствующего определенному пороговому значению, система реагирует заданным образом.

Нам ближе второе возможное толкование положения о гипотезе, с которой начинается процесс восприятия речи: оно, как, собственно, уже в общих чертах говорилось выше, заключается в том, что на первых стадиях восприятия речи человек определяет лишь самые общие, грубые, абстрактные характеристики высказывания (например, его отнесенность к типу повествовательных/вопросительных/побудительных и некоторые другие). Эти характеристики подлежат уточнению, конкретизации, развитию, а, возможно, и корректированию, — и в этом смысле представляют собой гипотезу. Гипотеза и при данном толковании носит

семантический характер: слушающему свойственна тенденция кратчайшим путем «выходить» на смысл сообщения, и те первые характеристики сообщения, которые упоминались выше, уже несут черты будущей семантической конструкции.

4.2.2. Если начальные этапы восприятия речи связаны с выдвиганием гипотез, семантических по своей природе, то как человек воспринимает новые, незнакомые, тем более — просто бессмысленные слова и целые высказывания? Нередко приходится сталкиваться с тем, что сама способность человека идентифицировать неосмысленные (для него либо объективно) высказывания доказывает ошибочность концепции нисходящего восприятия. В действительности, однако, эти факты, сами по себе несомненные, ей не противоречат. Дело в том, что нулевой гипотезой восприятия речи всегда выступает презумпция осмысленности: любое речевое произведение человек сначала пытается интерпретировать как осмысленное, подыскивая для него ту или иную семантическую интерпретацию. Лишь убедившись в неэффективности такого рода попыток (или же зная заранее, что он имеет дело с чем-то несемантизуемым), слушающий меняет стратегию и переходит к более детальному анализу акустической информации, идентифицируя в конечном итоге слышимое как определенную последовательность фонем. Даже и в этом случае общая направленность «сверху вниз» сохраняется: во-первых, как сказано, человек в любом случае начинает с семантической гипотезы, пусть и отвергая ее, а, во-вторых, распознавание бессмысленных звуковых последовательностей тоже проходит путь от грубого представления с опорой преимущественно на просодические характеристики и лишь затем — и на основе этой информации — происходит дальнейшая конкретизация сигнала как цепочки фонем [Касевич 1983].

Нельзя также преувеличивать способность человека воспринимать бессмысленные звуковые последовательности. Каждому по опыту известно, насколько трудно идентифицировать даже собственные имена разного рода (имена, фамилии, географические названия и т. п.), особенно если они выходят за рамки привычного круга. Сколько-нибудь «длинные» асемантические высказывания, в особенности превышающие объем эхоической памяти¹³, человек, как правило, воспроизвести — очевидно, и распознать — просто не может. Возможность оперирования фонемным кодом как кодом единственным, даже фонемным кодом с участием просодических средств, у человека, можно полагать, носит достаточно

¹³ Эхоической (по аналогии с иконической для зрительного восприятия) некоторые авторы называют такую память, которая обеспечивает более или менее точный образ-слепок звукового сигнала, существующий лишь очень недолгое время — 2–3 с — сразу же после принятия сигнала (см., например, [Crowder, Morton 1969]).

ограниченный характер; хотя человек все же располагает такой возможностью, она используется лишь в очень узком кругу ситуаций.

4.2.3. Как и в лингвистике, в исследованиях по восприятию речи специалисты редко выходят за рамки высказывания. Между тем, человек заведомо способен воспринимать текст теоретически неограниченной протяженности. Коль скоро это так, восприятие речи никак не может носить исключительно нисходящий характер: его единицей, разумеется, не будет выступать целостный текст неопределенно большого объема, семантическая структура такого текста будет «собираться» из семантических структур некоторых «подтекстов» — фрагментов, распознаваемых текущим образом. А это значит, что необходимо сочетание нисходящего и восходящего восприятия.

5. Признание данного непреложного факта заставляет сформулировать подлежащие решению проблемы следующим образом. Каково соотношение стратегий нисходящего и восходящего восприятия в речевых актах разных типов? Каковы верхний и нижний пределы для единиц языка, использующихся как единицы восприятия? Иначе говоря, в терминах каких самых крупных и самых мелких единиц человек способен воспринимать речь в режиме нисходящего и восходящего восприятия? От чего зависит выбор единицы, выступающей как самая крупная (самая мелкая)? Каким образом осуществляется переход от крупных единиц к мелким и наоборот?

Во избежание недоразумения, возможно, следует упомянуть, что, говоря о крупных и мелких единицах, мы имеем в виду не /250//251/ столько их физический формат, сколько степень структурной сложности, принадлежность к более высоким / более низким уровням языкового механизма.

Само собой разумеется — оговоримся еще раз, — что ответы на вопросы, поставленные выше, сегодня во многом будут носить гипотетический характер (а применительно к части вопросов мы ограничиваемся их постановкой). Хотя в литературе можно найти огромное количество экспериментального материала, имеющего то или иное отношение к интересующим нас проблемам, материал далеко не всегда поддается однозначному истолкованию: эксперименты редко ставятся таким образом, чтобы решаемая частная задача мыслилась как фрагмент некоторой общей концептуальной схемы.

5.1. Функциональный подход ко всему, связанному с языком и речевой деятельностью, предполагает и для восприятия речи выдвижение обычного вопроса о целях и средствах соответствующего процесса. Вполне очевидно, что целью является установление смысла сообщения. Но даже такое простое и, казалось бы, самоочевидное утверждение в действительности не есть лишь констатация факта, ибо желательно определить, что значит «установить смысл сообщения». Обсуждая

вопросы семантики, а затем порождения речи, мы видели, что уже семантика может быть представлена на разных уровнях: это и пропозициональная структура, и темо-рематическая, и диффузный личностный смысл. Не приходится удивляться тому, что и в существующих концепциях восприятия речи, памяти можно встретить разные мнения о том, что же собой являет смысл, который слушающий (читающий) извлекает из текста. Согласно одним авторам, понять текст — это установить его пропозициональную структуру, которая лежит в основе любого текста. Чаще считают, что эта структура, называемая «базой текста» (text base), не сводится к простой последовательности пропозиций, соответствующих отдельным высказываниям текста, а представляет собой макроструктуру, в которую индивидуальные пропозиции входят на правах членов, вступающих в определенные иерархические отношения [Kintsch 1974]. Для возникновения макроструктуры считают важным и использование фоновых и выводных знаний. Первые заполняют смысловые лакуны, неизбежные практически в любом тексте, вторые — элемент упорядоченности, вносимой субъектом восприятия, а также выведение им тех или иных следствий (инференций) из пропозиций и их сочетаний¹⁴.

На реальность последних положений указывают некоторые экспериментальные данные. Так, из риторики, которая в настоящее время переживает своего рода ренессанс [Дюбуа и др. 1986], известно, что существует «грамматика» различных жанров, причем не только профессионально-литературных, но и «бытовых» наподобие рассказа о путешествии и т. п. Такой смысловой грамматикой имплицитно владеет любой носитель языка, выражается она /251//252/ в правилах семантической упорядоченности текста. Эксперименты показывают, что текст, отвечающий правилам семантико-риторической грамматики, воспринимается, запоминается и воспроизводится лучше, чем текст, в котором нарушены соответствующие правила, закономерности [Fraugud, Hellman 1985b; Kintsch, Dijk 1978].

Аналогично, если испытуемым сообщается предварительно название рассказа, который им предлагается прослушать и затем пересказать, то они справляются с задачей лучше, чем когда название отсутствует. Ухудшение восприятия имеет место и тогда, когда название неточно отражает основную тему, основное содержание рассказа [Fraugud, Hellman 1985a] (см. также [Якобсон 1985]). Поскольку название — своего рода вершина семантической иерархии, приведенные данные говорят именно в пользу процесса иерархизирующего структурирования, который осуществляется слушающим (читающим) при восприятии текста, при извлечении его смысла.

¹⁴ Так, по словам Даля, «повествовательный текст, т. е. текст, состоящий из утверждений, — это инструкция [слушающему] построить картину, или модель, чего-либо, относящегося к этому миру» (цит. по [Fraugud, Hellman 1985a: 5]).

5.2. Согласно Ф. Джонсон-Лэйрду, структура пропозиций — лишь один из видов «семантической записи», которой пользуется человек при восприятии текста и для сохранения результатов этого процесса в памяти. Два других вида — это «ментальные модели» и образы [Johnson-Laird 1983]. Статус последних наименее ясен, хотя утверждается, что имеет место отображение пропозициональных структур на ментальные модели, а последних — на образы. Что же касается ментальных моделей, то такая модель понимается как непосредственное отражение ситуации, описываемой воспринимаемым текстом.

Гипотеза Джонсон-Лэйрда представляется нам в своих наиболее общих чертах плодотворной. Используемые в ней понятия хорошо коррелируют с лингвистическими, психолингвистическими и психологическими представлениями. Макроструктура семантики текста как иерархия пропозиций плюс фоновые и выводные знания — это расширенная указанными дополнениями система языковых фреймов, действительных для данного текста. Ментальная модель — это система собственно-когнитивных фреймов, перцепт, отвечающий семантике текста. Наконец, образ в описываемой системе можно понимать как смысл — или некую систему смыслов — в духе Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева.

Как можно видеть, здесь присутствуют те же разновидности — они же этапы — отражения, которые предлагалось различать выше для речепорождения, только, естественно, как бы в зеркальном варианте.

5.3. Упомянем еще одно важное обстоятельство. Семантические представления разной когнитивной глубины, о которых здесь шла речь, с одной стороны, сосуществуют, никоим образом не исключая друг друга; в типичном случае это разные стадии переработки одной и той же информации (одного и того же текста). С другой стороны, человек, в зависимости от характера информации и личностных установок, может не пере- /252//253/ кодировать воспринимаемую информацию с использованием всех имеющихся разноуровневых средств. Глубина перекодирования может оказаться минимальной: воспринимающий текст человек сохраняет языковую форму высказываний, если высказывания в чем-то не удовлетворяют привычным фреймам, сценариям. Так, Джонсон-Лэйрд сообщает, что испытуемые запоминают лучше смысл высказываний, отражающих стереотипные (determinate) ситуации, чем их языковую форму, в то время как для высказываний, отражающих нестереотипные, в чем-то необычные ситуации, положение обратное: в этом случае лучше запоминается языковая форма, буквальный состав высказывания [Johnson-Laird 1983: 160–162]. Данные этого рода демонстрируют одновременно и относительную автономность семантики, семантического компонента языка, и гибкость стратегий, доступных носителю языка, отсутствие принудительного набора процедур и операций в процессах восприятия

речи (и, соответственно, хранения информации в памяти и извлечения ее из памяти).

5.4. В излагавшихся представлениях, как можно видеть, пока не нашлось места для темо-рематической структуры высказывания. В действительности это не совсем так. И пропозициональное представление, и ментальная модель — это некоторые структуры, а самая грубая, самая глобальная структура, которую можно приписать любому смысловому образованию (если это не номинация предмета), — структура темо-рематическая: мы можем считать, что постигли «в первом приближении» смысл данного сообщения, если нам ясно, что в нем говорится — и о чем, пусть даже весьма приблизительно. А это и есть сопряжение темы и ремы (= субъекта и предиката) как основных компонентов семантики высказывания, равно и текста.

Коль скоро установление смысла сообщения в определенной степени эквивалентно выяснению его темо-рематической структуры (темы и ремы), то естественно предположить, что уже первой попыткой человека на этапе, когда ему в той или иной мере открыт доступ к информации о смысловых, семантических параметрах текста, будет именно попытка «выйти» на тему и рему: человек и, шире, живой организм, как правило, стремится достичь цели кратчайшим путем из возможных.

Из этого не следует, конечно, что первая стадия речевосприятия и есть установление темы и ремы, скорее, это попытка найти средства установления последних и, если таковые представлены, опереться на них для выяснения темо-рематической структуры.

5.5. Каковы же эти средства, какой характер они могут носить вообще и в различных языках? К этому вопросу мы и перейдем несколько ниже. Сейчас же кажется необходимым отметить, что гипотеза, в общем виде сформулированная нами, существенно отличается от большинства принятых в литературе концепций. Как психолингвисты, так и специалисты по распознаванию речи, в особенности автоматическому, чаще всего исходят из схемы линейного восприятия: даже те из них, которые не стоят на уже устаревающих позициях строго восходящего восприятия, полагают, тем не менее, что любые языковые единицы распознаются в порядке их естественного следования. При этом на восприятие последующей единицы оказывает влияние прежде всего ее левое окружение (предтекст в терминологии некоторых авторов), поскольку его характер налагает ограничения разного рода на тип продолжения речевой цепи; влияние же правого окружения (посттекста) сказывается лишь в небольшой степени или вообще отсутствует.

5.5.1. Существуют и попытки обосновать эти представления экспериментально, в частности, на материале восприятия письменного текста. Так, в ряде публикаций приводятся данные экспериментов, в ходе которых испытуемым предлагалось читать предложения с

омографическими словоформами, грамматическая омонимия которых разрешалась правым контекстом, например: *Волос у тетки на голове было много, Учителя школы-интерната № 7 Лукашевича наградили орденом Ленина*. Согласно данным экспериментов (которые, скорее всего, подтверждаются и восприятием читателя, которому пришлось прочесть вышеприведенные примеры), испытуемые достаточно стабильно идентифицировали первые слова предложений неверно, что легко определялось ошибками в ударении, и (сознательно) вносили поправки, возвращаясь к началу, только тогда, когда доходили до слов, однозначно снимающих омонимию, т. е. *было* в первом примере, *наградили* — во втором и т. п. Из этого был сделан вывод, что правый контекст — практически не влияет на восприятие (а левый — лишь в некоторых определенных случаях, а именно при наличии противопоставления в соседних предложениях и наличии вопросно-ответной структуры) [Мучник 1974а; 1974б].

Между тем автор, материалы которого мы привели, дает следующее описание процесса восприятия при чтении: «Психологически дело представляется таким образом: вначале читающий ощущает связь читаемого слова с предшествующим (т. е. понимает, что читаемое слово, или, точнее, слово, к чтению которого он только что приступил, зависит от предшествующего слова, относится к нему), а затем в зависимости от этой связи понимает читаемое слово в том, а не ином значении, т. е. в значении, обусловленном связью читаемого слова с предшествующим словом» [Мучник 1974б: 100]. Как можно видеть, по крайней мере по отношению к левому контексту объективно признается, что читающий сначала устанавливает в качестве предварительной оценки некоторые структуры на материале более протяженном, нежели одно слово.

Что же касается экспериментальных результатов по выявлению роли правого контекста, то их трактовка тоже не должна быть столь прямолинейной. Надо учитывать, что процесс /254//255/ восприятия речи, как устной, так и письменной, включает с необходимостью элемент выдвижения гипотез с их дальнейшим верифицированием — подтверждением или, наоборот, корректированием, заменой. Одна из важнейших гипотез — выбор одного из слов или словосочетаний на роль элемента, отвечающего теме. Как более подробно будет говориться ниже, одним из характерных свойств таких слов, словосочетаний, — вероятно, универсальных, — выступает начальное положение в высказывании вместе с грамматической немаркированностью (если в языке не предусмотрены специальные средства выделения темы с помощью особых показателей). Два важных следствия вытекают из сказанного: во-первых, операция по вычленению слова-темы относительно независима, слушающий (читающий) должен в качестве отдельного шага анализа установить, о чем пойдет речь — отсюда и определенная независимость

темы по отношению к правому контексту; во-вторых, начальное в высказывании слово, которое формально допускает интерпретацию в качестве номинативной словоформы, всегда будет предпочтительно восприниматься как тема. Именно действие данных тенденций и объясняет, можно думать, те экспериментальные данные, которые приводились выше.

Среди этих данных присутствовали и ошибки на материале иного характера. Ср. предложение *Название сорта ему ничего не говорило о принадлежности к той или иной плодовой породе, а по внешнему описанию сорта вишни и черешни очень сходны*, где испытуемые систематически читали *сорта*, а затем поправляли себя, изменяя ударение и словоформу — *сортá* [Мучник 1974b: 105–106]. В данном случае и объяснение должно быть несколько иным, хотя в принципе сходным: в приведенном предложении словоформа *сорта* естественно заполняет валентность отглагольного имени *описание* (здесь *описанию*), к тому же напрашивается способствующий такой интерпретации семантико-синтаксический параллелизм с элементом противопоставления: *название сорта — внешнее описание сорта*; позиция темы следующего предложения — опять-таки, по общему правилу, инициальная — при таком прочтении «отходит» словосочетанию *вишни и черешни*, что и дает по крайней мере стилистически ущербную концовку, заставляющую читателя пересмотреть первоначальную гипотезу.

В связи с последним примером можно выдвинуть еще одно соображение — вернее, развить уже упомянутое выше. Среди подлежащих решению важнейших проблем значился вопрос о единицах восприятия речи. Вполне очевидно, что эта проблема самым непосредственным образом связана с механизмами членения речевого потока, текста на определенные отрезки. Забегая несколько вперед, можно сказать, что такие отрезки, их границы во многом определяются валентностными свойствами слов и их сочетаний: граница в типичном случае проводится там, где кончается сфера действия валентностей. Поэтому в фигурировавшем выше примере — *по внешнему описанию сорта* — это, так сказать, валентностно-естественное сочетание, оно удовлетворяет тенденции устанавливать максимального объема группы по валентностным потенциям.

Заметим, кстати, что из изложенного не следует с необходимостью пословно-цепочечный анализ: валентностно ориентированные границы могут устанавливаться и без детального анализа элементов выделенных групп, к чему слушающий (читающий) прибегает в случае необходимости как к следующему этапу; возможно, видимо, и использование некоторых процедур анализа, симультанного членению (подробнее см. об этом [Касевич 1983]).

5.5.2. Попытки обосновать линейность речевосприятия предпринимались и с позиций теории функциональных систем П. К. Анохина. Речь при этом понимается как «сцепление ассоциаций» [Аминев 1972: 13 и др.], в плане восприятия это истолковывается таким образом, что, например, распознавание 3-го слова в предложении из трех слов «есть результат синтеза ... первых двух слов, или афферентного синтеза по Анохину. Первое слово несет функцию источника опережающего возбуждения, второе слово — пускового возбуждения. Синтез этих двух систем возбуждений приводит к актуализации третьего слова» [Аминев 1972: 100]¹⁵. Иерархия в данной схеме присутствует лишь как организация словаря: «Словесные центры соединяются при помощи нейронов связи 1-го порядка по механизмам конвергентного замыкания временной связи. Допускается, что нейроны связи 1-го порядка в свою очередь также могут быть синтезированы при помощи нейронов 2-го порядка и т. д. Таким образом, мы получаем целую систему ассоциативных уровней, состоящих из нейронов связи разных порядков» [Аминев 1972: 135].

Что касается словаря, то подобная картина, вполне возможно, в какой-то степени приближается к действительности. Но в любом случае она не заменяет представлений об иерархичности речевой деятельности, в частности, восприятия речи, без чего нельзя рассчитывать на сколько-нибудь адекватное понимание этих сложнейших процессов. Следует упомянуть также, что с формальной точки зрения представление речи как «сцепления ассоциаций» близко ее моделированию как марковского процесса, где линейная цепочка описывается исчерпывающим образом распределением условных вероятностей. Но описание речи как марковского процесса упрощает реальную ситуацию до такой степени, что фактически лишает исследователя возможности проникнуть в закономерности речепроизводства и речевосприятия, даже строения текста как такового. Это убедительно показал Н. Хомский [Хомский 1961] (см. также [Миллер и др. 1965: 156–157]).

5.5.3. В какой-то степени близкие представления можно найти и в некоторых работах по автоматическому распознаванию речи, причем их авторы склонны переносить постулируемые и частично воплощаемые в действующих моделях закономерности на процессы естественного речевосприятия. Так, описывая эти /256//257/ процессы на примере

¹⁵ В терминах Н. А. Бернштейна [Бернштейн Н. А. 1966: 59 и сл.] — если отвлечься от того, что Бернштейн описывал двигательную (моторную), а не перцептивную (сенсорную) активность — эта схема соответствует «гипотезе цепочки», где каждое последующее движение есть реакция на предыдущее, в отличие от «гипотезы гребенки», где вся «двигательная энграмма» периферии осуществляется под контролем высшего уровня.

восприятия предложения *Tell the gardener to plant some more tulips*, Р. Коул и Й. Якимик пишут: «...Когда человек слышит начало этого предложения, все возможные слова, начинающиеся на /tɛl/, сразу же активируются как кандидаты на [воспринимаемое] слово, [...] включая *tell*, *television*, *telephone* и т. д. Следующий слог, /ðə/, устраняет все кандидатуры, кроме *tell*, поскольку не существует английских слов, начинающихся на /tɛlð/, и нет какого-либо еще способа сегментации на слова, который давал бы /tɛlðə/. Распознавание *tell* ведет к тому, что /ðə/ принимается как начало следующего слова» и т. д. [Cole, Jakimik 1980: 134–135].

Возможно, такая процедура реалистична для автоматической системы со словарем небольшого объема, которая сканирует поступающий на вход текст, механически членя его на отрезки заданной длительности или, скажем, перекрывающиеся дифоны — от одного вокального пика до другого, как в модели Д. Клатта [Klatt 1980]. Более того, сходный путь восприятия можно предположить для ситуации, когда распознаванию подлежит предварительно выделенное каким-то образом слово или словосочетание¹⁶, — в частности, то же слово-тема. Для нормального же «человеческого» восприятия речи, взятого в целом, строго последовательное, линейное восприятие оказалось бы крайне неэкономным, громоздким и, в сущности, мало «осмысленным». Все, известное нам о психике человека, — его склонность к использованию эвристик, к опережающему отражению действительности, к построению многоуровневых процедур с возможностью обходиться обращением к высшим уровням, — все это говорит против гипотез, которые кладут в основу механический перебор некоторых единиц (слов), ограниченный лишь априорными и апостериорными вероятностями.

6. Итак, как мы уже говорили выше, более реалистичной мы считаем гипотезу, согласно которой воспринимающий речь человек не есть своего рода следящая система, более или менее пассивно реагирующая на речевой сигнал по мере его развертывания во времени; напротив, человеку свойствен активный поиск в пространстве текста с целью установить его смысловую структуру на возможно более ранних этапах процесса речевосприятия. Мы уже выдвинули, далее, предположение о том, что одним из первых шагов может быть поиск темы сообщения. В связи с этим хотелось бы привлечь и высказанную в иной связи идею Э. Л. Кинэна (уже упоминавшуюся выше) о «выражениях автономной референции». По мнению Кинэна, в любом ядерном (basic) предложении¹⁷ выделяется именная группа, референт которой может быть определен слушающим

¹⁶ Впрочем, Коул и Якимик постулируемую ими процедуру мыслят как стратегию, которая одновременно обеспечивает сегментацию на слова и их идентификацию.

¹⁷ Под ядерным предложением Кинэн имеет в виду такое, форму которого нельзя представить как производную от другого предложения (других-предложений) [Keenan 1976: 88].

безотносительно к референтам других именных групп¹⁸. Такая именная группа «либо непосредственно относится к объекту, физически представленному в речевой ситуации, либо отсылает к объекту, который уже идентифицирован (или о котором известно, что он существует)» [Keenan 1976: 88]. Как нам представляется, слово, отвечающее теме, и является в типичном случае «выражением автономной референции»: последнее мыслится как точка отсчета, по отношению к которой устанавливаются референтные связи в высказывании, но ведь и тема должна быть такой же точкой отсчета, поскольку именно с нее «все начинается»; прежде чем передавать некоторую информацию, необходимо сообщить, о чем эта информация.

Естественно обратиться к тому, какими формальными признаками в тексте обладают слова, отвечающие теме. Если такие признаки существуют, то задача отыскания темы становится вполне разрешимой.

6.1. В языках существует не менее четырех способов маркирования темы, на которые может опереться воспринимающий речь человек. Это позиционный, грамматический, лексический и фонетический способы. Первый и последний из них, можно думать, являются универсальными, в то время как остальные два представлены в одних языках, но отсутствуют в других.

6.1.1. Позиционный, естественно, заключается в том, что в типичном случае тема тяготеет к инициальной позиции. Это, можно полагать, действительно для всех или почти всех языков, особенно не обладающих специальными маркерами темы¹⁹. В последних, впрочем, — как, например, в японском, — эта закономерность тоже наблюдается достаточно часто. Нужно только иметь в виду, что инициальная позиция — это чаще всего первая из именных позиций. Иначе говоря, там, где «физически» начальная позиция правилами синтаксиса закреплена за глагольными словами (как в языках с порядком слов VSO) или разного рода сирконстантами, слово-тема будет следовать за ними, но предшествовать остальным именным группам²⁰.

¹⁸ Кинэн полагает, что каждый язык обладает средствами (такими, как падежные показатели, порядок слов и др.), которые служат для маркирования «выражений автономной референции».

¹⁹ Тематизацию не следует путать с эмфазой, для чего тоже часто используется начальная позиция. Но это, вероятно, менее универсальный способ, чем помещение темы, точнее, слова-темы в первую позицию. Здесь есть связь с нейтральным, т. е. немаркированным, порядком слов в данном языке и рядом других факторов (например, в нидерландском языке вынесение слова в начальную позицию «не обязательно эмфатизирует элемент, помещенный в препозицию, наоборот, столь же успешно оно может служить для деэмфатизирования» [Coop 1978: 375]).

²⁰ Обстоятельства, впрочем, и сами могут выступать в качестве тематической группы.

Грамматический способ маркирования темы имеет по крайней мере три разновидности. Первая — это использование специальных словоформ, предназначенных именно для передачи темы. В известных нам случаях тематические словоформы ограничены сферой местоимений. Так, в каренских языках (в тех, по которым имеются сведения, доступный материал) местоимения в первых двух лицах обладают особой тематической формой: например, *йэ* для 1-го л. ед. ч., *навэ* для 1-го л. мн. ч., *нэ* — для 2-го л. ед. ч. и *тывэ* — для 2-го л. мн. ч. в восточном сгокаренском языке [Jones 1961]²¹.

Вторая разновидность обозначения темы грамматическими средствами — это использование служебных слов, предназначенных исключительно для этой цели. Типичным представителем этого типа служебных слов можно считать *-ва* в японском языке; известны также тематизирующие служебные слова в тибето-бирманских языках, в особенности лису [Норе 1981], в корейском и ряде других.

Третья разновидность — это прием так называемого клефтинга, т. е. употребление оборотов наподобие англ. *it is ... that (who)*, франц. *c'est ... que (qui)* и т. п. /258//259/

Лексический способ маркирования темы заключается в использовании оборотов, вводящих тему, таких, как рус. *что касается*, англ. *as for* и т. п.

6.1.2. Среди фонетических способов выделения темы следует отметить два. Первый — это использование паузы, следующей за словом или синтагмой, отвечающими теме. Очень часто паузальное указание на тему сопровождается позиционным: слово-тема ставится в начале высказывания и отделяется от остальной части последнего паузой. Такая пауза, как правило, является важнейшей в высказывании, она обладает высокой степенью устойчивости. На материале китайского языка было показано, что «тематическая» пауза в наименьшей степени подвержена сокращению при увеличении темпа речи [Шабельникова 1980].

Второй способ фонетического маркирования темы — собственно просодический, прежде всего мелодический. По-видимому, первым эту проблему поставил на материале английского языка и дал ее предварительное решение М. Хэллидэй [Halliday 1970]. Согласно Хэллидэю, любой текст можно разбить на отрезки таким образом, что в составе каждого из них обязательно будет часть, передающая новую информацию, и факультативно — часть, соответствующая данной, известной информации. «Новое» в пределах такого отрезка будет иметь особое просодическое оформление; как правило, последнее выражается мелодическим повышением.

²¹ Любопытно, что в некоторых западноафриканских языках имеются особые местоименные формы, выделяющие не тему, а рему [Выдрин 1986; Диарра 1985].

Как видим, в концепции Хэллидэя речь идет, во-первых, о просодическом маркировании применительно к паре «данное/новое», а не «тема/рема», а, во-вторых, о выделении «нового». Новое же, как считается, соответствует реме, а не теме. Тем не менее, идея Хэллидэя имеет самое непосредственное отношение к обсуждаемой проблеме. Как уже говорилось в разделе, посвященном теории актуального членения (гл. I, п. 19 и сл.), в современной литературе приходят к отказу от отождествления темы и данного, ремы и нового. Тема не так уж редко выступает в качестве нового. Это неудивительно. Выделяя некоторое содержание как то, о чем пойдет речь, — т. е. как тему, — говорящий тем самым вводит новую информацию. Она является новой не в том смысле, что ведет к приращению знаний слушающего; имеется в виду, так сказать, коммуникативная «новость» в отличие от информационной, т. е. появление чего-то нового в качестве предмета сообщения²².

В последнее время вопрос о просодическом выделении слова-темы изучался целым рядом исследователей [Brown 1983; Terken 1980; Wierzbicka 1986]. Их результаты в целом подтверждают положение о том, что теме соответствуют особые просодические средства, создающие мелодический контраст между соответствующим словом и остальной частью высказывания. Важное уточнение вносят те работы, в которых показано, что, во-первых, мелодическое контрастирование темы может обеспечиваться не только повышением, но и понижением мелодики, а, во-вторых, просодическая вы-/259/260/деленность сопровождает первое употребление соответствующего слова, т. е. как раз ту тему, что является коммуникативно-новым (см. выше), последующие же употребления того же слова в той же тематической функции уже не обладают просодической контрастностью.

6.2. Идеи Хэллидэя, о которых кратко говорилось выше, представляют интерес еще в двух отношениях. Первое заключается в том, что, согласно этому автору, отрезки, в составе которых выделяются тема и рема, данное и новое, вообще говоря, не равны высказыванию. Достаточно часто они совпадают с предложением (clause), но и это совпадение отнюдь не норма. Иначе говоря, вводится представление о множественности бинарных структур, в составе которых имеются свои тема и рема, причем, множество, набор структур может обнаруживаться в пределах одного высказывания.

Эти взгляды примечательным образом перекликаются с тем, как описывает функционирование темы и ремы — правда, в процессах

²² Это не противоречит сближению темы и объекта автономной референции по Кинэну, о чем говорилось выше: «новость» темы может состоять не в том, что в предыдущем дискурсе она вообще не фигурировала, а в том, что именно «сейчас» говорящий предлагает считать ее точкой отсчета для чего-то другого.

порождения речи — С. Д. Кацнельсон: «Словесное высказывание строится по правилам бинарного развертывания, требующего расчленения содержания пропозиции на две части, „тему“ и „рему“, с последующим расчленением каждой из этих частей снова на две части и т. д., пока все содержание не окажется исчерпанным» [Кацнельсон 1970: 110].

Положение о бинарности структур, связанных с темо-рематическим членением, а еще более того — о ступенчатом характере такого деления подводит нас к другому аспекту, связанному с подходом Хэллидэя. Темо-рематическое членение, если рассматривать его не просто как множество «вкладываемых» друг в друга бинарных структур, но как иерархизированное множество, оказывается во многом близким к структуре высказывания в терминах непосредственно составляющих. Высказывания же, представленные в виде деревьев НС, и есть, по видимому, тот материал, объект, с которым имеет дело воспринимающий речь человек [Касевич 1977]. Неслучайно омонимичные высказывания нормально невозможно разграничить, если им соответствуют одинаковые структуры НС, ср. хрестоматийные примеры наподобие *Дети рады приглашению артиста*, где возможны три осмысления и, следовательно, три омонима²³, но только одна структура НС. И. Лехисте показала, что в тех сравнительно редких случаях, когда «разведение» омонимов, обладающих одинаковыми НС-структурами, все же возможно, оно осуществляется за счет именно просодических характеристик [Lehiste 1973]²⁴. И надо только добавить, что такое изменение в типичном случае отражает не что иное, как сдвиг в темо-рематической структуре высказывания.

7. От всех прочих представлений структуры высказывания дерево НС отличается, как известно, двумя основными аспектами: тем, что оно нерасчлененно отражает собственно-синтаксические и линейные отношения составляющих высказывания, /260//261/ и тем, что эти составляющие «вкладываются» друг в друга. Именно это и объясняет, надо думать, пригодность НС-представления для использования в процессах речевооприятия. Если исходить из концепции преимущественно нисходящего восприятия, то надо учитывать, что слушающему для принятия решения о макроструктуре высказывания доступны три вида информации: просодическая, информация о порядке составляющих (также подкрепленная просодическими маркерами [Cooper, Sorensen 1981]) и информация о (некоторых) грамматических показателях. Под

²³ Три варианта осмысления этого высказывания различаются в зависимости от выбора субъекта (1-го аргумента) при предикате «приглашать»: «дети пригласили артиста», «артист пригласил детей», «Х пригласил артиста».

²⁴ Ср. пример *Гвардии полковника не было видно* [Гладкий 1985], где разграничение двух значений просодическими средствами кажется в принципе возможным, но, так сказать, ненадежным средством.

макроструктурой здесь уместно понимать именно выделение темы с «отбрасыванием» всего прочего в рему. Но фактически именно таковым и выступает принятое в теории НС первое членение на именную и глагольную группы — с той, однако, вызываемой нуждами речевосприятия поправкой, что в данном аспекте требуется вычленение не просто самой левой и самой крупной по составу, а тематической группы.

7.1. Из литературы известны экспериментальные данные, которые как будто бы подтверждают релевантность для слушающего именно таких границ, которые отделяют друг от друга НС. На материале английского языка аудиторам предлагали определить местоположение щелчков, записанных на магнитную ленту совместно с некоторыми высказываниями таким образом, что щелчки располагались слева или справа от границ, соответствующих концу одной из НС и началу другой. Аудиторы в своих ответах достаточно систематически «смещали» щелчки, помещая их точно на границы между НС. Тот же результат был получен в модификации эксперимента, в которой щелчки вообще отсутствовали, но испытуемым сообщали, что они должны услышать слабые, едва различимые щелчки и определить их местоположение относительно слов высказывания [Ladefoged 1967].

7.2. Можно предположить, что особая роль НС-структуры в восприятии речи и вообще в речевой деятельности в конечном счете объясняется линейностью знака и, отсюда, речи. Это положение выделял в качестве особо важного Соссюр [Соссюр 1977: 103], но из него до сих пор, кажется, не были сделаны надлежащие выводы. В процессе речепроизводства говорящий должен воплотить в линейной, упорядоченной во времени цепочке дискретных знаков такой исходный «материал», который по природе своей является недискретным (континуальным) и нелинейным. Трудно предположить, что в итоговой цепочке будут содержаться лишь некоторые указания на ее исходную нелинейную структуру (они действительно присутствуют), а в своем качестве объекта, составленного из линейно соотносящихся элементов, цепочка будет лишена соответствующей — линейной — структуры. Именно такого рода структуру отражает НС-представление высказывания. Более тривиальный аспект, которому посвящено, и заслуженно, множество специальных исследований — порядок слов [Холодович 1979; Greenberg 1962; Mallinson, Blake 1981], — по-видимому, следует считать подчиненным, частным случаем по отношению к НС-структуре: в послед-
/261/ /262/ней, как уже не раз упоминалось, отражен и порядок слов, и группировка их в «блоки», определенным образом соотносящиеся друг с другом как структурные элементы.

7.3. НС-представление высказывания можно с известными оговорками уподобить спектру сложного звука тональной природы. Как хорошо известно, когда колеблется тело, служащее источником звука,

например, струна, то в колебательном процессе участвуют одновременно и составляющие — половина струны, ее третья часть, четвертая и т. д. Колебание всей струны дает основной тон, а ее частей — обертоны, гармоники (первую, вторую и т. д.). Причем, естественно, все составляющие одновременно присутствуют в результирующем сложном тоне, они как бы «вкладываются» одна в другую. Друг с другом гармонические составляющие находятся в строгих числовых соотношениях.

Аналогичным образом высказывание в целом непосредственно членится на две составляющие, каждая из которых, в свою очередь, также членится на две и т. д. Все эти составляющие тоже «вкладываются» друг в друга, образуя в итоге иерархию единиц возрастающей степени сложности. В отличие от гармонических составляющих сложного звука, НС, конечно, не обнаруживают строгих числовых соотношений, однако отношения зависимости между ними несомненно существуют.

7.4. В главе, посвященной синтаксическому компоненту языка, уже говорилось о том, что среди наиболее распространенных и разработанных приемов представления синтаксической структуры предложения выделяются два: анализ по НС и анализ с точки зрения грамматики зависимостей. В психолингвистике, в прикладных работах, которые обычно теснее связаны с моделированием речевой деятельности, также различные исследователи и даже целые школы кладут в основу анализа и синтеза речи либо дерево НС, либо дерево зависимостей. Обсуждая вопросы синтаксиса в их внутрисистемном аспекте, мы уже отмечали, что в действительности указанные две теории не следует противопоставлять — целесообразнее их совмещение, когда от каждой берется ее сильная сторона. Сейчас мы вернемся к этой проблеме применительно к восприятию речи.

Легко принять, что отношение зависимости существует не только между словоформами, как это представлено в грамматике зависимостей, но и между НС — между НС разного объема. Тот же результат мы получим достаточно естественным образом, если иерархию актантов представим как бинарную: вычленение первого актанта противопоставляет его всей остальной части высказывания (остальным актантам), а затем оставшаяся часть подвергается дальнейшему членению и т. д. (см. выше). Если первый актант одновременно соответствует теме, то он занимает инициальную позицию, поэтому крайняя левая составляющая отражает и семантическую структуру 'X есть тема высказывания' (см. гл. I и II).

/262/ /263/

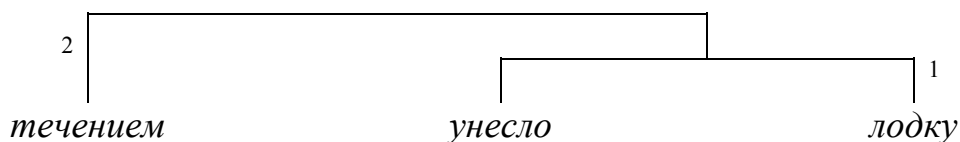
Приведем простую иллюстрацию. Высказыванию *Течением унесло лодку* отвечает структура зависимостей, изображенная на схеме 4.

Схема 4



НС-представление этого же высказывания может быть показано посредством схемы 5.

Схема 5



Как уже отмечалось выше, обнаруживается вполне определенная связь между НС-структурой высказывания и его актуальным членением. Можно добавить, что одновременно с изменением актуального членения, отражающимся на НС-структуре происходит изменение в членении высказывания на синтагмы. Понятие синтагмы, выдвинутое в его наиболее плодотворном варианте Л. В. Щербой, нередко трактуется более или менее «плоскостно». Между тем Щерба вкладывал в это понятие весьма богатое содержание, причем специально отмечал, что «синтагмы ... могут объединяться в группы высшего порядка ... и в конце концов образуют фразу» [Щерба 1956: 84]. Бросается в глаза родственность так понимаемых синтагм, — которые «объединяются в группы высшего порядка», пока не составят целостное высказывание, — понятию НС²⁵.

7.5. В приведенной цитате из работы Л. В. Щербы мы опустили, сосредоточившись на синтаксических аспектах, слова, относящиеся к просодическому оформлению синтагм: «Синтагмы... могут объединяться в группы высшего порядка с разными интонациями...» — сказано у Щербы. Учет просодической картины отраженной в данном высказывании, приводит к тому, что, так сказать, круг замыкается: (1) НС-представление высказывания показывает его линейную структуру и одновременно ступенчатое членение на составляющие с постепенно снижающейся степенью сложности; (2) НС-представление не отрицает структуры зависимостей, оно может или даже должно быть дополнено указанием на иерархию актантов и других синтаксем; (3) первая НС, как правило, отвечает теме высказывания, в составе НС более низких порядков возможно выделение своих тем, которые будут подтемами для высказывания в целом; (4) понятие НС близко понятию синтагмы по Щербе; (5) НС-представление высказывания имеет своим коррелятом его интонационную структуру, которая, быть может, не воспроизводит все границы между НС, не дает исчерпывающих указаний на тип связи между

²⁵ Е. В. Падучева еще в 1964 г. обратила внимание на близость понятия НС щербовской синтагме [Падучева 1964: 104].

синтагмами, однако несомненно указывает на информационно наиболее важные границы и отношения.

Таким образом, мы приходим к выводу, что НС-представлению может быть, при необходимых дополнениях, придан статус интегральной структурной характеристики высказывания, в которой учитываются основные синтаксические аспекты. Возможно, более точной была бы такая характеристика: в плане речепроизводства оптимальной будет характеристика высказывания в терминах грамматики зависимостей с элементами НС-представления, а в плане речевосприятия, наоборот, — НС-представление с элементами грамматики зависимостей. Если учесть, что речепроизводство — переход «смысл → текст» — есть продвижение от нелинейного (недискретного, континуального) к линейному, а речевосприятие — процесс прямо противоположный, то предполагаемая дополнительность разных представлений высказывания окажется, можно думать, достаточно реалистичной.

7.6. Вернемся в этой связи к аналогии НС-представления высказывания и спектра сложного тона. Как известно, разложение сложного тона на его составляющие математически передается с помощью ряда Фурье. В последние годы В. Д. Глезером и его сотрудниками активно разрабатывается теория зрительного восприятия, согласно которой весьма существенную роль для соответствующих процессов играет так называемый, кусочный Фурье-анализ [Глезер 1978; 1985; Глезер и др. 1973]: «...на уровне зрительной коры изображение описывается по участкам (кусочно) разложением по пространственным частотам на каждом участке» [Глезер и др. 1973: 211].

Вполне вероятно, что функциональные аналоги кусочного Фурье-анализа используются при восприятии любого типа, в том числе и при речевосприятии. Если это так, то разложению на «участки» скорее всего соответствует именно членение высказывания на НС, которые, в свою очередь, подвергаются дальнейшему разложению.

В концепции Глезера отражение «кусочков» и всего воспринимаемого объекта соотносятся как подобразы и образ соответственно. При этом отмечается, что «следует ... обратить внимание на отсутствие четкой границы между образом и подоб-^{/264/265/}разом... В рамках обсуждаемого примера (восприятия дерева. — В. К.) можно установить скользящую иерархию „образ — подобраз“: лес — дерево — крона — ветви — листья — жилки — контура разной искривленности» [Глезер 1978: 1727]. В нашем случае понятие подобраза также вполне естественно уже в силу того, что, как не раз здесь подчеркивалось, восприятие — многоуровневый процесс, и на каждом уровне представлены свои единицы, которые должны быть интегрированы в единства более высокого порядка. Однако кажется возможным усмотреть и еще более близкую параллель с положением о подобразах, если отправляться от НС

как от основных оперативных единиц восприятия речи и к тому же от НС, понимаемых как разноформатные синтагмы. Дело в том, что разнообразие синтагм отнюдь не бесконечно, поэтому вполне можно говорить о своего рода алфавите подобразов-синтагм, — синтагм как типов (фреймов), — на которые и разлагается ступенчато любое высказывание.

7.7. Итак, можно представить себе следующую общую схему восприятия высказывания как, по существу, преобразование последнего в дерево НС. Первое двоичное членение высказывания состоит в выделении той его части, которая соответствует теме, и «отбрасывании» всей остальной части в состав ремы. Это членение основывается на использовании просодических, грамматических и лексических маркеров, тип и соотношение которых изменяется от языка к языку²⁶. Далее, опять-таки руководствуясь просодической и иной информацией, воспринимающий речь человек осуществляет членение рематической части высказывания на синтагмы следующего уровня иерархии, одновременно тем или иным образом устанавливая грамматико-семантические отношения между ними. Эта процедура продолжается до тех пор, пока не будет достигнута та глубина семантической (смысловой) информации, которая задана установкой адресата высказывания в данном коммуникативном акте и степенью знакомости воспринимаемого материала. Одновременно с членением осуществляется предварительная идентификация выделенных синтагм, которая может уточняться или корректироваться по мере информационного обогащения, насыщения характеристик с продвижением «сверху вниз».

Предварительная идентификация синтагм, о которой сказано выше, предполагает использование некоторых признаков и процедур идентификации. Иначе говоря, синтагмы должны классифицироваться — относиться к тому или иному типу, множеству, а это требует основания классификации, т. е., опять-таки, определенных признаков.

Разумеется, мы не можем на сегодняшнем уровне наших знаний говорить об определенной системе признаков, используемых для классификации синтагм, вообще или в каком-либо конкретном языке. Самый общий и предварительный ответ на этот вопрос и одновременно на вопрос о максимальном объеме /265//266/ единиц восприятия, поставленный ранее, будет таким: воспринимая речь, человек выделяет на каждом уровне в качестве НС такие синтагмы, которые способны фигурировать как гештальты, т. е. такие, которые обладают замкнутостью, полнотой и другими известными признаками [Koffka 1931]. Гештальт-характеристики обеспечиваются прежде всего просодической, грамматической и смысловой замкнутостью, т. е. являются такими характеристиками,

²⁶ Мы опускаем обсуждение самых первых стадий речевосприятия, в значительной своей части доязыковых (см. об этом [Касевич 1983]).

которые можно приписать синтагме в целом. Оpozнание синтагмы происходит как перебор возможных комбинаций характеристик, ведущий к установлению некоторого «разумного» [Губерман 1984] их соотношения, т. е. такого образа, который согласуется с контекстом, языковым и внеязыковым опытом и установками слушающего, ситуацией общения.

8. Если исходить из того, что НС-синтагмы могут восприниматься, опozнаются как целостные образования, гештальты²⁷, то открываются новые перспективы для истолкования и процедур восприятия. Пока соответствующие представления могут быть очерчены лишь очень схематично.

8.1. Мы будем отправляться от того, что любая психическая (впрочем, и предметная) деятельность требует согласованной работы обоих полушарий головного мозга. «Большие полушария головного мозга высших позвоночных построены по принципу двусторонней симметрии. Это значит, что в каждом из них представлены одинаковые структуры, расположенные в одних и тех же точках двух гемисфер. Несмотря на анатомическую эквивалентность, для нормальной работы мозга необходима совместная активность обоих полушарий» [Физиология поведения 1986: 269]. Установлено, в частности, что межполушарное взаимодействие важно для обучения — выработки условного рефлекса, имеется обширная литература по роли доминантного и субдоминантного полушарий в разных видах деятельности мозга [Балонов, Деглин 1976; Jakobson 1980 и др.].

До недавних пор принималось, что доминантное (левое у правшей) полушарие ответственно, среди прочего, за речь, субдоминантное же является «немым». Это подтверждается как будто бы некоторыми клиническими и иными фактами, например, такими, о которых пишут В. М. Мосидзе и М. А. Макашвили со ссылкой на классические работы Газзаниги и др.: «Особый интерес представляют специфические для человека синдромы разобщения больших полушарий. В связи с латерализацией функции речи в левом полушарии правшей последствия разобщения проявляются в неспособности выразить словесно свойство предметов, пальпируемых левой рукой (т. е. когда информация направляется в правое, „немое“ полушарие), в сильных затруднениях при письме левой рукой и т. д. Направив зрительную информацию изолированно в правое полушарие, можно убедиться, что комиссуротомированный больной узнает увиденное, но не может назвать его или написать о нем что-либо» [Физиология поведения 1986: 270–271]. Хорошо известно также, что левосторонние травмы, инсульты и др.

²⁷ Заметим здесь, что восприятие не только синтагмы, но даже двусложного слова как целостной единицы представляется некоторым авторитетам в области распознавания речи странной идеей (ср. [Foss et al. 1980: 173]).

поражения головного мозга /266//267/ ведут к полной или частичной утрате речи, в то время как аналогичные им правые поражения не имеют тех же последствий.

8.2. Вместе с тем большое количество экспериментального материала в имеющейся литературе по асимметрии головного мозга заставляет усомниться в том, что положение столь однозначно, что субдоминантное полушарие вообще не обладает речевыми функциями. Так, когда описываются результаты опытов по восприятию различных речевых стимулов, по вызыванию речевой продукции у больных с угнетенным левым полушарием вследствие одностороннего электрошока, то обычно не сообщается, что правополушарные речевые реакции вообще невозможны: они возможны, только отличаются качественно и количественно и от левополушарных, и от «нормальных», т. е. свойственных тому же человеку при согласованной работе обоих полушарий [Балонов, Деглин 1976].

Правда, «при глубоком угнетении левого полушария речь и понимание речи утрачиваются — развиваются сначала тотальная, позже сенсорная, моторная или динамическая афазия» [Деглин 1984: 9]. Однако ни отсутствие речи, ни отсутствие понимания еще не говорит о выключении всех функций, связанных с речевой деятельностью: «немота» может означать невозможность доведения процесса речепорождения до его завершения в виде создания текста, патологическое прерывание процесса в какой-то фазе, точно так же и неспособность к восприятию, возможно, объясняется выпадением лишь некоторых — допустим, начальных — звеньев, необходимых для реализации перехода «текст → смысл».

Поэтому целесообразно обратиться к клиническому материалу, относящемуся к ситуации, когда, в условиях лечебного применения унилатерального электрошока, «по мере рассеивания угнетения грубые афатические расстройства исчезают и на первый план выступают более тонкие нарушения речевых процессов» [Деглин 1984: 9]. В этом случае, по-видимому, следует считать, что интактное полушарие берет на себя основной груз осуществления речевых функций, но при этом в какой-то минимальной степени пользуется «помощью» угнетенного; такая «помощь», похоже, абсолютно необходима правому полушарию, по крайней мере результаты его деятельности, вероятно, не могут быть выведены вовне без участия левого.

8.3. Имеющиеся данные показывают, что в условиях преимущественного функционирования правого полушария наблюдается ориентированность на референт: человек практически теряет способность оперировать собственно-языковыми структурами, параметрами, категориями, как бы обращаясь к реальному миру — точнее, к тому в языке, что непосредственно отражает реальный мир. Так, в речевых

реакциях уменьшается доля служебных слов, из однозначных преобладают конкретные существительные и прилагательные, лексика классифицируется по референтному, а не языковому сходству. Как уже упоминалось, предложения в экспериментах объединяются «по первому слову», в одну группу попадают фразы типа *Ваня побил Петю, Ваню побил Петя, Ваня побит Петей*, несмотря на их семантическое и формальное несходство [Chernigovskaya, Deglin 1986].

Эти и другие факты дали основания выдвинуть гипотезу, согласно которой правое полушарие контролирует глубинно-семантические структуры: именно эти последние связаны с личностными смыслами (а не внутриязыковыми значениями), которые ориентированы на внешнюю действительность; как уже говорилось в предыдущем разделе, к ведению субдоминантного полушария, вероятно, относится и предварительное выделение темы [Касевич 1984а]. Если эта гипотеза верна, то в самых общих чертах порождению речи соответствует смена латерализации речевых функций — от субдоминантного полушария к доминантному (см. также ниже).

Как же обстоит дело с речевосприятием? Каковы здесь возможные стратегии с точки зрения латерализации речевых функций?

8.4. Прежде чем попытаться ответить на эти вопросы, приведем еще некоторые данные о функционировании относительно изолированных полушарий головного мозга в условиях одностороннего электрошока. При угнетении правого полушария, даже глубоко, порождение и восприятие речи могут сохраняться, а некоторые аспекты речевой деятельности даже «выигрывают»: улучшается разборчивость гласных и согласных. В то же время снижается помехоустойчивость при восприятии речи: «в условиях шумовой маскировки или частотной фильтрации восприятие речевого материала катастрофически ухудшается» [Деглин 1984: 11]. Резко ухудшается также восприятие просодических характеристик речи. Наконец, «восприятие речи становится формальным» [Деглин 1984: 11], и именно простейшие речевые структуры, минимально требующие грамматических операций и допускающие простейшее отображение языкового фрейма на неязыковой, хуже всего поддаются интерпретации.

Связывая эти факты с приводившимися выше материалами о типе речевого функционирования правого (субдоминантного) полушария, можно предположить следующее. При восприятии речи к функциям правого полушария относится не только оценка общих смысловых характеристик высказывания, но, возможно, любых его характеристик, которые связаны с высказыванием или другой языковой единицей как целостным образованием. Неоднократно писалось в литературе о том, что правому полушарию свойственно оперирование нерасчлененными, своего рода глобальными, неанализируемыми объектами (а левому — поэлементно расчлененными). Это как раз и

согласуется со сделанным допущением: любую языковую единицу, как о том уже говорилось, можно представить и как структурно организованное образование из элементарных компонентов-составляющих, и как целостный, монолитный объект²⁸. В противоположность этому, левое полушарие, для которого характерен анализ, дискурсивность, заведует, вероятно, разложением высказывания, любой другой языковой единицы, на их интегральные элементы с последующим выяснением соотношений этих элементов и их идентификацией.

Выше говорилось, что при изолированном функционировании левого полушария улучшается разборчивость гласных и согласных. Этого и следует ожидать, если поэлементное восприятие — задача именно левого полушария, на деятельность которого в норме правое, как известно, оказывает демпфирующее влияние. Ассоциированность просодических параметров с правым полушарием также понятна: просодические признаки присущи языковым единицам, взятым как целостные образования, и довольно давно известно, что по типу просодического оформления осуществляется грубое, первичное опознание слов, высказываний без анализа их внутренней структуры. Получает объяснение и эффект низкой помехоустойчивости при изолированной работе левого полушария: поэлементное восприятие, в котором, как предполагается, специализировано левое полушарие, предполагает значительную точность и времяемкость, поскольку требуется детальное выяснение всех признаков всех звуков. Естественно, что дефицит информации, вызванный маскировкой или фильтрацией, дезорганизует стратегии такого рода. В отличие от этого, глобально-ориентированное правое полушарие, пользуясь минимумом признаков, придает процессу помехоустойчивость.

8.5. Сходные представления недавно были сформулированы В. И. Галуновым и соавторами [Галунов и др. 1986]. В их работе, основанной преимущественно на данных экспериментов по дихотическому прослушиванию, предполагается, что «правое полушарие использует целостный способ, основанный на сопоставлении сигналов с хранящимися в памяти эталонами акустической картины целых слов. Механизм целостного восприятия требует наличия в памяти эталонов акустической картины для каждого слова. Поиск в таком словаре, имеющем, видимо,

²⁸ Существуют и прямые нейрофизиологические свидетельства в пользу возможности альтернативного представления языковых единиц — и как целостных объектов, и в качестве поэлементной структуры, ср. данные Н. П. Бехтеревой и ее сотрудников по изучению импульсной активности нейронных популяций, которые показали, что «отражение слога, триграммы и слова не является простой суммой отражения отдельных фонем, хотя, судя по опорным предварительным данным, это возможно» [Бехтерева 1980: 128].

ассоциативную организацию, должен быть другим, чем при посегментном кодировании» [Галунов и др. 1986: 133].

Авторы пишут также о возможности параллельного функционирования обоих механизмов: целостного опознания как способа, присущего правому полушарию, и поэлементного, как «метода» работы левого полушария. Нам кажется, что следует сделать еще один шаг, допустив схему, в которой практически обязательно присутствует функционирование обоих полушарий, каждое из которых вносит собственный, только ему присущий вклад. При этом процесс речевосприятия должен описываться как имеющий «челночный» характер: при поступлении речевого сигнала слушающий пытается кратчайшим путем дать смысловую интерпретацию единицам максимального объема, обрабатывая их в качестве целостных образований средствами, [находящимися в распоряжении правого полушария](#). При этом, как представляется, правое полушарие опознает единицы речи путем прямого сличения с хранящимися в памяти эталонами только применительно к наиболее частотным словам, фразам. В остальном же обращение к процедурам распознавания целостных объектов означает не сличение с эталоном, а резкое уменьшение признаков воспринимаемой единицы.

Если правое полушарие не справляется со своей задачей — или же дает соответствующим единицам лишь абстрактную, грубую, приблизительную характеристику, информация передается в левое полушарие для расчленения единицы на ее составляющие и выяснения связей между ними. Полученные таким образом составляющие снова переправляются в правое полушарие, где они должны быть «схвачены» уже как некоторые гештальты. Процесс продолжается до тех пор, пока «диалог» полушарий не приведет к интерпретации сигнала, удовлетворяющей установкам слушающего.

8.6. Разумеется, сказанное выше носит достаточно умозрительный характер, и требуются экспериментальные исследования огромного объема, чтобы установить степень достоверности представленных гипотез, внести в них необходимую конкретизацию. Если эти гипотезы верны, то открываются возможности для подведения теоретической базы под многие данные и разрозненные допущения, которые на сегодняшний день такой базы лишены, для «увязывания» воедино целого ряда концепций из области психологии и психолингвистики, распознавания образов и теории представления знаний и др. Прежде всего, получает свое «субстратное» истолкование сама по себе концепция нисходящего восприятия речи, в которой с учетом реципрокного межполушарного взаимодействия находят свое место и процедуры оперирования с гештальто-образными структурами, и процедуры точного поэлементного анализа, главным образом на низших уровнях.

Хорошо согласуются такие представления и с теорией фреймов²⁹. М. Минский называет заманчивой идею о том, что суперфреймы «формируются на подсознательном уровне нашего мышления. [...] Элементы объединяются самыми различными способами до тех пор, пока не будет получена такая конфигурация, которая выдержит определенный тип проверки» [Минский 1981: 84]. Как бы ни понимать природу «подсознательного уровня», он должен быть, по-видимому, более ассоциирован с правым полушарием (а не левым, контролирующим аналитическое, дискурсивное мышление); суперфреймы же должны обрабатываться именно как целостные образования. Перебор комбинаций элементов, о которых говорится в приведенной цитате, не означает предварительного их вычленения: речь идет о том, что воспринимающий субъект испытывает разные типы конфигураций, т. е. структурированных образований, где одновременно представлено и целое, и его строение, пока не получит, как уже /270//271/ говорилось выше, целостный объект, «разумный» в соответствии с некоторыми установками.

8.7. Наконец, надо ответить на вопрос: какое из полушарий ответственно за принятие решения об окончательных характеристиках высказывания или другой языковой единицы? Здесь следует учитывать, что для воспринимающего речь человека установление формы высказывания не является целью, а лишь средством для проникновения в смысл последнего. Причем речь должна, очевидно, идти о смысле в узком понимании данного термина: человек приспособливает объективированные языком значения, содержащиеся в высказывании, к собственной глубинно-семантической системе, сформированной личностными смыслами. Отсюда следует, что окончательный результат восприятия — образ в концепции Джонсон-Лэйрда (см. выше, п. 5.2) —

²⁹ Заметим, кстати, что нельзя согласиться с мнением, согласно которому теория фреймов предполагает восприятие лишь стереотипных ситуаций [Богданов В. В. 1984; Чарняк 1983]. Действительно, Минский говорит о том, что «... деятельность механизмов человеческого мышления и понимания ... направлена на то, чтобы отыскать подходящий в данной ситуации фрейм ... и заполнить задания отсутствия его терминалов конкретными данными» [Минский 1981: 92]. Более того, одно из определений фрейма гласит: «Фрейм является структурой данных для представления стереотипной ситуации» [Минский 1981: 7]. Однако буквальное понимание таких дефиниций и описаний было бы слишком прямолинейным. Минский достаточно много пишет о модифицируемости фреймов, о замене одного фрейма другим, наконец, о ранее образовавшихся и «более поздних» фреймах [Минский 1981: 80]. Нужно здесь иметь в виду, что абсолютно новое вообще недоступно восприятию (см. [Коломбетти 1979]), поэтому и в новой ситуации должна быть какая-то доля привычного, знакомого (\cong стереотипного) — а это и значит, что фреймом для квалификации новой ситуации будет более или менее приспособленный «старый» фрейм.

фиксируется, скорее всего, правым полушарием, поскольку именно последнее ведаёт смыслами.

Что же касается формы высказывания (либо другой языковой единицы), то она фиксируется — насколько это делается вообще — левым полушарием: если человек «усваивает» форму высказывания как самостоятельную характеристику и удерживает ее в памяти, то речь здесь может идти только об абстрактной форме, а не конкретной, т. е. о некотором инварианте относительно значения плюс сведения об элементах алфавитного — в широком смысле — характера, столь же инвариантных по природе. Левое же полушарие «справляется с задачей лучше в том случае, когда можно запустить механизм инвариантности» [Глезер 1985: 177].

Итак, только «диалог полушарий» объясняет сочетание холистского и элементаристского подхода, которые традиционно противопоставляются в различных областях знания. /271//272/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение, по-видимому, не будет излишним в этой книге: во-первых, в ней затронуты самые разные проблемы, не всегда сопоставимые по своей значимости, и читатель, возможно, хотел бы знать, что считает наиболее существенным автор; во-вторых, кажется целесообразным сформулировать некоторые положения, которые фигурируют в разных главах и разделах как более или менее попутные замечания или даже «намёки», но по тем или иным причинам представляются важными.

1. Начнем с соотношения языкового и неязыкового в ментальной жизни человека. В равной степени крайними можно считать точки зрения, согласно которым либо в языке непосредственно закрепляются результаты отражательной деятельности, независимо (от языка) полученные людьми во взаимодействии с действительностью и друг с другом, либо же сетка отношений, заданная языком, структурирует сам по себе более или менее аморфный когнитивный опыт¹. С одной стороны, любое отражение не может не иметь структурированного характера, оно осуществляется с обязательным использованием сетей отношений типа фреймов. В результате манипулирования предметами, взаимодействия со взрослыми уже у ребенка предречевого периода формируются семантические категории «агент», «локатив» и т. п.; согласно ряду авторов, можно говорить о «дословесном этапе развития значений» — операциональных и предметных (см. об этом, например, [Исенина 1987])². Можно согласиться в целом с Р. И. Павиленисом, который пишет: «В построении таких (концептуальных. — В. К.) систем язык играет существенную, но не исключительную роль: сама возможность усвоения языка предполагает в качестве необходимого условия довербальный этап становления концептуальных систем, отражающий доязыковой опыт их носителей. Игнорирование этого обстоятельства приводит не только к эмпирически и теоретически не обоснованному, но и методологически несостоятельному приписыванию функций порождения мысли самому языку, чистой

¹ По-видимому, ко второй точке зрения близка концепция Ельмслева, который форме содержания противопоставлял субстанцию содержания [Ельмслев 1960]; аналогично этому Гумбольдт говорил о «материи языка» как о «совокупности чувственных впечатлений и произвольных движениях духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается с помощью языка» [Гумбольдт 1984: 73]. Ср. также высказывание Соссюра о том, что посредством языка «мысль, хаотичная по природе, по необходимости уточняется, расчленяется на части» [Соссюр 1977: 144].

² Ср. с тем, что говорил Л. С. Выготский о «естественной истории знаков» [Выготский 1982: 82].

вербальной форме, к отождествлению мысли и языка, а не к раскрытию механизма их связи» [Павиленис 1983: 263].

Отрицание доязыковых, неязыковых когнитивных структур превращает вопрос об источнике языковой семантики в неразрешимую загадку. Язык, — во всяком случае, взятый в аспекте плана содержания, — вырастает из не-языка. Более того: сло-^{/272/273/}жившиеся в предречевой период когнитивные структуры, в разной степени трансформированные и модифицированные, сохраняют свою роль в реализации ментальных процессов сложившегося индивидуума (см. [Величковский 1982: 195]). В сущности, именно они выступают конечным этапом восприятия речи и начальным — речепорождения.

С другой стороны, язык никак не сводим к «чистой вербальной форме», и его роль все же в ряде отношений исключительна. То, как член данного языкового коллектива видит мир, ориентируется в нем, есть результат сложного взаимодействия наследственных биологических задатков, в том числе способности формировать определенные когнитивные структуры, и социума. Но генетически обусловленные свойства включают и способность к овладению языком определенного — «человеческого» — типа, а социум с необходимостью предполагает существование конкретного языка. Иначе говоря, при указанном взаимодействии «по обе стороны» налицо аспекты, имеющие прямое отношение к языку. Конкретный (национальный) язык если и не служит «органом, образующим мысль» [Гумбольдт 1984: 75], должен быть признан инструментом, придающим мысли ее окончательную специфическую форму.

2. Язык, равно как и все в языке, следует рассматривать с функциональной точки зрения. Функционализм, хотя и понимаемый по-разному в существующих на сегодняшний день направлениях (ср., например, [Бондарко А. В. 1984; Золотова 1982; Слюсарева 1981; Функциональное направление... 1980; Шведова 1983; Dik 1980; Halliday 1985]), выдвигается в современной лингвистике на лидирующие позиции. Не пытаясь дать определение понятию функции в языке и речевой деятельности (ср. [Генюшене 1981] и др.), ограничимся следующим. Функциональный подход предполагает ответы на вопросы «зачем?» и «как?»: «зачем, для чего, для получения какого результата существует данный элемент, конструкция, система?» и «как они выполняют задачу, для реализации которой существуют, какие свойства при этом проявляют?». Уже обезьяны в опытах совершенно одинаково оперируют объектами, материально абсолютно несходными, если последние способны служить, например, отвертками [Клике 1985] — именно потому, что важна функция, а не материал, форма и т. д. Акцент, который в структурной лингвистике делался на положении в системе, фактически ставил в центр внимания аспект, скорее производный: само место в системе обусловлено

необходимым результатом, на достижение которого нацелен данный элемент. Аналогично и понятие правила, которое признавалось центральным в генеративной, а позднее в реляционной грамматике, естественнее всего рассматривать как программу функционирования тех или иных элементов, структур в процессах реализации их предназначения.

Можно утверждать, что функционализм как таковой — не одна из существующих школ, это, скорее, необходимое магистральное направление лингвистики, способное интегрировать /273//274/ все позитивные аспекты, которые усматриваются в ряде существующих теоретических подходов.

3. Достаточно принято считать, что свойства знака с точки зрения синтактики и прагматики составляют столь же неотъемлемую его принадлежность, сколь означающее и означаемое. Если означающее и означаемое — структурные характеристики, обусловленные функцией, то синтактика и прагматика — непосредственно функциональные характеристики: в них отражены соответственно внутренние и внешние потенции знаков с точки зрения использования последних.

Каждая языковая единица обладает определенным синтактическим и прагматическим потенциалом. Его поверхностное выражение — дистрибуция, участие в тех или иных контекстах. Наличие «веера» функций, присущих языковым единицам всех уровней, ведет к гибкости языковой системы³. Единица каждого уровня релятивизирована относительно контекста единиц более высокого уровня, именно и только в соответствующем окружении она получает определенность — вплоть до текста, окружением (контекстом) для которого служит внеязыковая ситуация. Ступенчатое «вкладывание» единиц в контексты уровней возрастающей сложности снимает, таким образом, неопределенность, размытость, по природе своей свойственную любой языковой единице.

4. Все элементы языка образуют систему словарей, связанных сложными сетями отношений. Отношения, опять-таки, детерминированы функциями языковых единиц. Анализ разноуровневых элементов языка выявляет релевантность принципа триплетного кодирования для устройства словарей: наряду с двумя полярными типами (служебные морфемы и знаменательные, аффиксы и служебные слова, слова и словосочетания, предикативные и непредикативные конструкции) существуют промежуточные зоны, единицы которых обладают смешанными признаками по отношению к полярным (полуслужебные морфемы, квазиаффиксы, квазислова, синтаксические «обороты»);

³ Ср. с положением «о полиморфности» как необходимой характеристике языка [Налимов 1979].

промежуточная зона может включать и целый ряд подтипов возрастающей/убывающей близости по отношению к одному из полюсов.

Признание своего рода континуальности в классификационных связях языковых единиц по-особому ставит и вопрос о соотношении лексического и грамматического. Необходимость взаимной «настроенности» грамматики и словаря, взаимодействующих в речевой деятельности, очевидна, но не вполне ясно, возможна ли и, если да, насколько синонимия лексических и грамматических средств выражения в пределах данного языка.

Это относится и к статусу элементов семантического языка, которые используются для экспликации плана содержания языковых единиц и категорий методом толкования. Так, в толкование многих слов и грамматических форм русского языка входит семантический элемент ‘каузировать’, однако русский язык [/274/ /275/](#) явно не располагает ни категорией каузатива, ни «естественным» глаголом соответствующей семантики. Вероятно, элементы наподобие ‘каузировать’ близки по своей природе дифференциальным признакам. Но, во-первых, дифференциальные признаки входят в парадигматически иерархические отношения, а не образуют синтагматические конструкции, как это имеет место при толковании; во-вторых, возникает вопрос о различиях между семантическими элементами, обладающими естественными прототипами, ср. ‘начинать’ (в толковании вида) — глагол *начинать*, и элементами, которые таковых не имеют, ср. ‘каузировать’.

5. Ядро семантики — система ситуаций, представимых средствами данного языка. Ситуацию можно рассматривать как целостную единицу — семантический фрейм, терминалами которого выступают категории типа Агенс, Пациенс и т. п. Эти категории входят в семантическое представление языковой единицы, называющей ситуацию, в набор ее семантических дифференциальных признаков. Взятые в другом аспекте Агенс, Пациенс и т. п. — аргументы, образующие вместе с предикатом пропозицию, которая лежит в основе семантики высказывания. К пропозиции применяются операторы (временные, аспектуальные и иные), кванторы, она вводится в рамки — внутреннюю и внешнюю модальные, коммуникативную, возможно, еще какие-то, ср. понятие рамки наблюдения в некоторых работах.

Ситуация есть результат «перевода» с языка собственно-когнитивных фреймов на язык семантики. При этом в значительной степени сохраняется свойство иконичности: ситуация — внутриязыковой способ выделения одного из «кадров» внешней действительности, когда в соотношении субъективного и объективного максимально — «в рамках языка» — доминирует последнее.

Иконичность присутствует и при переходе от ситуации к элементарной синтаксической предикативной конструкции, которую

можно считать прототипической: в пространстве прототипических конструкций в сильнейшей степени проявляется тенденция к однозначному соответствию семантических ролей типа Агенс, Пациенс определенным синтаксическим актантам. Подобно ситуации в семантике, элементарная синтаксическая конструкция — центральная единица синтаксиса, целостная по своей природе. Ее актанты, определяемые формальными валентностями ядерной (глагольной) синтаксемы, служат дифференциальными признаками конструкций. Иерархия актантов в рамках конструкции носит синтагматический характер. Вся конструкция как таковая, будучи сопоставлена ситуации и, тем самым, конструкции семантической, получает осмысление. Актанты же приобретают семантизованность в рамках прототипической конструкции в силу упомянутого фиксированного соотношения с аргументами.

Соотнесенность актантов и семантических ролей утрачивает однозначность при применении к синтаксическим конструкциям /275//276/ разного рода трансформаций. Трансформационный субкомпонент развит в разных языках неодинаково, поэтому синтаксис языков может обнаруживать разные степени семантизованности.

6. Компонентное строение языковых единиц находит свою параллель в компонентном строении самой языковой системы. Однако многокомпонентность языка далеко не сводится к необходимости относительной автономии для единиц одного формата, служащих конструктивными элементами по отношению к единицам другого. В свете концепции модульного строения когнитивных систем (Фодор и др.) возникает вопрос, во-первых, о степени автономности, а, во-вторых, о параллельности/иерархичности компонентов языковой системы. Согласно обоснованной точке зрения Д. Массаро [Massaro 1987], степень автономности не следует преувеличивать по крайней мере в том смысле, что существуют общие закономерности, общие стратегии, действительные для разных видов когнитивной активности, в частности и речевой деятельности. Пожалуй, сложнее второй вопрос. Использование множественных источников информации при распознавании речевого сигнала не подлежит сомнению⁴. Однако данный факт еще никак не отрицает иерархических по своей природе стратегий и, отсюда, иерархичности, уровневости самих языковых компонентов. Информация, получаемая из множественных источников, должна интегрироваться, а при этом имеет место взвешивание разных признаков, которое может объединять — и, вероятно, реально объединяет — две взаимосвязанные процедуры: учет порядка обращения к данному признаку и обращение к его рангу в общей системе признаков. Обе процедуры очевидным

⁴ Как заметил Г. С. Цейтин, «кто же нынче не знает, что наш мозг — параллельная машина!» [Севбо и др. 1983: 154].

образом носят иерархический характер. Иначе говоря, признание параллельного использования множественных источников информации не дезавуирует положения о типичности процедур типа «сверху вниз» для речевой деятельности, а лишь переносит их действие в сферу интегративных процессов.

Еще более очевидна направленность «сверху вниз» для процессов речепорождения. Как при порождении, так и при восприятии речи должно взаимодействовать установление синтаксических (и семантических) зависимостей и линейной организации. При речепорождении происходит переход от нелинейного семантического представления к линейному морфолого-синтаксическому, в то время как при речевосприятии мы имеем дело с обратным по направлению движением. Соответственно речепорождение уместнее описывать аппаратом грамматики зависимостей с введением элементов грамматики составляющих, а речевосприятие, наоборот, аппаратом грамматик составляющих с введением элементов зависимостей.

В то же время и восприятие начинается «сверху» — с формирования предварительной гипотезы о теме и реме, устанавливаемых на пространстве текста максимального объема с использованием некоторых укрупненных признаков. По-видимому, из допущения оперирования укрупненными единицами как гештальтами следует, что в речевой деятельности имеет место постоянное переключение активности: от, например, попытки воспринять данное слово как целое без анализа его внутренней структуры к перцептивной обработке, в случае необходимости, того же слова в терминах его составляющих-слогов и т. д., пока не будет достигнуто распознавание, удовлетворительное с точки зрения актуальной установки.

Учитывая, что целостными образованиями, гештальтами ведают субдоминантное полушарие головного мозга, а поэлементным анализом — доминантное, можно предположить, что речевая деятельность предполагает постоянный «диалог полушарий».

«Диалог полушарий» — проявление диалогического характера всех когнитивных и культурных процессов, построенных на общении [Библер 1975; Лотман 1984]. От диалога полушарий к диалогу культур и наоборот — естественное движение в области семиосферы [Лотман 1984].

/277/291/

ЛИТЕРАТУРА

1. Адамец 1978 — Адамец П. Образование предложений из пропозиций в современном русском языке. Прага, 1978.
2. Алпатов 1979 — Алпатов В. М. Структура грамматических единиц в современном японском языке. М., 1979.
3. Аминев 1972 — Аминев Г. А. Вероятностная организация центральных механизмов речи. Казань, 1972.
4. Анохин 1970 — Анохин П. К. Теория функциональных систем. — Успехи физиологических наук. 1970, т. 1, № 1.
5. Анохин 1980 — Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональных систем. М., 1980.
6. Апресян 1967 — Апресян Ю. Д. Экспериментальная семантика русского глагола. М., 1967.
7. Апресян 1980 — Апресян Ю. Д. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл ↔ Текст» (Wiener slawistischer Almanach. Sonderband 1). Wien, 1980.
8. Апресян 1983 — Апресян Ю. Д. О структуре значений языковых единиц. — Tekst i zdanie. Pod red. T. Dobrzyńskiej i E. Janus. Wrocław e. a., 1983.
9. Апресян 1986 — Апресян Ю. Д. Интегральное описание языка и толковый словарь. — ВЯ, 1986, № 2.
10. Апресян и др. 1979 — Апресян Ю. Д. и др. Англо-русский синонимический словарь. М., 1979.
11. Арсеньева и др. 1966 — Арсеньева М. Г., Строева Т. В., Хазанович А. П. Многозначность и омонимия. Л., 1966.
12. Аткин 1973 — Аткин В. Д. Семантика корейского деепричастия на *-адага/-эдага*. — Проблемы истории, культуры, филологии стран Азии. Вып. 1 (6). Под ред. М. Н. Боголюбова и В. Б. Касевича. Л., 1973.
13. Афанасьев 1964 — Афанасьев В. Г. Проблема целостности в философии и биологии. М., 1964.
14. Ахманова 1966 — Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
15. Ахманова и др. 1961 — Ахманова О. С. и др. О точных методах исследования языка. М., 1961.
16. Базелл 1972 — Базелл Ч. Е. Лингвистическая типология. — Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
17. Балли 1976 — Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
18. Балонов, Деглин 1976 — Балонов Л. Я., Деглин В. Л. Слух и речь доминантного и недоминантного полушарий. Л., 1976.
19. Баскаков 1979 — Баскаков Н. А. Историко-типологическая морфология тюркских языков. М., 1979.
20. Бахтин 1987 — Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1987.
21. Бергельсон, Кибрик 1980 — Бергельсон М. Б., Кибрик А. Е. К вопросу об общей теории языковой редукции. — Формальное описание структуры естественного языка. Под ред. А. С. Нариньяни. Новосибирск, 1980.
22. Бернштейн Н. А. 1947 — Бернштейн Н. А. О построении движений. М., 1947.

23. Бернштейн Н. А. 1966 — Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М., 1966.
24. Бернштейн С. И. 1922 — Бернштейн С. И. Основные вопросы синтаксиса в освещении А. А. Шахматова. — Изв. Отд. русск. яз. и словесности Акад. наук. Пг., 1922, т. 25.
25. Бехтерева 1980 — Бехтерева Н. П. Здоровый и больной мозг человека. М., 1980.
26. Библер 1975 — Библер В. С. Мышление как творчество. М., 1975.
27. Блауберг 1977 — Блауберг И. В. Целостность и системность.— СИ: Ежегодник 1977. М., 1977.
28. Блауберг, Юдин 1973 — Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973.
29. Блумфилд 1968 — Блумфилд Л. Язык. М., 1968. [/291/ /292/](#)
30. Богданов В. В. 1984 — Богданов В. В. Деятельностный аспект семантики. — Прагматика и семантика синтаксических единиц. Под ред. И. П. Сусова и др. Калинин, 1984.
31. Богданов С. И. 1983 — Богданов С. И. Три этапа морфемного членения. — Спорные вопросы русского языкознания: Теория и практика. Л., 1983.
32. Боголюбов 1965 — Боголюбов М. Н. Пролептические конструкции в иранских языках. — Филология и история стран зарубежной Азии и Африки. Тезисы научн. конфер. восточного факультета. Л., 1965.
33. Богуславский 1985 — Богуславский И. М. Исследования по синтаксической семантике: Сферы действия логических слов. М., 1985.
34. Бондарко А. В. 1971 — Бондарко А. В. Вид и время русского глагола. М., 1971.
35. Бондарко А. В. 1981 — Бондарко А. В. Основы построения функциональной грамматики (на материале русского языка). — ИАН СЛЯ. 1981, т. 40, № 6.
36. Бондарко А. В. 1983 — Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.
37. Бондарко А. В. 1984 — Бондарко А. В. Функциональная грамматика. Л., 1984.
38. Бондарко Л. В. и др. 1974 — Бондарко Л. В. и др. Типы произнесения и стили произношения. — ВЯ. 1974, № 2.
39. Буланин 1983 — Буланин Л. Л. Категория залога в современном русском языке. Л., 1983.
40. Булыгина 1980 — Булыгина Т. В. Грамматические и семантические категории и их связи. — Аспекты семантических исследований. Отв. ред. Н. Д. Арутюнова и А. А. Уфимцева. М., 1980.
41. Бродский 1973 — Бродский И. И. Отрицательные высказывания. Л., 1973.
42. Быстров и др. 1975 — Быстров И. С., Нгуен Тай Кан, Станкевич Н. В. Грамматика вьетнамского языка. Л., 1975.
43. Ван Валин, Фоли 1982 — Ван Валин Р., Фоли У. Референциально-ролевая грамматика. — НЗЛ. Вып. XI. М., 1982.
44. Вардуль 1978 — Вардуль И. Ф. Основы описательной лингвистики. М., 1978.
45. Величковский 1982 — Величковский Б. М. Современная когнитивная психология. М., 1982.
46. Вероятностное прогнозирование... 1977 — Вероятностное прогнозирование в деятельности человека. Под ред. И. М. Фейгенберга и Г. Е. Журавлева. М., 1977.
47. Винарская 1971 — Винарская Е. Н. Клинические проблемы афазии. М., 1971.
48. Виноград 1976 — Виноград Т. Программа, понимающая естественный язык. М., 1976.
49. Витгенштейн 1958 — Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958.

50. Володин, Храковский 1974 — Володин А. П., Храковский В. С. Об основании выделения грамматических категорий (времена и наклонения). — Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Отв. ред. В. С. Храковский. Л., 1974.
51. Восточное языкознание... 1972 — Восточное языкознание: Факультативность. Под ред. В. М. Солнцева. М., 1972.
52. Выготский 1982 — Выготский Л. С. Мышление и речь. — Выготский Л. С. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1982.
53. Выдрин 1986 — Выдрин В. Ф. Грамматический очерк языка лоома. АКД. Л., 1986.
54. Гак 1986 — Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис. М., 1986.
55. Галунов 1981 — Галунов В. И. Бионическая модель системы распознавания речи. — Исследование моделей речеобразования и речевосприятия. Под ред. В. И. Галунова. Л., 1981.
56. Галунов и др. 1986 — Галунов В. И., Королева И. В., Шургая Г. Г. Взаимодействие двух полушарий в процессе обработки речевой информации. — Акустика речи и слуха. Под ред. Л. А. Чистович. Л., 1986.
57. Гао Мин-кай 1955 — Гао Мин-кай. Проблема частей речи в китайском языке. — ВЯ. 1955, № 3.
58. Генюшене 1978 — Генюшене Э. Ш. Бенефактивные транзитивные рефлексивы в литовском языке. — Проблемы теории грамматического залога. Под ред. В. С. Храковского. Л., 1978.
59. Генюшене 1981 — Генюшене Э. Ш. К теории описания рефлексивных глаголов (на материале литовского языка). — Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Под ред. В. С. Храковского. Л., 1981.
60. Гинзбург 1979 — Гинзбург Е. Л. Словообразование и синтаксис. М., 1979.
61. Гладкий 1985 — Гладкий А. В. Синтаксические структуры естественного языка в автоматизированных системах общения. М., 1985.
62. Глезер 1978 — Глезер В. Д. Кусочный Фурье-анализ изображений и роль затылочной, височной и теменной коры в зрительном восприятии. — ФЖ. 1978, т. 64, № 12.
63. Глезер 1985 — Глезер В. Д. Зрение и мышление. Л., 1985.
64. Глезер и др. 1973 — Глезер В. Д., Иванов В. А., Щербач Т. А. Исследование рецептивных полей нейронов зрительной коры кошки как фильтров пространственных частот. — ФЖ. 1973, т. 59, № 2.
65. Гловинская 1982 — Гловинская М. Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
66. Грайс 1985 — Грайс Г. П. Логика и речевое общение. — НЗЛ. Вып. XVI. 1985.
67. Гранде 1974 — Гранде Б. М. Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1974.
68. Грановская 1974 — Грановская Р. М. Восприятие и модели памяти. Л., 1974.
69. Гринберг 1963 — Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической классификации языков. — НЛ. Вып. IV. 1963.
70. Гросс, Лантен 1971 — Гросс М., Лантен А. Теория формальных грамматик. М., 1971.
71. Губерман 1984 — Губерман Ш. А. Теория гештальта и системный подход. — СИ: Методологические проблемы. Ежегодник 1984. М., 1984.
72. Губерман, Розенцвейг 1976 — Губерман Ш. А., Розенцвейг В. В. Алгоритм распознавания рукописных текстов. — Автоматика и телемеханика. 1976, № 5.

73. Гузев 1987 — Гузев В. Г. Очерки по теории тюркского словоизменения: Имя (на материале староанатолийско-тюркского языка). Л., 1987.
74. Гумбольдт 1984 — Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
75. Деглин 1984 — Деглин В. Л. Функциональная асимметрия мозга человека (исследование методом унилатеральных электросудорожных припадков). АДД. Л., 1984.
76. Джонсон 1982 — Джонсон Д. Э. О реляционных ограничениях на грамматику.— НЗЛ. Вып. XI. 1982.
77. Диарра 1985 — Диарра Н. Структура современного языка боре (на базе диалектов дахаму и дуему). АКД. Л., 1985.
78. Долинина 1969 — Долинина И. Б. Способы представления синтаксической структуры предложения. — Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Под ред. А. А. Холодовича. Л., 1969.
79. Драгунов 1952 — Драгунов А. А. Исследования по грамматике современного китайского языка. М. — Л., 1952.
80. Драгунов 1962 — Драгунов А. А. Грамматическая система современного китайского разговорного языка. Л., 1962.
81. Дюбуа и др. 1986 — Дюбуа Ж. и др. Общая риторика. М., 1986.
82. Еловков 1977 — Еловков Д. И. Очерки по лексикологии языков Юго-Восточной Азии. Л., 1977.
83. Еловков, Касевич 1979 — Еловков Д. И., Касевич В. Б. Некоторые проблемы лингвистики в свете материала языков Юго-Восточной Азии. — ВЛУ. 1979, № 8.
84. Ельмслев 1960 — Ельмслев Л. Прологомены к теории языка. — НЛ. Вып. 1. 1960.
85. Ермолаева 1987 — Ермолаева Л. С. Очерки по сопоставительной грамматике германских языков. М., 1987.
86. Есперсен 1958 — Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958.
87. Зограф 1976 — Зограф Г. А. Морфологический строй новых индоарийских языков: Опыт структурно-типологического анализа. М., 1976.
88. Золотова 1982 — Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
89. **Зубкова 1984** — Зубкова Л. Г. Части речи в фонетическом и морфонологическом освещении. М., 1984.
90. Ильин и др. 1977 — Ильин Г. М. и др. Лингвистический подход к задаче построения информационной системы. — Информационные вопросы семиотики, лингвистики и автоматического перевода. Вып. 2. М., 1977.
91. Исаченко 1965 — Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология. Братислава, 1965.
92. Исаченко 1972 — Исаченко А. В. Роль усечения в русском словообразовании. — International Journal of Russian Linguistics and Poetics. Vol. XV. 1972.
93. Исенина 1987 — Исенина Е. И. Начальный период развития речи у детей: проблемы и гипотезы. — ВП. 1987, № 2.
94. Карапетьянц 1962 — Карапетьянц А. М. Слово и слогоморфема в современном китайском языке. — Теоретические проблемы восточного языкознания. Ч. 6. М., 1962. /293/ /294/
95. Касевич 1973 — Касевич В. Б. Интерференция в системе синтагматических и парадигматических форм бирманского глагола. — Вопросы филологии стран Азии и Африки. 2. Л., 1973.
96. Касевич 1974 — Касевич В. Б. Проблема предмета языкознания. — ВЛУ. 1974, № 14.
97. Касевич 1977 — Касевич В. Б. Элементы общей лингвистики. М., 1977.

98. Касевич 1981 — Касевич В. Б. Акцессивные, рецессивные и рефлексивные конструкции в бирманском языке. — Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Под ред. В. С. Храковского. Л., 1981.
99. Касевич 1983 — Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983.
100. Касевич 1984a — Касевич В. Б. Иерархическая структура языка и речевой деятельности. — Принципы и методы логопедической работы. Под ред. В. А. Ковшикова и др. Л., 1984.
101. Касевич 1984b — Касевич В. Б. [Рец. на:] Николаева Т. М. Семантика акцентного выделения. — ИАН СЛЯ. 1984, т. 43, № 3.
102. Касевич 1984c — Касевич В. Б. Связанные словосочетания. — Востоковедение. 9. Л., 1984.
103. Касевич 1986a — Касевич В. Б. Информационная структура текста и просодическая структура речи. — Проблемы фонетики и фонологии. Материалы Всесоюзного совещания. М., 1986.
104. Касевич 1986b — Касевич В. Б. Морфонология. Л., 1986.
105. Касевич, Храковский 1983 — Касевич В. Б., Храковский В. С. Конструкции с предикатными актантами. Проблемы семантики. — Категории глагола и структура предложения. Под ред. В. С. Храковского. Л., 1983.
106. Касевич, Храковский 1985 — Касевич В. Б., Храковский В. С. От пропозиции к семантике предложения. — Типология конструкций с предикатными актантами. Под ред. В. С. Храковского. Л., 1985.
107. Кацнельсон 1970 — Кацнельсон С. Д. Порождающая семантика и процесс синтаксической деривации. — Progress in Linguistics. Ed. by M. Bierwisch and K. E. Heidolph. The Hague — Paris, 1970.
108. Кацнельсон 1982 — Кацнельсон С. Д. Концепция лингвистической типологии Адама Смита. — ИАН СЛЯ. 1982, т. 41, № 1.
109. Квантитативная типология... 1982 — Квантитативная типология языков Азии и Африки. Под ред. В. Б. Касевича и С. Е. Яхонтова. Л., 1982.
110. Кибрик 1979 — Кибрик А. Е. Подлежащее и проблема универсальной модели языка. — ИАН СЛЯ. 1979, т. 36, № 4.
111. Кибрик 1986 — Кибрик А. Е. Прагматическое основание универсальности семантических категорий. — Функционально-типологические проблемы грамматики. Тезисы научно-практической конференции. Ч. 1. Вологда, 1986.
112. Кинэн 1982 — Кинэн Э. Л. К универсальному определению подлежащего. — НЗЛ. Вып. XI. 1982.
113. Кифер 1978 — Кифер Ф. О пресуппозициях. — НЗЛ. Вып. VIII. 1978.
114. Клике 1985 — Клике Ф. Пробуждающееся мышление: История развития человеческого интеллекта. Киев, 1985.
115. Ковшиков 1986 — Ковшиков В. А. Экспрессивная алалия. Л., 1986.
116. Козинский, Соколовская 1984 — Козинский И. Ш., Соколовская Н. К. О соотношении актуального и синтаксического членения в синхронии и диахронии. — Восточное языкознание: Грамматическое и актуальное членение предложения. Отв. ред. В. М. Солнцев. М., 1984.
117. Коломбетти 1979 — Коломбетти М. О структуре знания в модели человеческого разума. — Представление знаний и моделирование процессов понимания. Под ред. А. С. Нариньяни. Новосибирск, 1979.
118. Комри 1985 — Комри Б. Номинализация в русском языке: словарно-задаваемые именные группы или трансформированные предложения? — НЗЛ. Вып. XV. 1985.
119. Коул, Скрибнер 1977 — Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М., 1977.

120. Кубрякова 1974 — Кубрякова Е. С. Основы морфологического анализа. М., 1974.
121. Кубрякова 1986 — Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности. М., 1986.
122. Кузьменков 1984 — Кузьменков Е. А. Глагол в монгольском языке. М., 1984.
123. Курилович 1960 — Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1960.
124. Леви-Стросс 1985 — Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985.
125. Лейкина 1978 — Лейкина Б. М. К проблеме соотношения залога и коммуникативного членения. — Проблемы теории грамматического залога. Под ред. В. С. Храковского. Л., 1978.
126. Леонтьев 1972 — Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972.
127. Либерман и др. 1967 — Либерман А. М. и др. Некоторые замечания относительно эффективности звуков речи. — Исследование речи. Новосибирск, 1967.
128. Ломов, Сурков 1980 — Ломов Б. Ф., Сурков Е. Н. Антиципация в структуре деятельности. М., 1980.
129. Лотман 1984 — Лотман Ю. М. О семиосфере. — Структура диалога как принцип работы семиотического механизма. Труды по знаковым системам, XVII (Уч. зап. Тартуского гос. университета. Вып. 641). Тарту, 1984.
130. Мазо 1978 — Мазо В. Д. Группа существительного в бирманском языке. М., 1978.
131. Мартине 1963 — Мартине А. Основы общей лингвистики. — НЛ. Вып. III. 1963.
132. Маслов 1968 — Маслов Ю. С. Об основных и промежуточных ярусах в структуре языка. — ВЯ. 1968, № 4.
133. Маслов 1975 — Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М., 1975.
134. Маслов 1984 — Маслов Ю. С. Очерки по аспектологии. Л., 1984.
135. Мельников 1969 — Мельников Г. П. Языковая стратификация и классификация языков. — Единицы разных уровней грамматического строя и их взаимодействие. Под ред. В. Н. Ярцевой и Н. Ю. Шведовой. М., 1969.
136. Мещанинов 1945 — Мещанинов И. И. Понятийные категории в языке. — Труды Военного института иностранных языков, 1945, № 1.
137. Мещанинов 1967 — Мещанинов И. И. Примыкание в различных синтаксических системах. — ВЯ. 1967, № 3.
138. Миллер и др. 1965 — Миллер Дж., Галантер Е., Прибрам К. Планы и структура поведения. М., 1965.
139. Минский 1981 — Минский М. Фреймы для представления знаний. М., 1981.
140. Моисеев 1985 — Моисеев А. И. Словообразование современного русского языка. Л., 1985.
141. Морев и др. 1972 — Морев Л. Н., Москалев А. А., Плам Ю. Я. Лаосский язык. М., 1972.
142. Моррис 1983 — Моррис Ч. У. Знаки и действия. — Семиотика. Под ред. Ю. С. Степанова. М., 1983.
143. Мухин 1980 — Мухин А. М. Синтаксемный анализ и проблема уровней языка. Л., 1980.
144. Мучник 1974a — Мучник Б. С. Исследование восприятия неоднозначных предложений с целью выявления общих закономерностей читательского восприятия. — Исследование рече-мыслительной деятельности. Отв. ред. А. А. Муканов. Алма-Ата, 1974.
145. Мучник 1974b — Мучник Б. С. Исследование роли контекста с целью уточнения выявленных общих закономерностей. — Исследование рече-мыслительной деятельности. Отв. ред. А. А. Муканов. Алма-Ата, 1974.
146. Налимов 1979 — Налимов В. В. Вероятностная модель языка. М., 1979.
147. Никитина 1982 — Никитина Т. Н. Грамматика древнекитайских текстов. Л., 1982.

148. Николаева 1982 — Николаева Т. М. Семантика акцентного выделения. М., 1982.
149. Оглоблин 1986 — Оглоблин А. К. Мадурский язык. Л., 1986.
150. Ожегов 1960 — Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1960.
151. Основы речевой деятельности 1974 — Основы речевой деятельности. Отв. ред. А. А. Леонтьев. М., 1974.
152. Остин 1986 — Остин Дж. К. Слово как действие. — Н(З)Л. Вып. XVII. 1986.
153. Павиленис 1983 — Павиленис Р. И. Проблема смысла. М., 1983.
154. Павлов 1985 — Павлов В. М. Понятие лексемы и проблема отношений синтаксиса и словообразования Л., 1985.
155. Падучева 1964 — Падучева Е. В. О способах представления синтаксической структуры предложения. — ВЯ. 1964, № 2.
156. Падучева 1974 — Падучева Е. В. О семантике синтаксиса: Материалы к трансформационной грамматике русского языка. М., 1974.
157. Падучева 1985 — Падучева Е. В. Высказывание и его соотношенность с действительностью. М., 1985.
158. Панфилов 1985 — Панфилов В. С. Вьетнамская морфемика. — ВЯ. 1985, № 4.
159. Пашковский 1980 — Пашковский А. А. Слово в японском языке. М., 1980.
160. Перельмутер 1977 — Перельмутер И. А. Общеиндоевропейский и греческий глагол: Видо-временные и залоговые категории. Л., 1977.
161. Перлмуттер, Постал 1982 — Перлмуттер Д. М., Постал П. М. О формальном представлении структуры предложения. — Н(З)Л. Вып. XI. 1982. /295//296/
162. Пешковский 1936 — Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1936.
163. Полозова 1978 — Полозова Н. В. Пассивные конструкции с pja в индонезийском языке. — Проблемы теории грамматического залога. Под ред. В. С. Храковского. Л., 1978.
164. Потеня 1958 — Потеня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М., 1958.
165. Прокофьев 1973 — Прокофьев Г. И. Тематическая конструкция (с дублированием темы местоименной энклитикой) в индонезийском языке. АКД. Л., 1973.
166. Рачков 1981 — Рачков Г. Е. Введение в морфологию современного тагальского языка. Л., 1981.
167. Ревзин 1964 — Ревзин И. И. Каково значение малайско-полинезийских языков для общей теории моделирования языка? — Вопросы структуры языка. Отв. ред. Вяч. Вс. Иванов. М., 1964.
168. Ревзин, Юлдашева 1969 — Ревзин И. И., Юлдашева Г. Д. Грамматика порядков и ее применения. — ВЯ. 1969, № 1.
169. Ревзина, Чанишвили 1978 — Ревзина О. Г., Чанишвили Н. В. О пассивном залоге в грузинском языке. — Проблемы теории грамматического залога. Под ред. В. С. Храковского. Л., 1978.
170. Реферовская 1984 — Реферовская Е. А. Аспектуальные значения французского глагола. — Теория грамматического значения и аспектологические исследования. Отв. ред. А. В. Бондарко. Л., 1984.
171. Реформатский 1967 — Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1967.
172. Румянцев 1978 — Румянцев М. К. Синтез китайских слогов (инициали) — ФН. 1978, № 5.
173. Русская грамматика 1982 — Русская грамматика. Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1982.
174. Садовский 1974 — Садовский В. И. Основания общей теории систем. М., 1974.

175. Сахарный 1985 — Сахарный Л. В. Психолингвистические аспекты теории словообразования. Л., 1985.
176. Светозарова 1982 — Светозарова Н. Д. Интонационная система русского языка. Л., 1982.
177. Севбо и др. 1983 — Севбо И. П. и др. От структурной лингвистики — к искусственному интеллекту. — Методологические проблемы искусственного интеллекта (Уч. зап. Тартуского гос. университета. Вып. 654). Тарту, 1983.
178. Семантические типы предикатов 1982 — Семантические типы предикатов. Под ред. О. Н. Селиверстовой. М., 1982.
179. Сепир 1934 — Сепир Э. Язык. М. — Л., 1934.
180. Серль 1986a — Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов. — Н(3)Л. Вып. XVII. 1986.
181. Серль 1986b — Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? — Н(3)Л. Вып. XVII. 1986.
182. Скорик 1979 — Скорик П. Я. Чукотско-камчатские языки. — Языки Азии и Африки. Т. III. М., 1979.
183. **Слинин 1976** — Слинин Я. А. Современная модальная логика. Л., 1976.
184. Словарь по кибернетике 1979 — Словарь по кибернетике. Под ред. В. М. Глушкова. Киев, 1979.
185. Слюсарева 1981 — Слюсарева Н. А. Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. М., 1981.
186. Смирнов В. А. 1981 — Смирнов В. А. Современные семантические исследования модальных и интенциональных логик. — Семантика модальных и интенциональных логик. Общ. ред. В. А. Смирнова. М., 1981.
187. Смирнов Г. А. 1977 — Смирнов Г. А. К определению целостного идеального объекта. — СИ: Ежегодник 1977. М., 1977.
188. Солнцев 1977 — Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. М., 1977.
189. Солнцева 1985 — Солнцева Н. В. Проблемы типологии изолирующих языков. М., 1985.
190. Солнцева, Солнцев 1965 — Солнцева Н. В., Солнцев В. М. Опыт экспериментального исследования функционирования морфологических категорий в изолирующих языках (на материале китайского языка). — Спорные вопросы строя китайского языка. Отв. ред. Ю. В. Рождественский. М., 1965.
191. Соссюр 1977 — Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.
192. Сыромятников 1971 — Сыромятников Н. А. Система времен в новояпонском языке. М., 1971.
193. Теория речевой деятельности 1968 — Теория речевой деятельности. Под ред. А. А. Леонтьева. М., 1968.
194. Типология каузативных конструкций 1969 — Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Под ред. А. А. Холодовича. Л., 1969.
195. Трубецкой 1967 — Трубецкой Н. С. Некоторые соображения относительно морфонологии. — Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
196. Уемов 1963 — Уемов А. И. Вещи, свойства и отношения. М., 1963. [/296//297/](#)
197. Уорф 1972 — Уорф Б. А. Грамматические категории. — Принципы типологического анализа языков различного строя. Отв. ред. Б. А. Успенский. М., 1972.
198. Успенский 1965 — Успенский Б. А. Структурная типология языков. М., 1965.
199. Ушакова 1986 — Ушакова Т. Н. Речь как когнитивный процесс и как средство общения. — Когнитивная психология. Отв. ред. Б. Ф. Ломов и др. М., 1986.

200. Физиология поведения 1986 — Физиология поведения: Нейрофизиологические закономерности. Под ред. А. С. Батуева и др. М., 1986.
201. Финк 1978 — Финк Л. М. Сигналы, помехи, ошибки... (Заметки о некоторых неожиданностях, парадоксах и заблуждениях в теории связи). М., 1978.
202. Функциональное направление... 1980 — Функциональное направление в современном французском языкознании. Реферативный сборник. Под ред. Л. Г. Ведениной и др. М., 1980.
203. Хинтиikka 1974 — Хинтиikka Я. Вопрос о вопросах. — Философия в современном мире. Философия и логика. М., 1974.
204. Хинтиikka 1980 — Хинтиikka Я. Логико-эпистемологические исследования. М., 1980.
205. Хоккетт 1965 — Хоккетт Ч. Грамматика для слушающего. — НЛ. Вып. IV. 1965.
206. Холодович 1963 — Холодович А. А. О предельных и непредельных глаголах. — Филология стран Востока. Отв. ред. Е. М. Пинус и С. Н. Иванов. Л., 1963.
207. Холодович 1979 — Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
208. Хомский 1961 — Хомский Н. Три модели описания языка. — Кибернетический сборник. Вып. 2. М., 1961.
209. Хомский 1965 — Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1965.
210. Храковский 1974 — Храковский В. С. Пассивные конструкции. — Типология пассивных конструкций. Под ред. А. А. Холодовича. Л., 1974.
211. Храковский 1986 — Храковский В. С. Семантические типы множества ситуаций (опыт классификации). — ИАН СЛЯ. 1986, т. 45, № 2.
212. Храковский, Володин 1986 — Храковский В. С., Володин А. П. Семантика и типология императива: Русский императив. Л., 1986.
213. Чарняк 1983 — Чарняк Ю. Умозаключения и знания. — Н(3)Л. Вып. XII. 1983.
214. Чейф 1975 — Чейф У. Значение и структура языка. М., 1975.
215. Черч 1960 — Черч А. Введение в математическую логику. М., 1960.
216. Члены предложения... 1972 — Члены предложения в языках различных типов. Под ред. В. М. Жирмунского и др. М., 1972.
217. Шабельникова 1980 — Шабельникова Е. М. Восприятие тонов и сегментных единиц китайской речи. АКД. Л., 1980.
218. Шведова 1983 — Шведова Н. Ю. Один из возможных путей построения функциональной грамматики русского языка. — Проблемы функциональной грамматики. Тезисы конференции. М., 1983.
219. Шрейдер 1967 — Шрейдер Ю. А. О семантических теориях информации. — Информация и кибернетика. М., 1967.
220. Штерн 1981 — Штерн А. С. Влияние лингвистических факторов на восприятие речи. АКД. Л., 1981.
221. Щерба 1936 — Щерба Л. В. Опыты лингвистического толкования стихотворений. II. «Сосна» Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом — Советское языкознание. Т. II. Л., 1936.
222. Щерба 1956 — Щерба Л. В. Фонетика французского языка. М., 1956.
223. Щерба 1974 — Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность Л., 1974.
224. Эшби 1959 — Эшби У. Р. Введение в кибернетику. М., 1959.
225. Языки Юго-Восточной Азии 1980 — Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. Отв. ред. Н. Ф. Алиева. М., 1980.
226. Якобсон 1972 — Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол. — Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
227. Якобсон 1985 — Якобсон Р. О. Избранные труды. М., 1985.
228. Ярошевский 1976 — Ярошевский М. Г. История психологии. М., 1976.

229. Яхонтов 1968 — Яхонтов С. Е. Части речи в общем и китайском языкознании — Вопросы теории частей речи. На материале языков различных типов Под. ред. В. М. Жирмунского и др. Л., 1968.
230. Bossong 1986 — Bossong G. [Rec. ad op.:] Objects. Towards a Theory of Grammatical Relations. — *Lingua*, 1986, vol. 69, № 1/2.
231. Brown 1983 — Brown G. Prosodic Structure and the Given/New Distinction. — *Prosody: /297//298/ Models and Measurements*. Ed. by A. Cutler and D. R. Ladd. Berlin e. a., 1983.
232. Bruce 1956 — Bruce D. Effects of Context upon the Intelligibility of Heard Speech-Information Theory. Ed. by C. Cherry. London, 1956.
233. Chao Yuen Ren 1976 — Chao Yuen Ren. Aspects of Chinese Sociolinguistics. Stanford, 1976.
234. Chernigovskaya, Deglin 1986 — Chernigovskaya T. V., Deglin V. L. Brain Functional Asymmetry and Neural Organization of Linguistic Competence. — *Brain and Language*. 1986, vol. 29, № 1.
235. Cole, Jakimik 1980 — Cole R., Jakimik J. A Model of Speech Perception. — *Perception and Production of Fluent Speech*. Ed. by R. A. Cole. Hillsdale (N. J.), 1980.
236. Comrie 1976 — Comrie B. Aspect: An Introduction to the Study of Verbal Aspects and Related Problems. Cambridge, 1976.
237. Comrie 1981 — Comrie B. Tense. Cambridge, 1981.
238. Cooper, Sorensen 1981 — Cooper W. E., Sorensen J. M. Fundamental Frequency in Speech Production. Berlin e. a., 1981.
239. Creider 1979 — Creider Ch. A. On the Explanation of Transformations. — *Syntax and Semantics*. Vol. 12. Ed. by T. Givón. New York e. a., 1979.
240. Crowder, Morton 1969 — Crowder R. G., Morton J. Precategorical Acoustic Storage. — *Perception and Psychophysics*. 1969, № 5.
241. Dai Xuan Ninh 1978 — Dai Xuan Ninh. Hoạt động của từ' tiê'ng Việt. Hà Nội. 1978.
242. Derwing 1973 — Derwing B. L. Transformational Grammar as a Theory of Language Acquisition: A Study in the Empirical, Conceptual, and Methodological Foundations of Contemporary Linguistics. Cambridge, 1973.
243. Dik 1980 — Dik S. C. Studies in Functional Grammar. London e. a., 1980.
244. Dinnsen, Charles-Luce 1984 — Dinnsen D., Charles-Luce I. Phonological Neutralization, Phonological Implementation, and Individual Differences. — *JPhon*. 1984, vol. 12, № 1.
245. Dressler 1968 — Dressler W. Studien zur verbalen Pluralität. Wien, 1968.
246. Firbas 1983 — Firbas J. On Bipartition, Tripartition, and Pluripartition in the Theory of Functional Sentence Perspective. — *Tekst i zdanie*. Pod red. T. Dobrzyńskiej i E. Janus. Wrocław e. a., 1983.
247. Fodor J. A. 1983 — Fodor J. A. The Modularity of Mind. Cambridge (Mass.), 1983.
248. Fodor J. D. 1980 — Fodor J. D. Semantics: Theories of Meaning in Generative Grammar. Cambridge (Mass.), 1980.
249. Foss et al. 1980 — Foss D., Harwood D. A., Blank M. A. Deciphering Decoding Decisions: Data and Devices. — *Perception and Production of Fluent Speech*. Ed. by R. A. Cole. Hillsdale (N. J.), 1980.
250. Fraurud, Hellman 1985a — Fraurud K., Hellman Ch. In Quest of Coherence: Approaches to Discourse Comprehension. — PIL. Publication 53. 1985.
251. Fraurud, Hellman 1985b — Fraurud K., Hellman Ch. What's Next in a Text? A Method for Investigating Discourse Processing. — PIL. Publication 54. 1985.
252. Gabelentz 1953 — Gabelentz G. van der. Chinesische Grammatik. Berlin, 1953.
253. Givon 1979 — Givon T. On Understanding Grammar. New York e. a., 1979.

254. Greenberg 1962 — Greenberg J. Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements. — *Universals of Language*. Ed. by J. Greenberg. Cambridge (Mass.), 1962.
255. Grover-Stripp, Bellin 1983 — Grover-Stripp M., Bellin W. A Comparative Study of Syntagmatic Associations among Polish and English Adults. — *Linguistics*. 1983, vol. 21, № 2.
256. Hajičová 1983 — Hajičová E. Topic and Focus. — *ThL*. 1983, vol. 10, № 2/3.
257. Halle, Stevens 1959 — Halle M., Stevens K. Analysis by Synthesis. — *Proceedings of the Seminar on Speech Comprehension and Processing*. Ed. by W. Wathen-Dunn and L. E. Woods. Bedford (Mass.), 1959.
258. Halliday 1970 — Halliday M. A. K. *A Course in Spoken English: Intonation*. Oxford, 1970.
259. Halliday 1985 — Halliday M. A. K. *An Introduction to Functional Grammar*. London, 1985.
260. Hope 1981 — Hope E. R. Non-Syntactic Constraints on Lisu Noun Phrase Order. — *FL*. 1981, vol. 10, № 1.
261. Hsieh Hsin-I 1979 — Hsieh Hsin-I. Logical, Syntactic, and Morphological Notions of Subject. — *Lingua*. 1979, vol. 48, № 4.
262. Jackendoff 1972 — Jackendoff R. *Semantic Interpretation in Generative Grammar*. Cambridge (Mass.), 1972. /298//299/
263. Jakobson 1980 — Jakobson R. *Brain and Language: Cerebral Hemispheres and Linguistic Structure in Mutual Light*. Chicago, 1980.
264. Johnson-Laird 1983 — Johnson-Laird Ph. N. *Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and Consciousness*. Cambridge, 1983.
265. Jones 1961 — Jones R. B., Jr. *Karen Linguistic Studies: Description, Comparison, and Texts*. Berkeley — Los Angeles, 1961.
266. Keenan 1976 — Keenan E. L. The Logical Diversity of Natural Languages. — *Origins and Evolution of Language and Speech*. Ed. by S. R. Harnard, H. D. Steklis, and J. Lancaster. New York, 1976.
267. Kintsch 1974 — Kintsch W. K. *The Representation of Meaning in Memory*. Hillsdale (N. J.), 1974.
268. Kintsch, Dijk 1978 — Kintsch W. K., Dijk T. van. Towards a Model of Text Comprehension and Production. — *PR*. 1978, vol. 85.
269. Kintsch W., Mross 1985 — Kintsch W., Mross E. F. Context Effects in Word Identification. — *JML*. 1985, vol. 24, № 3.
270. Klatt 1980 — Klatt D. Speech Perception: A Model of Acoustic-Phonetic Analysis and Lexical Access. — *Perception and Production of Fluent Speech*. Ed. by R. A. Cole. Hillsdale (N. J.), 1980.
271. Koffka 1931 — Koffka K. Gestalt. — *Encyclopedia of the Social Sciences*. Vol. 6. New York, 1931.
272. Kooj 1978 — Kooj J. G. Word Order and Syntactic Theory: Topicality in Dutch. — *Proceedings of the 12th International Congress of Linguistics*. Ed. by W. U. Dressler and W. Meid. Innsbruck, 1978.
273. Koschmieder 1965 — Koschmieder E. *Bertrage zur allgemeinen Syntax*. Heidelberg, 1965.
274. Kuryłowicz 1968 — Kuryłowicz J. The Notion of Morpho(pho)neme. — *Directions for Historical Linguistics: A Symposium*. Ed. by W. P. Lehman and Malkiel. Austin — London, 1968.
275. Ladefoged 1967 — Ladefoged P. *Three Areas of Experimental Phonetics*. Oxford, 1967.

276. Lehiste 1973 — Lehiste I. Phonetic Disambiguation of Syntactic Ambiguity. — *Glossa*. 1973, vol. 7, № 2.
277. **Lorch et al. 1985** — Lorch R. F., Jr., Lorch E. P., Mathews P. D. On-Line Processing of the Topic Structure of a Text. — *JML*. 1985, vol. 24, № 3.
278. Ludtke 1969 — Ludtke H. Die Alphabetschrift und das Problem der Lautsegmentierung. — *Phonetica*. 1969, vol. 20, № 1.
279. Lyons 1978 — Lyons J. *Semantics*. Vol. 1. London e. a., 1978.
280. Mallinson, Blake 1981 — Mallinson G., Blake B. *Language Typology: Cross-Linguistic Studies in Syntax*. Amsterdam e. a., 1981.
281. Marcel 1980 — Marcel T. Phonological Awareness and Phonological Representation: Investigation of a Specific Spelling Problem. — *Cognitive Processes in Spelling*. London, 1980.
282. Martinet 1967 — Martinet A. Syntagme et syntheme. — *La linguistique*. 1967, № 2.
283. Massaro 1987 — Massaro D. W. *Speech Perception by Ear and Eye: A Paradigm for Psychological Inquiry*. Hillsdale (N. J.) — London, 1987.
284. McCawley 1982 — McCawley J. *Thirty Million Theories of Grammar*. Chicago, 1982.
285. Miller, Chomsky 1963 — Miller G. A., Chomsky N. Finitary Models of Language Users. — *Handbook of Mathematical Psychology*. Vol. 2. New York — London, 1963.
286. Nagel 1963 — Nagel E. Wholes, Sums, and Organic Unities. — *Parts and Wholes: The Hayden Colloquium on Scientific Method and Concept*. Ed. by D. Lerner. New York — London, 1963.
287. Norman 1980 — Norman D. Copy-Cat Science or does the Mind Really Work by Table Look-up? — *Perception and Production of Fluent Speech*. Ed. by R. A. Cole. Hillsdale (N. J.), 1980.
288. **Rubinstein 1974** — Rubinstein H. *Psycholinguistics: An Overview*. — *Current Trends in Linguistics*. Vol. 12. Linguistics and Adjacent Arts and Sciences. Pt. 3. The Hague — Paris, 1974.
289. Sgall 1984 — Sgall P. On Some Recent Trends in Grammar and Semantics. — *Recueil linguistique de Bratislava*. 1984. Vol. 7.
290. Simon 1969 — Simon H. A. *The Sciences of the Artificial*. Cambridge (Mass.), 1969.
291. Smith, Wilson 1980 — Smith N., Wilson D. *Modern Linguistics: The Results of Chomsky's Revolution*. Bloomington, 1980. [/299/300/](#)
292. *Studies in Relational Grammar* 1983 — *Studies in Relational Grammar*. Ed. by D. M. Perlmutter. Chicago — London, 1983.
293. **Subject and Topic 1976** — *Subject and Topic*. Ed. by Ch. N. Li. New York e. a., 1976.
294. Terken 1980 — Terken J. M. B. The Distribution of Pitch Accent in Descriptive Language as a Function of Informational Variables. — *IPO Annual Progress Report*. 1980, № 15.
295. Warren 1976 — Warren R. M. *Auditory Perception and Speech Evolution*. — *Origins and Evolution of Language and Speech*. New York, 1976.
296. Wierzbicka 1969 — Wierzbicka A. *Dociekania semantyczne*. Wrocław e. a., 1969.
297. Wierzbicka 1986 — Wierzbicka A. Semantics and the Interpretation of Cultures: The Meaning of 'Alternate Generations' Devices in Australian Languages. — *Man*. 1986, vol. 21, № 1. [/300/301/](#)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ

АДД	— Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора... наук
АКД	— Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата... наук
ВП	— Вопросы психологии
ВЛУ	— Вестник Ленинградского университета
ВЯ	— Вопросы языкознания
ИАН СЛЯ	— Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка
Н(З)Л/НЗЛ	— Новое в (зарубежной) лингвистике. М.
СИ	— Системные исследования
ФЖ	— Физиологический журнал им. И. М. Сеченова
ФН	— Научные доклады высшей школы. Филологические науки
FL	— Foundations of Language
JML	— Journal of Memory and Language
JPhon	— Journal of Phonetics
PIL	— Publications in Linguistics, University of Stockholm
PR	— Psychological Review
ThL	— Theoretical Linguistics

/301//302/

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ*

- Агглютинативность III 8 — III 8.1,
III 8.3 — III 8.4
Актант II 5.3 — II 9, V 7.4, 3 5
Актант сложный III 26.3
Актуальное членение предложения *см.*
Коммуникативная организация
семантики высказывания
Алломорф III 2.2.2, III 18.1
Алломорфия III 8.1
Анализ (в речевой деятельности) I 2.1,
I 2.2, I 3, V 7.4 *см. тж.* Восприятие
речи
Анализ через синтез В 11, В 11.2, V 4.2.1
Аргумент I 8.4, I 8.5, I 8.7, I 9 — I 12,
III 1.2
Аффикс III 2.2.3, III 2.2.5, III 7.1 —
III 11, III 12.1, III 15.3, III 19, III 19.2.3
Валентность активная IV 3.2
Валентность обязательная II 2.3
Валентность пассивная IV 3.2
Валентность содержательная
(семантическая) I 2.1, I 8.3, I 8.4, I 8.7,
II 2.3.1
Валентность факультативная II 2.3
Валентность формальная I 2.1, I 8.3,
II 2.3.1, III 27, III 27.2, V 5.5.1
Вербоцентрические концепции II 5.1
Вида категория I 8.1, III 18.2.1, III 18.2.4,
III 19 — III 21, III 23
Возможные миры I 9
Восприятие речи В 8.2, В 10, В 11 —
В 11.3, I 8, I 19.1, V 1, V 3.3 — V 8.5,
3 6
Времени категория III 17, III 18.2.4,
III 20, III 22 — III 23
Высказывание II 2
Высказываний синонимия I 2.3, I 3, I 8
Генеративизм II *см. тж.* Грамматика
порождающая, Лингвистика
генеративная
Грамматика зависимостей II 4, II 9,
V 3.2, V 7.4, 3 6
Грамматика непосредственно
составляющих II 4, II 9, V 6.2 — V 8,
3 6
Грамматика порождающая В 11.1
Грамматика порядков III 10 — III 10.3
Грамматика реляционная II 6.2.1, II 10
Грамматика Теньера II 9
Группа синтаксическая В 7.2, II 10.1
Дериватор В 6.1, В 7.3, III 2.2.6, III 5.1
Диалект В 1.8
Единица таксономическая (в
классификации языков) В 1.1
Единство сверхфразовое II 10.3
Залога категория III 26 — III 26.3
Знак В 2.1, I 1, I 2.1, III 2.2.3, 3 3
Знака денотат В 2.1, I 8.4, I 15
Знака десигнат В 2.1, I 15
Знака означаемое *см.* Знака десигнат
Знака означающее *см.* Знака экспонент
Знака референт В 2.1, I 8.4, I 15
Знака сигнификат *см.* Знака десигнат
Знака экспонент В 2.1
Значение грамматическое I 8.1
Значение лексическое I 8.1
Иконичность I 18, II 7.3, 3 5
Иллокутивный акт I 7.2 — I 7.3
Императив III 24 — III 24.4
Имя (в семантике) I 8.2.2 — I 8.3

* Указание дается на главу (римскими цифрами) или раздел (буквами) и параграф (арабскими цифрами). П — Предисловие, В — Введение, 3 — Заключение, ПМ — Примечания; например, отсылка IV ПМ 15 означает «прим. 15 к гл. IV».

- Инвариант семантический III 18.2 — III 18.2.2, III 20.1 — III 20.2
- Инвентарные единицы языка I 6.2, III 12.1, III 13.3, III 14.5.1, III 15.1 — III 15.3
- Индексальные элементы I 7
- Инкорпоративный комплекс III 13.4
- /302/ /303/*
- Интерференция языковая B 1.6, B 1.8
- Интонаема B 7.5
- Инфикс III 9, III 19.4.1
- Информация B 2, B 3, B 10, B 12
- Истинность высказывания I 7.1 — I 7.4, I 8.4, I 17.2
- Картина мира B 3
- Категория грамматическая III 18 — III 18.3.2
- Категория классифицирующая III 16, IV 2, IV 2.3 — IV 2.4.2, IV 3, IV 4
- Категория скрытая III 19.3, IV 3 — IV 3.3
- Категория формообразующая III 17, IV 5
- Каузатива категория III 18.8.2, III 24.3, III 27 — III 27.3, III ПМ 5
- Квазиаффикс III 7.2.7 — III 8, III 10, III 10.3, III 13.1, III 13.4, III 15.3
- Квазислово III 10.2, III 10.3, III 13.1 — III 13.3, III 15.2 — III 15.3
- Классификаторы IV 3.2
- Классификация языков генеалогическая (генетическая) B 1.1
- Классификация языков типологическая B 1.4
- Коммуникативная структура семантики высказывания I 19 — I 19.3.3, III 26.1.2
- Коммуникативная установка I 7.2
- Коммуникативный акт I 7, I 7.1, III 22 — III 22.1
- Компаративистика B 1.1
- Конситуация I 17 — I 17.1, III 17.1
- Конструктивные единицы языка I 6.2, III 12.1, III 13.3, III 14.5.1, III 15.3
- Конструкция прототипическая I 18, II 7.2, II 7.3
- Конструкция синтаксическая B 7.2, I 4, I 18, II 1, II 2 — II 2.4, II 7.1 — II 7.2, II 8 — II 9, III 18.3.2, V 3.1 — V 3.2, 3 5
- Конфикс *см.* Циркумфикс
- Корень III 2.1 — III 2.2, III 2.2.3, III 2.2.4, III 8.4, III 10, III 15.3, III 19.4.2, III ПМ 1
- Кореферентность I 9.3, II 10.2, II 10.4, III 25.1, III 26.2
- Лексема I 2.1
- Лексикология IV 1
- Лексический субкомпонент B 7.6.2, B 7.6.3
- Лингвистика ареальная B 1.5
- Лингвистика генеративная II, B 7.3, I 2.2
- Лингвистика диахроническая B 1.2
- Лингвистика контрастивная B 1.6
- Лингвистика синхроническая B 1.2
- Лингвистика речевой деятельности I 6.1
- Лингвистика текста I 1, I 5 — I 6.2
- Логических исчислений теория I 2.2
- Модальность III 24
- Модальность объективная I 9.3
- Модальность субъективная I 9.3
- Модульные компоненты системы B 5.2 — B 5.3
- Морф III 2.2.2
- Морфема III 2 — III 7.1, III 9, III 14.1 — III 14.4, III 14.5.3
- Морфема знаменательная III 3 — III 6.3
- Морфема полуслужебная III 6 — III 7
- Морфема служебная III 3 — III 7.2.1, III 7.2.6 — III 8
- Морфемы экспонент III 2.2.3
- Морфологический компонент B 7.4, III 1 — III 27.3
- Морфология B 5.1, B 7.4 *см. тж.* Морфологический компонент
- Морфотема III 9, III 19.4.2
- Надморфемные структуры III 2.2.5
- Наклонения категория I 9.2, III 24 — III 24.4
- Номинативный компонент B 7.3, IV 1 — IV 6
- Норма B 1.8, B 11.3
- Норма (в семантике оценки) I 13
- Нулевой показатель III 7.2.2 — III 7.2.3, III 10.2, III 24.4, III ПМ 9–10
- Оборот предикативный II 10.3
- Оператор I 8.2.1, I 8.3, I 13
- Оператор аспектуальный I 10.2

- Оператор временной (темпоральный) I 10.1
- Оператор-коннектор (оператор коннекторного типа) I 12, I 17.2
- Оператор императивности (побудительности) I 11
- Оператор интеррогативности (вопросительности) I 11
- Оператор ирреальности I 9.1
- Оператор модальный I 9.1, I 9.3, I 10
- Оператор нарративности (повествовательности) I 11
- Оператор реальности I 9.1, I 9.3
- Операторы утверждения и отрицания I 10
- Оператор фазовости I 10.2
- Оператор эпистемический I 9.2
- Определение II 5.3, II 10.1 /303//304/
- Оптатив III 24.3
- Орфофония B 11.3
- Орфоэпия B 11.3
- Основа III 2.2.5, III 8.4, III 15.3, III 19.4.2
- Основа мотивирующая B 6.1, IV 7
- Падеж II 6.1, III 1.2, III 17, III 19.3
- Парадигма (в морфологии) III 1.1, III 17.1 — III 17.1.1, III 24.2
- Пассива категория III 26.1 — III 26.1.3
- Переменные (в семантике) I 5, I 8.4
- Переходность глагола IV 2.3
- Перформативы I 7.3, III 24.2
- Поверхностно-синтаксический субкомпонент II 2
- Повторы III 2.2.4
- Показатель вторичный III 10.2, III 17.1.2, III 25.1
- Показатель нулевой *см.* Нулевой показатель
- Показатель первичный III 10.2, III 17.1.2, III 25.1
- Поле семантическое III 18.2.3
- Поле функционально-семантическое III 18.2.5
- Порождение речи B 10, B 11.1 — B 11.3, I 8, I 19.1, III 18.2, V 1 — V 3.2, 3 6
- Прагматика B 2.1, I 1, I 5, I 7 — I 7.4, 3 3
- Праязык B 1.1
- Предельность IV 2.4.1
- Предикат I 8.2.2 — I 14, I 18, I 19.2 — I 19.3.2
- Предикат второпорядковый I 13 — I 14
- Предиката интенция II 6.2.3
- Предикативность I 10.1, II 2.3.3
- Предложение II 2.2
- Предложение главное II 10.3
- Предложение придаточное II 10.3
- Предложение сложное II 10.3
- Предложение членное II 10.3
- Предложения трансформ II 10.3
- Презумпция *см.* Пресуппозиция
- Презумпция осмысленности (при восприятии речи) I 2.2, V 4.2.2
- Пресуппозиция I 7.3, I 8.6, I 17.1
- Префикс III 9
- Признак фонологический B 11.3
- Пропозициональная форма I 8.4, I 8.6, V 2.2
- Пропозициональная функция *см.* Пропозициональная форма
- Пропозиционирование V 2.1
- Пропозиция I 8.2.2 — I 14, I 17.2, I 18, I 19.3, II 1, II 7.1 — II 7.2, V 2.2, V 5.1 — V 5.2
- Просодемы B 7.5
- Просодика B 7.5, V 6.1.2 — V 7, V 7.5, V 7.7, V 8.4
- Психолингвистика B 1.7
- Рамка модальная внешняя I 9.3, I 12
- Рамка модальная внутренняя I 9.1 — I 9.3, I 12
- Рамка коммуникативная I 11 — I 12
- Редупликация B 7.4, III 2.2.4, III 19.4 — III 19.4.2
- Реконструкция B 1.1, B 1.2
- Рема I 19.1 — I 19.3.3, V 2.1 — V 2.2, V 5.4, 3 6
- Референция I 7, I 8.4
- Рефлексив III 26.2
- Речевая деятельность B 1.7, B 2, B 10, V 1 — V 8.5
- Речевой акт I 7.2, V 1
- Речевой деятельности уровни B 5.1, B 5.2 — B 5.3, V 3.1, 3 6
- Реципрок III 26.3
- Рода категория IV 2.4.5, IV 3.1
- Роль семантическая I 18, II 6.1, II 6.2.5, II 7.2, II 8, III 1.2, III 4.1, V 2.1 — V 2.2, 3 5

- Связка (в синтаксисе) II 5.2, II 8,
III 19.2.2
- Связки (в семантике) I 17.2
- Сема I 8.6
- Семантика *см.* Семантический компонент
- Семантика в морфологии III 1.2
- Семантика глубинная V 2.1, V 8.3
- Семантика грамматическая III 4.2 — III 4.3
- Семантика интерпретативная I 2.2
- Семантика оценки I 13
- Семантика поверхностная V 2.1
- Семантика порождающая I 2.2
- Семантический компонент B 7.1, B 7.6.1, I 1 — I 19.3.3, 3 5
- Синтагма III 15.2, V 7.4 — V 7.5, V 7.7
- Синтаксема II 5.2 — II 5.6, II 9, III 14.5.2, III 15.2
- Синтаксис *см.* Синтаксический компонент
- Синтаксис глубинный II 1, V 3
- Синтаксис линейный V 3.2, V 7.2
- Синтаксис и семантика I 1 — I 4
- Синтаксис семантический I 3, I 8.1, I 17.2, I ПМ 4
- Синтаксический компонент B 7.2, III 1 — III 11, V 3.1
- Синтаксический элемент II 5.2, II 9
- Синтактика B 2.1, III 2.2.3, III 19.3, 3 5
- Синтез (в речевой деятельности) I 2.1, I 2.2, I 3, V 7.4 *см. тж.* Порождение речи /304//305/
- Сирконстант II 5.3, II 9, II 10.1
- Система B 2.2 *см. тж.* Языка система
- Система функциональная B 2.2
- Системы иерархичность B 5.1, B 5.3, B 7.6
- Ситуации единичность I 15
- Ситуации участники I 8.5, I 16
- Ситуаций квантификация I 13 — I 16
- Ситуаций множественность *см.* Ситуаций мультипликация
- Ситуаций мультипликация I 13 — I 15
- Ситуация денотативная I 6, I 7, I 8.2.1, I 15, III 18.3.2
- Ситуация общения I 6, I 7, I 8.2.1, I 17
- Ситуация сигнификативная I 8.2.1, I 13, I 15, I 27 — I 27.1, IV 2.4.1, 3 5
- Словарь III 12 — III 12.1, III 13.3, III 14.5, III 14.5.2 — III 14.5.3, III 15 — III 15.1, III 18.2, IV 1, IV 6 — IV 7, V 5.5.2, 3 4, III ПМ 24
- Словарь семантический I 3, 3 4
- Слово III 1.1, III 12 — III 13.4, V 4.1
- Слово сложное III 13.2.2 — III 13.2.3, III 13.3, III 13.4, III 14.5.1, III 15.3
- Слово служебное III 1.1, III 2.2.3, III 7 — III 7.2.1, III 7.2.6 — III 7.2.7, III 11, III 12.1, III 13.4, III 15.2, III 17.1, III 19.2 — III 19.2.3
- Словообразование B 6.1, B 7.3, III 1, III 2.2.5, III 5.1, III 6, III 9, III 27, III 27.3, IV 4 — IV 7, B ПМ 4
- Словосочетание III 12.2 — III 12.3, III 13.1 — III 13.4, IV 7
- Слогоморфема III 2.1, III 14, III 14.5.4 — III 15.2, IV 1, III ПМ 21
- Социолингвистика B 1.8
- Способ действия I 16, III 21, IV 4 — IV 5
- Среда (системы) B 2.2, B 4
- Субморф III 2.1, III 14.5.4
- Субъект I 18, I 19.2 — I 19.3.2, II 2.6.1, II 6.2.2, II 7.2, III 25.1, III 26.1, III 26.1.3, III 26.3, III 27.1
- Субъект действия I 18
- Субъект модальный I 9.3
- Субъект состояния I 18
- Субъектно-объектные отношения II 6.1
- Супплетивы III 8.4
- Суффикс III 9
- Таксиса категория III 18.2.2, III 22.2, III 25 — III 25.2
- Тема I 19.1 — I 19.3.3, II 6.2.2, II 7.2, III 26.1.2, V 2.1 — V 2.2, V 5.4 — V 5.5.1, V 5.5.3 — V 7, 3 6
- Тематические гласные III 2.1
- Текст B 2, I 1, I 5, I 5.2, I 6 — I 6.2, I 8, III 26.1.2, V 4.2, V 4.2.3 — V 5.1, V 5.4, 3 3
- Терм I 8.2, I 8.4, I. 13, I 18
- Типология *см.* Языкознание типологическое
- Типология сопоставительная B 1.6
- Трансфикс III 2.2.5, III 2.2.6, III 9
- Трансформационный субкомпонент 3 5, *см. тж.* Трансформация синтаксическая

- Трансформация морфологическая
 III 2.2.3 — III 2.2.4
- Трансформация синтаксическая II 7.2,
 II 10 — II 11
- Факультативность III 4.3.1, III 18.3.2
- Флексия внутренняя III 2.2.3, III 2.2.4,
 III 19.4 — III 19.4.1
- Флективность III 8, III 8.2 — III 8.4
- Фокус II 6.2.3, II 6.2.4
- Фонема V 4.1, V 4.2.2
- Фонологический компонент В 7.5
- Форма слова III 1.1, III 16 — III 18.1,
 III 18.3.7, III 19.3, III 25.1
- Форма слова аналитическая III 1.1,
 III 15.2, III 17.1, III 19.2 — III 19.2.1
- Форма слова синтетическая III 1.1
- Форматор III 2.2.6
- Фрейм В 6 — В 7.6.1, В 8.2, В 9, I 18,
 II 7.3, V 2.2, V 3.1, V 5.2 — V 5.3,
 V 7.6, V 8.4, V 8.6, З 1, З 5, В ПМ 3,
 В ПМ 5, V ПМ 29
- Фузионность III 8 — III 8.1
- Функтор I 8.2 — I 9.1
- Функтор ирреальности I 9 — I 9.1
- Функтор реальности I 9 — I 9.1
- Функция В 2.2, В 3, З 2
- Функция иллокутивная I 11 *см. тж.* Акт
 иллокутивный
- Целостность языковой системы В 2.2,
 В 3 — В 5, В 9
- Целостность языковых единиц В 8 —
 В 8.2, В 9, V 8.4 — V 8.5
- Циркумфикс III 2.2.5, III 9
- Части речи IV 1 — IV 2.3, IV 2.4.3
- Числа категория III 17, III 17.1.1,
 III 18.2.1
- Член предложения II 3 — II 3.2, II 4,
 II 5.2, II 5.4, II 6.1
- Эвристические процедуры (в речевой
 деятельности) В 1.7
- Эллипсис II 2.1 — II 2.3, II 10.2, III 19.2.2
- Ядро (синтаксической конструкции)
 II 5.1, II 9 [/305//306/](#)
- Язык-источник (в сравнительно-
 историческом языкознании) В 1.1
- Язык семантический I 8 — I 8.1, III 4.2
см. тж. Словарь семантический
- Языковая система В 1.7, В 2 — В 5, V 1,
 В ПМ 2
- Языковой системы компоненты В 7 —
 В 7.6
- Языковой союз В 1.5
- Языкознание историческое В 1.3
- Языкознание сопоставительное В 1.6
- Языкознание сравнительно-
 историческое В 1.1
- Языкознание сравнительно-
 сопоставительное В 1.6
- Языкознание типологическое В 1.4
- Языки агглютинативные III 4.3.1,
 III 4.3.2, III 6.2, III 7.2.2, III 7.2.5,
 III 10.1 — III 10.2, III 15.1 — III 15.3,
 III 17.1.1 — III 17.1.2, III 18.1,
 III 18.3.2, III 25.1, IV 1
- Языки аналитические III 4.3.2, III 15.1 —
 III 15.3
- Языки изолирующие В 7.3, III 4.3.1,
 III 4.3.2, III 15.1 — III 15.3, III 17.1.1,
 III 18.3.2, IV 1, IV 2.2.1 — IV 2.2.2,
 IV 3.3, III ПМ 25
- Языки инкорпорирующие III 15.3
- Языки моносиллабические III 2.1,
 III 14.5.2
- Языки флективные III 4.3.2, III 6.2,
 III 7.2.2, III 15.1 — III 15.3, III 18.1,
 IV 1, III ПМ 25
- Языки эргативные I 18, II 7.2 [/306//307/](#)

SUMMARY

Linguistics in our time displays a clearly pronounced tendency to a disintegration which is due to two major factors: first, each of the linguistic disciplines (phonology, syntax, etc.) has developed into a highly specialized autonomous science in its own right and, second, the existing schools of thought are sometimes so different, conceptually and terminologically, that the situation is reminiscent of that of Babel. It seems obvious that a «linguistic ecumenism» is badly needed.

A functional approach to language and speech is believed to be capable of providing a broad framework for an integrated description of language phenomena. The notion of function as *ultima ratio* presupposes the invariably top-down direction of all language processes: everything in language and speech is designed to serve the ultimate goal of communicating meaning, so that morphology functions mostly to serve syntax while the latter does the same with respect to semantics.

Language is thus construed as a complex functional system of components among which semantic component, syntactic, nominative, morphological, and phonological ones with their subcomponents are to be singled out. The components are organized hierarchically. At the same time, the system is made a whole due to connections that run through the components both ‘vertically’ and ‘horizontally’. Autonomy, Integration, and Hierarchy seem to be the three principles that underlie the system of language.

Each of the components is characterizable in terms of units and rules of their functioning. Each of these units, in its turn, is characterizable as an integrated whole on the one hand and as a structure, made up of its elementary constituents, on the other. The structures in question can be referred to as frames (in the sense of M. Minsky) specific to individual components.

The composition and the functioning of the above-named components are overviewed in the respective chapters of the book. Particular attention is given to the problem of syntactic units and their semantic correlates. An elementary syntactic construction is chosen as the basic unit of syntax, the latter being viewed largely as a system of such constructions. In fact, it is only syntaxemes — nodes of the elementary syntactic trees — that can be immediately assigned semantic roles (Actor, Patient, etc.). The semantic correlate of any other construction is an outcome of a complex interaction of its elementary prototype(s) and the effects supplied by the transformation(s) it is the result of.

It is also emphasized that allocating a linguistic unit to a class or a subclass means nothing more than admittance of its sensitiveness to rules of a certain type. From this point of view the perennial attempts at discriminating between, for instance, words and non-words should be discarded in favour of

[/307//308/](#) a more realistic Three-Terms Coding Principle. According to the latter, two polar types (words and word-constructions, affixes and function words, etc.) are singled out together with an intermediate type (quasi-words, quasi-affixes, etc.) which embraces various subtypes exhibiting more or less pronounced structural «tightness» depending on their reaction to specific rules.

The top-down principle holds true with respect to speech production and perception as well. Both processes seem to start with a diffuse mental image — that is with something pertaining to semantics. The above postulated duality of all the linguistic units which, are holistic entities on the one hand and compositions of elementary «atoms» on the other is mirrored by two types of strategies in speech perception and production: one is specific to the brain's subdominant hemisphere which is known to specialize in dealing with Gestalt-type percepts, while the other is typical for the dominant one responsible mostly for analytical procedures. Operating with big informational «chunks» as certain unstructured wholes is more economical but runs a risk of ignoring relevant details, while the analytical strategies are fairly exact but time-consuming. All in all, speech is viewed as a dialogue of the two hemispheres. [/308//309/](#)

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	653
Введение.....	655
Лингвистика и лингвистики.....	655
Язык как система	660
Компонентное строение и целостность системы и ее элементов.	
Функционирование системы.....	663
Порождение и восприятие речи, их соотношение.....	686
Глава I Семантический компонент языка	696
О месте семантики в системе языка.....	696
Семантика, прагматика, лингвистика текста	701
Ситуация, пропозиция, предикат	709
Квантификация ситуаций.....	728
Конситуативность	736
Структурная и коммуникативная организация семантики высказывания.....	739
Глава II Синтаксический компонент языка	749
О глубинном синтаксисе	749
Проблема единиц синтаксиса	750
О семантизованности синтаксисом	763
Трансформации	775
Глава III Морфологический компонент языка	781
Форма и парадигма	781
Морфема	784
Классификация морфем	796
Слово	820
Слогоморфема. Единицы словаря и текста	831
Морфологические парадигмы и категории	840
Способы выражения грамматических (морфологических) значений.....	855
Основные морфологические категории.....	860
Вид и время	860
Наклонение.....	868
Таксис	871
Залог	874
Каузатив.....	879
Глава IV Номинативный компонент языка	883
Глава V Речевая деятельность	903
Порождение речи	904
Восприятие речи	911
Заключение	942
Литература	948
Предметный указатель.....	961
Summary	966

Научное издание
Касевич Вадим Борисович
СЕМАНТИКА. СИНТАКСИС.
МОРФОЛОГИЯ

Редактор *Е. К. Борисова*
Младшие редакторы *Л. Б. Годунова,*
Д. Ш. Хесина
Художник *В. В. Локишин*
Художественный редактор *Б. Л. Резников*
Технический редактор *М. В. Погоскина*
Корректоры *Г. П. Каткова* и *П. С. Шин*

ИБ № 16115

Сдано в набор 16.02.88. Подписано к печати 06.09.88.
Формат 60×90/16. Бумага типографская № 2.
Гарнитура литературная. Печать высокая.
Усл. п. л. 19,5. Усл. кр.-отт. 19,75. Уч.-изд. л. 22,24.
Тираж 2500 экз. Изд. № 6531. Зак. № 134.
Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
Главная редакция восточной литературы
103051, Москва К-51.
Цветной бульвар, 21

3-я типография издательства «Наука»
107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28

Кинга известного советского лингвиста вместе с ранее вышедшими его работами «Элементы общей лингвистики» (М., 1977), «Фонологические проблемы общего и восточного языкознания» (М., 1983) и «Морфонология» (Л., 1986) дает изложение как основных проблем современного общего языкознания, так и наиболее приемлемых решений.

Автор исследует комплекс вопросов, дискутировавшихся с позиций «концептуальной разобщенности», рассматривая их с единой точки зрения, предпринимая таким образом попытку своего рода синтеза. Особое внимание уделяется проблемам, существенным для описания восточных языков, без обращения к материалам которых языкознание не может претендовать на определение «общее».